



ЮНОСТЬ

1

1964

Новогоднее

1

Я Н В А Р Ъ
1 9 6 4

Как минутная стрелка большая,
Тихо дернулось сердце в груди.
Лег нетронутый путь, приглашая
Посмотреть, что вдали, впереди...

Бьют часы над страной, над столицей.
Новый год — вот он здесь, за окном —
Свежим ватманом, чистой страницей,
Неизведанным белым пятном.

Так начин его честно и смело,
Мой ровесник, товарищ мой, ты
С красной строчки, с достойного дела,
С дерзкой мысли, с хорошей мечты!

Олег ДМИТРИЕВ



ГОД ИЗДАНИЯ ДЕСЯТЫЙ

ЮНОСТЬ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА

С. ПАВЛОВ,

первый секретарь ЦК ВЛКСМ



ГОД НАШЕЙ ЖИЗНИ

Теперь он уже история, 1963 год! Вступая в новый год, советские люди — и те, кто вот уже 46 лет своими руками творит эту историю, и те, у кого в минувшем году впервые на ладонях появились трудовые мозоли, — пристально вглядываются в пройденный путь.

Каким он был, шестьдесят третий? Что нового внес в нашу жизнь? Это далеко не праздные вопросы. Конечно, может быть, и найдутся нововы, для которых прошедший год — лишь протелевшие «золотые денки». Но не о них сейчас речь.

Вот рассказ парня, молодого строителя дорог в Сибири:

— Вчера календарь меняли. На одном листке записано: «Прошли 15-й километр». На втором: «Начали записывать английский». А были и чистые листки. А жалко, что были чистые...

Не из тщеславия ведет молодежь строгий счет своим делам, не ради красивого слова вспоминаем мы на рубеже лет о новых городах, о гигантах химии, об оросительных каналах Голодной степи, о штурме космоса — словом, обо всем том, где активно присутствует молодежный задор, энергия, инициатива.

За минувший год столько оставлено на земле нашей замечательных свидетельств смелого осуществления коммунистических планов, столько сделано, сколько в былые времена нельзя было бы осилить и за десятилетия.

Мы с гордостью говорим сегодня, что в 1963 году руками комсомольцев сооружены конверторно-кислородный комплекс на Нижнетагильском металлургическом комбинате, новые турбины на Братской ГЭС, первая очередь Качканарского горнообогатительного комбината, цех по производству труб на Челябинском заводе, газопровод Бухара — Урал, новые мощности на горнохимическом комбинате «Кара-Тау», крупнейший цех по производству минеральных удобрений на Шаексинском химическом комбинате. Перекрыта могучая сибирская река Енисей. Электрфицирован участок дороги Киров — Шахунья.

Созданы многие другие важнейшие объекты. Пятидесятитысячное пополнение юношей и девушек пришло по комсомольским путевкам на ударные стройки.

Для юности нашей страны эти факты звучат победной симфонией труда, задронной песней молодости, зовущей вперед.

Но не только этим определяются итоги прошедшего года. Они гораздо весомее, богаче. Еще реальнее и ближе стала страстная мечта В. И. Ленина о таком времени, когда миллионы советских людей достигнут уровня сознания своего марксистского авангарда, а идеи и мораль партии станут идеями, моралью народных масс.

Вот здесь-то скептик меня и «поймает»:

— Эк куда хватил! А жулики, спекулянты, рвачи? Что, они все уже перевелись?

Нет, не перевелись. Есть такие. Есть и недоросли, которые в 25, а то и в 30 лет, имея диплом инженера, врача, искусствоведа, держатся за мамин подол и никак не хотят встать на собственные ноги, выехать туда, где они нужны, боясь потерять столичную прописку, удобства обжитых городов. Нет, не им, равнодушным, аживым и ленивым, принадлежит сегодняшний и завтрашний день. Они — отпрыск старого.

Каждый день дает десятки примеров того, как молодежь ведет ожесточенную борьбу со всем этим старым. Светлана Хворостова, не колеблясь, схватила за руку родственников-хантуп, воровавших колхозный хлеб. Рабочий парень Роберт Малоозов поставил идейное родство с комсомолом превыше кровного и, порвав с сектантскими изуверами-родителями, через суд добился попечительства над малолетними братьями и сестрами. Такие — беспокойные, непримиримые, жизнелюбивые — определяют лицо поколения.

Нельзя понимать эти примеры как конфликт поколений. Это конфликт нового, коммунистического, со старым, отживающим, капиталистическим. Это — лишнее подтверждение верности молодежи традициям отцов.

И Светлана, и Роберт, и тысячи других молодых берут это новое от тех, кто штурмовал Зимний, громял германский фашизм, кто провозгласил на земле социализм и ведет нас вперед, к коммунизму.



Сегодня торжествует новый человек. Миллионы молодых сердец притягивает любовь к проявлению нового отношения к жизни, к себе, к обществу.

Тысячами писем отзывалась молодежь на исповедь Валентины Чунихиной, добровольно променявшей спокойную жизнь в городе на работу в одном из отстающих колхозов Забайкалья. И, конечно, ее пример помог очень многим принять решение: новые и новые отряды энтузиастов направляются в Сибирь, на Север, туда, где нужны молодые, энергичные и сильные люди, туда, где трудно.

Молодым патриотам действительно трудно. Это трудности начального периода стройки и неизбежных мест, это трудности роста, трудности, связанные с суровой природой.

Нам часто доводится бывать в Сибирь, на Севере, Дальнем Востоке, на целине, встречаться и беседовать с молодежью. Я помню, как мы с Германом Титовым разговаривали с механизаторами целинного совхоза, который носит его имя. Это — очень молодое хозяйство. В то время там еще не хватало многого из того, что делает жизнь благоустроенной. Но никто не ныл, не жаловался, не пладал. Один парень хорошо заметил: «Нам бы зимой снега побольше, а летом — дождика. Остальное сделаем своими руками». Вчерашние москвичи и ленинградцы, рижане и киевляне с какой-то особой гордостью и патриотизмом рассказывают о своем новом крае. В Норильске у них самые лучшие школы-интернаты, в Мирном будет построен великолепный плавательный бассейн, какого нет и в Москве, на Камчатке будет уникальнейшее в мире сооружение, использующее подземное тепло, и т. д. и т. п.

Недавно состоялась встреча с группой очень хороших наших композиторов и поэтов, выезжавших по путевкам ЦК комсомола на ударные стройки. И все они с необыкновенной теплотой, волнением и сердечностью говорили о том, с какой радостью принимала их молодежь восточных и северных районов страны — строители, рабочие, целинники. Их поразило то, что юноши и девушки Дивногогорска, Мирного, Усть-Илима, Абакана, Чукотки со знанием дела, горячо обсуждают все новинки литературы, искусства, науки, в том числе и те, которые едва лишь увидели свет. Это на редкость эрудированный и любознательный народ.

В заинтересованности, в понимании конкретных проблем хозяйственного и культурного строительства, в ценной реакции таких починов молодежи, как движение за коммунистический труд, «Комсомольский проектор», ударные стройки, — во всем этом раскрывается самое замечательное и самое характерное качество молодого поколения, качество подлинного хозяина, который понимает, что успех общего дела зависит от его личного вклада, и который с неисчерпаемой щедростью души вносит в каждое дело свою инициативу, свой почин.

Было время, недруги нашей страны предсказывали провал планов индустриализации и коллективизации страны. Осрамились. Теперь находятся «пророки», которые предсказывают нам кризис духовный. Но кому же ясно, что между одаренным от природы зажиточным бизнесменом и советским человеком, повторяющим почин Валентины Гагановой, бездонная пропасть!



Осенью прошлого года в Красноярске собрались молодые строители Сибирь и Дальнего Востока. С высоких позиций народных интересов оценивали делегаты съезда работу комсомола на стройках, предлагали конкретные пути улучшения качества и сокращения сроков строительства, не забывая на лица критиковали бесхозяйственность, показуху, очковтирательство, неимение к нуждам молодежи.

Весь облик этих парней и девчат, образ их мыслей, вся их жизнь начисто опровергают вымыслы империалистической пропаганды. Познакомьтесь с бригадиром бетонщиков Красноярской ГЭС Николаем Смелко, инженером Братскгэостроя Алексеем Марчуком, бульдозеристом строительства железной дороги Абакан — Тайшет Виктором Васильевым, мастером строительства Южно-Сахалинской ГРЭС Верой Луцевич и многими другими — и вы увидите страстных, богатых жизненным, глубоких мыслями людей.

На съезде выступал шофер со строительства Академгородка в Новосибирске Александр Четверухин. Он рассказал о том, как по путевкам комсомола приезжали целые бригады, классы, взводы. Молодежь жила в палатках, занесенных снегом. В лютый мороз комсомольцы трудились не покладая рук, а вечерами кабинеты управления строительства, секретари райкома партии превращались в учебные классы.

«Как и многие мои товарищи, я учусь на подготовительных курсах, хочу поступить в Новосибирский университет», — говорила Александра. — Я люблю свою стройку, свое шоферское дело, но я от жизни отставать нельзя. Ученые могут надеяться, но подводят их люди с рабочей завеской. Из них еще какие академики получатся! Пойду учиться — за меня останется младший брат, который после школы стал штукатуром».

Вдумайтесь в слова Александра Четверухина: «Идут экзамены в школе — вся бригада болеет за учеников. Началась сессия в институте или техникуме — все с трепетом ждут оценки, которую получит товарищ. А если кто споткнулся в жизни, — поддержат, помогут советом, живым участием, а то и с песочком «мозги прочистят». Наш девиз: отвечать за все, что происходит в нашей жизни».

Вот как он чувствует и мыслит — наш замечательный современник! Сравните его с теми западными юношами, которые живут в условиях нравственного оскудения и упадка капиталистического общества. Сравните его с теми, кто видит смысл жизни (а по свидетельству американского публициста Вильяма Шамма, таких на Западе очень много) в том, чтобы иметь «много денег и женщин», «быть богатым, жить без забот», «жить на проценты», — и вы лишняя раз убедитесь, как смешно и нелепо унылое брюзжание ных доморощенных скептиков, утверждающих, что наша пышущая молодежь, мол, «не та».

Наш молодой современник — это умный, задорный человек, это мечтатель и борец, создатель и романтик. Он строит свой дом, свое государство, не боясь потревожить кого-то стуком молотка, строит и украшает его. Он впитал в себя богатейший опыт борьбы и побед, которыми отмечена история нашего народа. Да, он стал культурнее и образованнее. Этим можно только гордиться. Разве не повторяет он в своих делах, в своей жизни той же самоотверженности, той же беззаветной преданности идеям партии, что и те, кто, затанцав дыхание, слушали на III съезде комсомола Ильича! Разве в подвигах и трудовых свершениях полководцев Ангары и Енисея, строителей и монтажников конвертеров на Нижнетагильском металлургическом комбинате, многотысячной армии целинников,

героев космоса и подводных рейсов атомной лодки «Ленинский комсомол» не проявлялись снова и снова те же качества, которыми обесмертили себя молодые солдаты революции и гражданской войны, строители Комсомольска-на-Амуре, Днепрогэса, Магнитки!

А если молодое поколение 60-х годов в чем-то и не похоже на современников Павки Корчагина, то, значит, не зря современники Корчагина мечтали о таком времени, когда продолжателем дела их жизни станет новый человек, вооруженный глубокими знаниями, овладевший всеми богатствами культуры.

Неразрывная связь поколений — это вовсе не нечто статическое, неподвижное, лежащее на поверхности. Не внешние приметы определяют ее прочность. Напротив, в неуклонном движении вперед, в развитии и совершенствовании наиболее полно и глубоко проявляется преемственность поколений.

Неужто можно предположить, что герои революции воодушевлялись бы на величайший жизненный подвиг, если бы не верили, что на смену им придут поколения, выросшие в новых условиях, владеющие новыми возможностями, способные на новые, по-новому трудные и по-новому прекрасные дела?

Пусть сегодня молодежь любит со вкусом одеться, не мыслит жизни без театра, клуба, не мыслит работы без помощи умных и вычислительных машин, учебы без просторных аудиторий и оборудованных новейшими приборами лабораторий. Как раз об этом и мечтали наши отцы и старшие братья, наши матери и сестры, отказывая себе во всем. Именно такими — красивыми, жизнедеятельными, всесторонне развитыми — представлялись им потомки.

Жизнь подсказывает сочин примеров идейного родства поколений советских людей, убеждает, что в своих целях отцы и дети едины. А тот, кто нуждается в доказательствах этого, пусть задумается над историей Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, идеалам которого, объединив 45 лет назад 22 тысячи молодых единомышленников, сегодня объединяют почти 22 миллиона.

Для них притягательная сила комсомола не в особых правах на блага и льготы. Таких прав комсомол не дает. Но право быть первым там, где труднее всего, где опасней всего, где проходят передовые рубежи битвы за коммунизм, — это право дороже самой жизни тем, для кого жизнь — борьба!



Что дает комсомол? Что для комсомола 19-летнему Альберту Данину — командиру 30-й дивизии, взявшей в плен Колчака, легендарной Паше Ангелиной, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину или нашему сверстнику — Герою Социалистического Труда депутату Верховного Совета СССР Герману Ламочкину?

Очень хорошо ответил на этот вопрос строитель Комсомольска-на-Амуре герой Отечественной войны Алексей Маресев: «Когда нужно было собрать в кулак душевные силы, мобилизовать волю, я не раз с благодарностью вспоминал о годах, проведенных на комсомольской стройке. Именно там научили меня умению быстро ориентироваться в любой обстановке, стойко переносить лишения, не бояться трудностей, быстро принимать и выполнять решения. Боевая закалка Комсомольска крепко пригодилась мне во время войны».

Этих и миллионы других прошедших школу комсомола Союз молодежи вооружил самым передовым мировоззрением, самыми светлыми и справедливыми ценностями, которые комсомол берет у ленинской партии.

Образно говоря, всеми своими корнями комсомол питывается могучие, живительные соки марксистско-ленинских идей, беспредельную преданность делу борьбы за народное счастье, мужество, самоотверженность, чем всегда отличался и будет отличаться партия коммунистов от любых других партий. Именно потому, что комсомол — детище партии, плоть от ее плоти, он воспитывает преданных делу коммунизма, нашей Родине борцов, для которых нет иной цели, чем жить, трудиться, бороться по-коммунистически.

Нет, пусть не приходит в комсомол тот, кто предпочитает идти по жизни с протянутой рукой, кто, выучив первым слово «дай», превращает его потом в этакую путеводную звезду. Недавно в ЦК ВЛКСМ поступил комсомольский билет № 08788361, испоганенный злобной руганью. Кто же этот дезертир и чего он хотел от комсомола? Это В. Крестовников. Он требовал от комсомола повышения в должности, отдельной квартиры, путевки на курорт. Он пробрался в комсомол, рассчитывая только на пожизну. Не разобравшись, проглядели в нем мешающее нутро и школа, и институт, и те, кто его рекомендовал в Союз молодежи. Теперь его имя вычеркнуто из списков ВЛКСМ. И, может, только ему одному не ясно, что комсомол выплеснул его из своих рядов, как зеркальная морская волна выбрасывает на берег грязную пену, чтобы стать еще чище, еще прекраснее.

В восемьдесят миллионов биографий, как самое дорогое и значительное, вошел комсомольский год. Они стали для молодых поколений той великой кузницей, в которой выковывается новый человек — строитель коммунизма.

Кто не помнит 25 июня 1963 года, когда в Большом зале Московского университета состоялась пресс-конференция Сокола и Чайки. Космонавта Валентину Терешкову спросили: «Вашей последней работой перед уходом в отряд космонавтов была комсомольская работа. Какое место в вашей жизни занимает эта работа, чему она вас научила?»

— Быть честной с людьми, верить в людей, любить людей, — ответила Валя.

И действительно, труд комсомольского активиста требует одновременно самых разнообразных знаний, практических навыков, железной твердости, но самое главное — умного и отзывчивого сердца, скромности и любви к людям.

Мне хочется рассказать о Сергее Антипенко. Много это имя незнакомо, но спросите о нем у девятнадцати тысяч студентов Москвы, Ленинграда, Киева, Ростова, работавших в 1963 году на целине, и каждый из них скажет:

— Антипенко? Он все может. Если надо, из-под земли достанет машину, строительные материалы... Его многие министры знают. Если сказал Сергей, — будь спокоен, все будет сделано.

— Антипенко? Настоящий парень. Если б не он, я бы, пожалуй, спавал, удрал с целины.

Кто же такой Сергей Антипенко? Это аспирант Московского университета. Антипенко сколачивает для целины первый студенческий строительный отряд, на следующий год — второй, затем третий, а потом и вовсе перебирается на целину — в крайком комсомола.

Сколько в комсомоле таких — не перечисли!

И тем досаднее, когда какой-нибудь жадный человек берется судить о комсомоле и комсомольцах, о том, чего он явно не знает и, видимо, не любит.

Я не стану напоминать читателю произведений, которые, не прочитав и для, оказались забытыми. Плод поверхностного ума и дурного настроения не может стать большим, чем подделка.

Наступивший 1964 год—год дальнейшего активного участия юношества в коммунистическом строительстве, в трудовых свершениях народа.

Коммунизм не отвлеченное понятие для нашей молодежи. Это конкретный, целустремленный труд на общее дело. Именно благодаря замечательной школе хозяйствования, которую проходит юность на стройках гигантов индустрии и в борьбе за увеличение производства зерна, в отрядах «Комсомольского проектора» и в общественных конструкторских бюро, молодежь постигает великую жизненную силу, революционную сущность марксизма. Вот почему расширение конкретного участия в создании материально-технической базы коммунизма открыло перед комсомолом новые возможности для воспитания у молодого поколения коммунистической убежденности, чувства хозяина своей страны.

Декабрьский Пленум ЦК нашей партии наметил курс на ускоренное и всемерное развитие химии. Значение этих решений лаконично, но очень емко и точно определяет формула: «Коммунизм— есть Советская власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства».

Да, по значимости для настоящего и будущего, по грандиозности и революционности поставленных задач новый план партии встает в один ряд с великим ленинским планом ГОЭЛРО.

И как не гордиться тем, что в выполнении этой исторической задачи большая роль отведена комсомолу, советской молодежи, верным помощникам партии!

«Идет ли речь о строительстве таких гигантских гидроэлектростанций, как Братская или Красноярская, о сооружении крупных индустриальных гигантов за Полярным кругом, о строительстве угольных шахт, газопроводов, железных дорог, новых городов,—говорил на Пленуме Никита Сергеевич Хрущев,—партия обращается к юшам и девушкам—славному союзу молодых ленинцев-коммунистов. И никогда они не подводили. Так и должно быть. Ведь это наши дети, наша смена...»

Так что, товарищи комсомольцы, засучив рукава, энергично беритесь за еще одно важное дело, достойно трудитесь на благо своего народа».

Высокая оценка партийной труда молодежи—большой аванс. Предстоит сделать очень многое, чтобы оправдать доверие.

Сегодня Большая химия—ударный фронт молодежи. Строительство новых промышленных предприятий, повседневная забота об улучшении всех производственных показателей действующих заводов, проектных и научно-исследовательских организаций, агрохимическое образование молодежи, сохранение и рациональное использование минеральных удобрений, гербицидов и ядохимикатов—вот краткий перечень наиболее главных, важных направлений, где все больше и больше сосредоточиваются силы Союза молодежи.

1964 год—это год ударного строительства, борьбы за повышение производительности труда. Еще больше размах получат такие начинания молодежи, как выполнение сменных заданий на час раньше срока, всемерное повышение качества выпускаемой продук-

ции, борьба со штурмовщиной, расточительством, за экономно и бережливостью, изыскание и использование резервов производства. И, конечно же, новый год принесет новые победы коллективов коммунистического труда.

В этом году комсомолу предстоит по-боевому взяться за дальнейшее развитие орошаемого земледелия. Это можно считать новым делом комсомола. Партия наметила меры для значительного увеличения орошаемых площадей с тем, чтобы получить на них высокие гарантированные урожаи.

С замечательной инициативой выступили комсомольцы Узбекистана. Они решили уже в нынешнем году на поливных землях получить стоцентнерный урожай зерновых. Пример узбекских комсомольцев нашел широкое распространение. Сейчас молодежь уже начала проверку исправности оросительной системы, насосных станций. Отряды «Комсомольского проектора» зорко следят за тем, чтобы поливные земли использовались только для высокопродуктивных культур. Все шире разворачивается обучение молодежи профессии поливальщика.

Вместе со всем народом комсомольцы будут на передовых участках борьбы за хлеб, за повышение урожайности зерновых культур. Более чем на пятнадцать миллионов гектаров молодежные звенья и бригады будут бороться за высокие урожаи «королевых полей».

Олимпийские игры, смотр самодеятельных талантов молодежи села, студенческая целна, поездки молодых групп молодых артистов, писателей, композиторов в Сибирь, на Север и Дальний Восток—да разве можно перечислить все то, что ждет комсомольцев, молодежь в 1964 году! Одним словом, впереди большая и многообразная работа. И от этого предстоящий год кажется еще более интересным, значительным, увлекательным. А соответственно и настроение становится еще более радостным, оптимистичным, боевым. Комсомол хорошо это представляет и готов на труд и на подвиги во имя будущего.



Наш комсомол носит имя бессмертного Ленина. Носить это имя не только почетно, но и очень ответственно. Каждый день жизни комсомола—это экзамен на верность Ильичу, его великим идеалам, делу коммунизма.

Партия научила комсомол понимать, что не может быть цели выше, почетнее, прекраснее, чем служить народу, бороться за его благо каждый день, на любом посту, а если надо, идти за него на подвиг.

Программа нашей великой партии определила роль комсомола в жизни советского общества как созидательной, творческой силы в борьбе за коммунизм. И комсомол готов оправдать это доверие. Для него нет большего счастья, чем сознание того, что в новых делах бошует пламя комсомольских сердец, в светлых городах, возникших на пустырях, живет его любовь к людям, в новых космических полетах—его дерзновенность и мечта о будущем.

И хочется пожелать, чтобы нынешний, 1964 год принес комсомолу, всей советской молодежи побольше этого чудесного, охватывающего счастья.



Актер

(Монолог)



Начну я новый монолог.

Душа не ждет покоя.
Одежды ветхое старье с себя
легко сорву.
Вот — тело вечное мое. Оно совсем
нагое.
Я снова с человеком схож и с вами
вновь живу.

Я с вами схож.

За сотни лет я заработал право,
как равный с равными,
опять беседовать с людьми.

Роль коротка моя.

Понять попробовали б, право,
метаморфозу древних чувств —
печали и любви.

Я был Пьеро...

И я страдал за человеческий улей,
за сонм его несовершенств, за страх
его и грех.

А вас душил утробный смех,

да так, что гнулись стулья...
И чем печальней был мой плач, тем
громче был ваш смех.

И я нырнул на дно души, в ее

глубины глянул,
шел по корням и по камням,
петая и кружа,

через жестокость, через ложь...
И свет в глаза мне грянул!
Через злословье, через мрак...

Очистилась душа!
И я, как камешек волна

со дна несет на сушу,
как боль скитаний и разлук несут
в свои края,

я вынес эту душу к вам — свою
и вашу душу,
а вы решили, что она — не ваша,

а моя.

И я над рампой слезы лил.

А вы, лаская брюхо,
лениво подводили счет доходам
и долгам,

и падали мои слова,
и разбивались глухо,
и разливались невольно,
как шторм по берегам.

Ну что же...

Вели мы разговор, как
подобает братьям.
Был откровенным разговор,
начистоту,

как боль.
За эту боль когда-нибудь мы
поровну заплатим...

Я был Пьеро.

Но час пришел, и я меняю роль.

Теперь начну я новый монолог,
госкующую маску ловко скину
и стану жить, как должно Арлекину,
и то смогу, чего Пьеро не смог.
Я Арлекин. И жгуч мой смех. И я
стою пред вами.

Готовься, публика моя, схватиться
за живое!

Ирония в моих глазах,
насмешка — под губами.
Мой смех раскатист и широк.

Он жжет, и он не жжет.
Но что такое?!

Где ваш смех?

Я вижу слезы ваши!
Как будто здесь, на сцене, вы,
а я сижу в ряду...

Ирония пустила яд, мой звонкий
смех вам страшен...

Ты плачешь, публика моя, у смеха
на виду?

Я выволоку ложь из душ и клевету
на сцену,
жестокость, зависть и вражду...

Ну, смейтесь — ваш черед!
Но ваши губы сводит плач. Они
бледней, чем стены.

Подкраситься бы вам, как мне...
Да краска не берет...

Да смейтесь вы!
Но если вы
смеяться разучились,
я посмеюсь над вами сам — мне

правда дорога.
Хотелось вам, чтоб это я нагим
пред вами вылез,

а это вы передо мной раздеты
донага.

...Парад пороков!

К рампе все... А ну,
сходитесь ближе!
Я Арлекин. И я смеюсь, разглядывая
вас.

Вы плачете? У вас печаль?.. О, я
прекрасно вижу,
как слезы мутные бегут из ваших
мутных глаз...

...Ролями поменялись мы прекрасно!
Но занавес уже на сцену лег,
и освещение

уже погасло...
Не правда ли, смешной был монолог...

Париж.

Считоского

Перевел Б. ОКУДЖАВА.

Ниагарский водопад

или прогулка с Уолтом Уитменом

I

Как древний эпос, медленна река!
Послушны всем канонам воды эти,
закованные, как слова в сонете,
в свои торжественные берега.
Колумб вел не скорее корабли!
У Гайаваты дым над трубой мира
струился тише, чем сейчас прошли
речные и медлительные миги.
И вдруг — обрыв! Река с размаху — в пропасть!
Как армия, что с марша входит в бой.
И Ниагара, презирая робость,
Ревет! Трубит огромною трубой!

II

А теперь эпическую гармонию долой!
Все остальные каноны — долой!
Ритм водопада не сдержат никому.
Рифмы — долой! Они не нужны,
потому что в грохоте таком
могут быть слышны
только рифмы громкие, как гром!
Где борются дикие орды воды,
логику — долой!
Здесь царит алогизм.
Любую геометрию — долой!
Потому что здесь побеждает мощь
и грубость берет верх, топч тех, кто слабей.
Здесь царство выправшихся на волю масс.
Идет гражданская война воды!
Все это — только на первый взгляд,
потому что в гражданской войне воды,
в царстве освобожденных масс воды,
смешиваются все расы воды:
белая, черная, красная, желтая, —
и торжествует демократия воды.
Белые, черные, красные, желтые
Свободолюбивые потоки воды
разрушают извечный, гармоничный канон
и создают прекрасный хаос воды.
Здесь не услышать пастушью свирель:
трубы трубят, барабаны гремят!
Ах!

Но над ним висит
гармония неба — радуга, похожая
на серебряный нимб

Уолта Уитмена, владытеля хаоса.
С белой бороды поэта сыплются
сытные, как хлебные крошки, слова:
AND MIND A WORD OF THE MODERN —
THE WORD EN MASSE¹.

Я говорю Уолту Уитмену:
язык, как вода, слова, как волны.
Слово-одиночка — бессильно.
Теперь побеждают массы слов,
полки слов, дивизии слов, армии слов,
народные движения слов,
революция слов.
Народы слов берут власть в свои руки.

Грядет народовластие, демократия слов
в народовластии общества.

Разве языковую Ниагару разольешь
в бокалы анапестов, в рюмки ямбов?
Для управления словесной массой
нужны совсем другие законы.
Приливы моря, порывы ветра,
гулы станков, удары грома —
вот образцы для новых ритмов.
Ритм аритмии, ритм беспорядка —
вот ритмы, господствующие в природе.
Комнатные каноны тонут,
когда из хаоса выплывает
небывалая хаотическая гармония.
Раскроем слова, как людские расы,
в цвета воды, травы и металла,
чтобы из брызг водопадовой массы
седай, лохматая взлетала
голова великого Пана поэзии
Уолта Уитмена.

III

Заводную игрушку стиха я наладил
и завел. И поставил на стол.
Я поэму, как голову дочки, погладил.
Рифм косички заплетал.
Но бывает, что стих перепелкой взлетает
из-под ног.
Удержат — мощи Блока тогда не хватает,
хоть и мощный был Блок.
А зачем класть стихи на прокустово ложе,
ставить слово по фрунт пред собой,
если буйствуют ритмы и образы тоже
вызывают каноны на бой?
Разве море слышало про правильность метра,
а Борей соблюдает хорей?
Разве ямбы годятся в примеры для ветра,
урагана, что мчит все скорей?!

IV

Скажите, возвратился я на берег?

Да, я вернулся.
Был водопад, и был водоворот.
Сейчас я дома.
Но выплывать из водопада вовсе
не значит возвращаться к темпу,
в котором вел Колумб «Санта Марию»
и Гайавата — свой челнок, и дым
над трубой извистисто струился.
Нет, возвращение из водопада —
как будто из кавалерийской шпихи.
Воспоминания про водовороты
издымаются, что конские бока.
Река, что соскочила с водопада,
замедлит бег, но не вернется всять.
Два берега ее — два боюса:
седой, слепой Гомер,
седой всевидящий Уитмен.
Один в венке из лавров — и другой —
в венке из луговой травы —
протягивают друг другу руки
через Ниагару.

Буффало.

Перевел Борис СЛУЦКИЙ.

¹ Запомните слово современности — слово
Массы (англ.).



Виктор Афанасьев



Для муравья трава — тайга.
Над ней горами спят стога.
И солнце льет, прищурив веко,
багровый свет на человека,
который, лошадь расседлав,
пустил ее пастись на воле,
а сам среди цветов и трав
остановился в чистом поле.
Черны стволы его сапог,
и муравей по голенищу
бежит, домой дорогу ищет,
а человек стоит, как бог,
задумавшись и глядя в небо,
забыв про свой теодолит.
А небосвод грозой налит,
и где-то гром гудит свирепо.
Но человек и грому рад.
Он для него — старик ворчащий,

живущий там, за черной чащей,
вдали от шумных автострад.
И капли теплого дождя
уютно пахнут русской печью,
как пальцы, ласково входя
в седые кудри человечьи.
Та седина не первый снег
и не последний пепел, может,
до самой смерти человек
своей судьбы не подытожит...
Он видит все: огни планет,
горбы сухого корневища,
окоп — войны минувшей след
и муравья на голенище.
Он слышит плеск текущих вод,
гул проводов, бегущих в поле...
И так он дышит, так живет,
что грудь вздымается от боди!



Стихи военных лет

Митька Громов

Митька Громов ушел натошак,
Митька Громов ушел налегке.
Вышел он на широкий большак
и размазал слезу по щеке.
За деревьями скрылась спина:
Митька Громов ушел на войну.
И, шатаясь, вернулась жена
в дом, в холодную тишину.
В окна свет пробивался скупой.
В печке слабые бились огни.
А на печке оголохший, слепой
Митькин дед доживал свои дни.
Проклятая собачий мороз,
до рассвета вставала жена

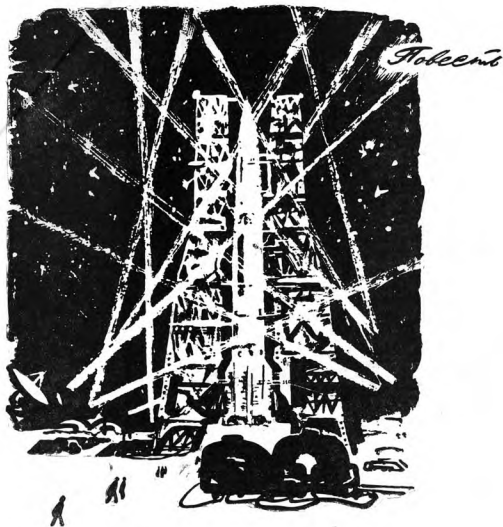
и шагала в далекий совхоз
за какой-нибудь горстью пшена.
Дребезжал допотопный безмен,
а тоска — тяжелее свинца.
Вся одежда ушла на обмен,
а зиме и не видно конца.
Митька Громов на письма был скуп.
Только дважды — мол, жив и здоров...
И не мог он ни хлеба, ни круп
ей прислать, ни тем более дров.
Приходи, Митька Громов, скорей
и любовь приноси и уют.
Не забудь захватить сухарей —
на войне вам, я знаю, дают.

Вдовы

Среди зимы бывает слякоть,
кума беседует с кумой:
приходит Осень покалякать
с совсем раскисшею Зимой.
Они бредут, как две вдовы,
босые ноги их мокры.
Их опечаленные лица
бледней березовой коры.
В сыром тумане за деревней,
где ветры грустные поют,

разбитых бомбами деревья
косые призраки истают.
А из-за призрачного леса
встает земля. И слышен стон —
ведь сколько черного железа
сидят, как в теле, в поле том!
И, вспоминая все, что было,
перебираясь через рвы,
идут на братскую могилу
две неутешные вдовы.





Рисунки Г. Калиновского.

КУЗНЕЦЫ

Ярослав ГОЛОВАНОВ



Есть поговорка: «Новые времена — новые песни». Поистине новым временем можно назвать космическую эру, открытую гением советского народа 4 октября 1957 года. Историческим событием этой эры явился замечательный полет Юрия Гагарина — первого человека земного шара, шагнувшего в космос 12 апреля 1961 года. Не прошло и трех лет, а в семье советских космонавтов уже пять братьев и одна сестра. Замечательные успехи советских ученых, конструкторов, рабочих изумляют сегодня весь мир.

А как же песни? Космос успешно «осваивают» наши писатели, поэты, композиторы, журналисты. Этой теме посвящена и новая фантастическая повесть Ярослава Голованова «Кузнецы грома». Сам замысел — написать повесть о жизни и труде молодых инженеров-ракетчиков, создателей космических кораблей будущего, заслуживает одобрения.

Ученые, инженеры, мои друзья космонавты — все мы мечтаем о полетах к другим планетам солнечной системы. Но, я думаю, каждому ясно, что таким полетам должна предшествовать огромная по своим масштабам подготовительная работа. Автор не ставил своей целью рассказать о научных и технических проблемах, связанных с межпланетными полетами. Однако совершенно ясно, что от фантастики до реальности не так уж далеко. Лаборатории, испытательные стенды, космодром — это лишь условный фон, на котором живут его герои. Думается, что главная задача автора — показать в которой живет и работает наша советская молодежь, на какой бы участок коммунистического строительства им поставили ее партия, народ. Атмосфера созидания — вот главный мотив «Кузнецов грома».

Я не литературный критик, и вряд ли стоит мне говорить о достоинствах и недостатках повести. Думаю, что читатели журнала «Юность» прочтут ее с интересом.

Андрей НИКОЛАЕВ,
лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза

Низкий поклон вам,

Низкий, низкий поклон вам,
Вам, великие, люди!
без фамилий.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

I

Маленький рабочий кабинет Главного. По левую руку от стола — пульт с кнопками, микрофон и два телефона: один — обычный, черный, другой — белый, с золотым советским гербом на диске. На круглом столике — лунный глобус и тарелка с двумя румяными яблоками.

За столом, устало расслабившись, сидит мужчина лет пятидесяти, плотный, с седым бобрком, в очках с тонкой золотой оправой. Руки играют толстым красным карандашом. Есть такие очень обыкновенные карандаши под названием «Особый».

Перед столом лейтенант, летчик. Молодой бело-брысы мальчик. Он позволяет себе вольность: стоять не по стойке «смирно», а в этаким непринужденной позе, располагающей к неофициальному разговору. В то же время он старается казаться собранным и молодецким.

— Значит, вы вместо Чантурия? — спрашивает человек за столом.

— Так точно, — бойко отвечает лейтенант.

— Та-ак...

ГРОМ

Дверь тихононько приоткрывается. Именно приоткрывается: входит Сергей.

— Заходице. — Человек за столом говорит это лениво, без тени какой-либо приветливости. — Вы из лаборатории Бахрушина?

— Да, Степан Трофимович, — подтверждает Сергей.

— Ваша фамилия...

Сергей понимает, что Главный не вспомнит фамилию, не вспомнит, потому что не знает. И подсказывает:

— Шишов.

— Так это вы Шишов? — Человек за столом с нескрываемым любопытством разглядывает Сергея.

— А что?

— Да нет, ничего, — весело говорит Степан Трофимович, отмечая в памяти лицо Сергея. — Знакомьтесь. Этот товарищ вместо Чантурия...

Сергей протянул руку:

— Сергей.

На лицо лейтенанта прорвалась улыбка:

— Раздолин.

— Отведите его в пятый корпус, покажите машину. Там как раз занятия сейчас, — говорит Шишову человек за столом и, обернувшись к лейтенанту, спрашивает: — С пропуском у вас все в порядке?

— Так точно, — с веселой готовностью отвечает лейтенант.

Человек за столом снимает очки, жмурясь, потянул бумаги с угла стола. Это значит: разговор окончен...

И вот они уже идут по просторному двору завода. Бесна. Яркое, зонное апрельское небо. В синей тени корпусов лежит грязный, пресно пахнущий сырым погребом снег. Еще висят кое-где блестящие, хрустально чистые зубья сосулек, но крыши уже сухие. На одной из них, раздвигшись до пояса, лежат на животе двое мальров. Они выкрасили почти всю крышу и оставили себе лишь небольшой сухой и теплый островок и тропинку к пожарной лестнице.

Корпуса новые, светлые, с широкими блестящими полосами стекла, стоят ровно и свободно. Двое идут по асфальтовой дорожке, обходя лужи, в которых плавают нежные облака. Иногда Сергей искоса взглядывает на Раздолина. «С Чантурия его не сравнить, Чантурия был орел», — думает он.

И вдруг!.. В серебряной водосточной трубе что-то треснуло, оборвалось и с громким пугающим шорохом покатилось вниз. Из зева трубы посыпались острые осколки льда. Раздолин, еще не поняв, что случилось, инстинктивно шаркнулся в сторону.

«И это человек полетит на Марс!» — со злой обидой думает Сергей.

2

В комнате шесть письменных столов. Комната большая, светлая, в два окна. Если подойдешь к окнам, — увидишь новые четырехэтажные корпуса семнадцатой лаборатории, асфальтовые дорожки, обсаженные молоденькими тополями, и маленький бетонированный бассейн, над которым всегда рваными клочьями поднимается пар: семнадцатая спускает туда горячую воду со своих стенов. Зимой тополя у бассейна всегда в мохнотом инее.

На подоконниках в комнате два хиленьких цветка, стакан и мутный, заляпанный графин с водой. Один цветок заботливо подвязан к шерстяному движку логарифмической линейки, воткнутому в землю. На по-

толке комнаты четыре белых, унылых конических плафона; их уже, впрочем, не замечают, и радости начальника АХО, противника вообще каких бы то ни было преобразований в инженерном быту.

В комнате шесть столов, илищом к окнам, по три в ряд. И шесть стульев. Нет, стульев пять. За первым столом у окна в левом ряду — жесткое кресло. Столы одинаковые: желтенькие, с одной тумбочкой, скромнее и дешевле которых не бывает.

Людей, которые работают за этими столами, сейчас нет. Не часто случается, что уходят все, но иногда случается. Впрочем, столы могут тоже кое-что рассказать об этих людях.

Стол Бориса Кудесника, обладателя единственного кресла, покрыт толстым стеклом. Под стеклом табель-календарь с рекламой берегательных насс, фотографии маленького глазастого мальчишки и какие-то аккуратно нарисованные таблички, назначение которых, как и смысл букв и цифр, известны одному Кудеснику. Настольная авторучка в виде ракеты, телефон и кресло так отличаются стол Кудесника от всех других столов, что опытный глаз сразу определит в нем стол начальника. И не ошибется: Кудесник — начальник сектора, остальные пятеро — его сотрудники. Кудесника нет, его вызвал Бахрушин: перед большим совещанием у Главного Бахрушин, как всегда, устроил свое, маленькое совещание, «разминку».

Справа от стола Кудесника стол Сергея Шишова, того самого, который ведет сейчас лейтенанта Раздолина в пятый цех. Это чистая случайность, что в комнате нет Шишова. Вызвали ведь не его, а Кудесника. Но Кудесника не было, и Антонина Николаевна, секретарша Главного, сказала: «Ну, все равно, пусть придет кто-нибудь из его сектора». И Сергей с удовольствием пошел. Пошел с удовольствием, но это совсем не значит, что Сергей — какой-нибудь подхалим, использующий все удобные и неудобные случаи, чтобы покурить у начальства перед глазами. Среди людей, работающих в этой комнате, подхалимов нет. Просто Сергею интересно было пойти к Эс Те. (Было принято называть Главного инициалами имени и отчества. Этого человека уважали по-настоящему, никогда не скатываясь до фамильярностей, вроде «Степан» или «Трофимыч». Просто так уж повелось: Бахрушин был «Бах», реже — «шеф», Главный — «Эс Те».)

Итак, на втором столе, столе Сергея Шишова, стояла только дюралевая втулка, заменяющая ему весь письменный прибор. Во втулке остро отточенные, хищные такие карандаши. Как стрелы в колчане. И все. Шишов очень не любит, когда у него берут карандаши. Дело даже не в том, что карандаш можно сломать. Карандаши тупеют, а Шишов любит только острые карандаши.

За спиной Кудесника стол Нины Кузнецовой. Он покрыт перевёрнутой наизнанку миллиметровой, которую она меняет чаще, чем Витяка Бойко рубашки. Девственно чистое поле уже обезображено несколькими торопливыми строчками с тонкими лебедиными шеями интегралов и пометкой для памяти: «Отдать Квашинку каталог!»

Сосед Нины справа — тот самый Виктор Бойко, о рубашке которого шла речь. На его столе привычный для всех обитателей комнаты завал бумаг и чертёж, исчезающий перед концом рабочего дня и с волшебной быстротой вырастающий вновь каждое утро. За это Бахрушин под горячую руку однажды уже сделал ему нагоняй, что не дало, впрочем, никаких заметных результатов. Нина и Виктор сейчас на занятиях у машины в пятом цехе.

На стене у пятого стола приколоты кнопками фотография кота с одним прищуренным глазом, вырезанная из немецкого иллюстрированного журнала. Под котом — таблица футбольного первенства. На столе пузырек чернил для авторучки. Из него «сосут» все. За этим столом работает Игорь Редькин.

Наконец, последний, шестой стол, стоящий за спиной Нины, принадлежит Юрию Маевскому. Он тоже покрыт миллиметровой, но не вывернутой наизусть. На ее бесчисленных квадратах добрый десяток абстрактных орнаментов — плоды неосознанной игры ума.

На столе Маевского письменный прибор: две чернильницы на мраморной доске. Прибор очень мешает Маевскому, но он его почему-то не выбрасывает, хотя грозился сделать это много раз.

Итак, в комнате шесть столов. Комната эта, часть лаборатории профессора Виктора Борисовича Бахрушина, — почти совсем невидимая ячейка в масштабах огромного человеческого улья, в гигантском комплексе лабораторий, испытательных стендов, конструкторских бюро, цехов опытного производства и десятков обслуживающих их заведений, начиная от подстанции и компрессорной, кончая библиотекой специальной литературы, очень хорошей поликлиникой и очень плохой столовой.

В этой комнате работают шестеро. Шестеро из тысяч, подобных им.

3

Большое координационное совещание готовилось задолго и началось, как и полагается такому совещанию, без опоздания — точно в одиннадцать часов.

Это уже другой кабинет Главного, для заседаний. Большой, высокий. Ультрасовременная мебель. Полированные до зеркального блеска столы с ножками чуть в сторону. Стоят столы, однако, по старинной, должно быть, с допетровских времен, традиции: буквой Т. Посередине перекладывают Т сидят Главные. Все места за столом заняты. У стены на гнутых, блестящих ярко-красным пластиком стульях тоже сидят. Всего человек тридцать. А может быть, и больше. Много народу нездешнего, незнакомого. Незнакомого, впрочем, Кудеснику. Он сидит у стены: слишком мелкая сошка, чтобы сидеть у стола. Бахрушин (вот он сидит у стола) знает почти всех. Эс Те, разумеется, всех. Совещание идет уже часа два, и конца ему не видно. Виновати математики: очень долго морочили они всем головы в своем докладе по траекториям. Главный верил математикам, знал, что все у них было готово еще месяца четыре назад, и обстоятельность их доклада раздражала его. Траектории его не волновали: не в них сейчас дело. Степан Трофимович нервно начал: времени прошло уже много, и он боялся, что другие вопросы, появившиеся траектории, начнут комкать. Он понимал, что если кто-нибудь начнет «проворачивать поскорее», придав тем самым разговор другой тон и ритм, то даже ему, председателю, исправить положение будет нелегко. Главный знал толк в совещаниях. Поэтому он обрадовался, что доклад о ТДУ — тормозной двигательной установке — был хоть и кратким, но подробным и деловым...

— Так, с ТДУ все ясно, — говорит Главный, — пошли

далее. Служба Солнца. Прогноз на время полета. Прошу, Юрий Яковлевич.

Этого Кудесник знает. Юрий Яковлевич Венгеров — астроном, академик. «Загорелый, черт! — с завистью думает Борис. — Хорошо ему там, в Крыму. Курорт, а не работа». Венгеров действительно выглядит ну просто превосходно. Он еще совсем не стар для академика, тем более для академика-астронома, — лет сорок, от силы сорок пять. Весь какой-то ладный, красивый, загорелый, с крепкой, молодой шеей. По шее — ослепительный крахмальный воротничок. От него шея кажется еще чернее. «Командировку бы к нему выбить у Баха», — думает Кудесник. Но знает: все это мечты, сроду не было такого, чтобы в Крым давали командировку. Да, откровенно говоря, ведь и нужды в ней нет никакой... А в Крым хочется. Он ездил в отпуск в Коктебель в прошлом году. Здорово! Потом родился Мишка, и...

Пока Кудесник предается воспоминаниям, академик начинает говорить:

— Товарищи! Новости у нас малоприятные. За последние два месяца происходит нарастающий процесс периодических быстрых сжатий магнитных полей Солнца. Это приводит к кратковременному нагреву солнечного газа до температуры порядка тридцати — тридцати пяти миллионов градусов. Быстрый нагрев, в свою очередь, ведет к возникновению рентгеновского излучения и выделению частиц больших энергий, в том числе весьма концентрированных пучков протонов с энергией до ста двадцати миллионов электронвольт...

— Сколько? — резко перебил академика маленький лысый человек, сидящий напротив Бахрушина.

— До 120 миллионов электронвольт, — спокойно повторил астроном. — Нет никаких оснований считать, что к июлю эти процессы затухнут. Наоборот, можно предположить, что они будут прогрессировать, так как отмечено, что...

— Но, Степан Трофимович, — возмущился маленький, лысина которого мгновенно стала младенчески розовой, — ведь это при нашей защите превысит допустимую дозу облучения! Шутка ли, 120 миллионов?! — И он оглянулся вокруг, призывая собрание разделить его негодование.

— Простите, Юрий Яковлевич. Вот ваши рекомендации, — Главный вытащил из папки несколько сколотых скрепкой бумаг, — исходя из которых рассчитывалась биоэтичность. Ни о каких ста двадцати миллионах тут речи нет.

Кудесник уже бывал на подобных совещаниях и знал, что этот акрадживый, почти ласковый тон Эс Те не предвещает ничего хорошего.

— Степан Трофимович, вы просили среднегодовые цифры интенсивности вспышек, и мы их вам дали, — Венгеров сел.

— Мы ничего не просили. — Ласковые ноты уже исчезли. «Начинается», — подумал Борис. — Нам нужны рекомендации по биоэтичности корабля. Вот их мы и получили. А теперь вы даете прогноз, из которого ясно, что ваши собственные данные занижены.

— Если бы мы могли прогнозировать Солнце на годы, весь этот разговор был бы ни к чему.

— Да вы понимаете, что мы не можем менять биоэтичность? У нас каждый килограмм на счету...

— Степан Трофимович, очевидно, этот вопрос относится к биофизике. — Венгеров уже плохо сдерживал раздражение.

— Этот вопрос относится к вам! — взревел Главный. — Я доложу о сырое по вашей вине программы, утвержденной правительством! И тогда мы будем говорить не здесь... Вот там, — Главный ткнул большим

пальцем вверх,—вы и расскажете, откуда берутся ваши протоны...

— Активность Солнца от этого не уменьшится! — отпаривал астроном.

— Речь не о Солнце, а об ответственности за свою работу! Зачем нам нужна эта филькина грамота?! — Главный потряс в воздухе листками. — На какие нужны ее прикажете употребить?!

Никто не улыбнулся. Кудесник увидел, как тесно стало загорелой шее астронома в крахмальном воротничке.

— Поймите наконец, — заорал Венгеров, — что существуют нестационарные процессы, которые...

— А плевать мы хотели на ваши нестационарные процессы! Раньше надо было думать о нестационарных процессах! Что нам теперь прикажете делать с вашими нестационарными процессами!

Оскорбленный академик отвернулся.

— Аркадий Николаевич, сколько вы потребуете еще на биозащиту? — секунду передохнув, спросил Главный у маленького.

— Думаю, килограммов восемьсот — девятьсот.

— Во! Восемьсот — девятьсот! Вы знаете, что это такое — восемьсот — девятьсот килограммов! — снова набросился Главный на Венгерова.

Только услышав такую цифру, Кудесник понял, насколько все это серьезно. Утяжелить корабль почти на тонну. Как?

— Извините, Степан Трофимович, но продолжать разговор в подобном тоне я считаю бессмысленным. Сейчас или пойдет волна цунами, — думал Борис, — или начнется отлив.

— Отлично! Послушаем двигатели, — спокойно сказал Эс Те.

«Отлив», — понял Кудесник.

Поднялся красивый, со звездой Героя Социалистического Труда на модном пиджаке представитель могучей фирмы двигателей.

— Форсирование двигателя так, чтобы взять еще восемьсот — девятьсот килограммов полезной нагрузки в сроки, которые у нас есть, невозможно. Вы сами это прекрасно понимаете, Степан Трофимович.

— Так! — торжествующе сказал Главный, словно даже обрадовавшись этому ответу, и быстро взглянул на Венгерова. — Что скажет седьмая лаборатория? — Он обернулся к Бахрушину.

Очень спокойный, естал Бахрушин. И сказал, как всегда, коротко, просто и убедительно:

— Увеличение веса потребует новой отработки системы ориентации, даже если мы впишемся в ту же геометрию. Ну а если не впишемся, — Бахрушин развел руками, — тогда сами понимаете. Летит к черту вся аэродинамика, все заново... Кроме того, увеличение полезной нагрузки потребует новой тормозной установки или форсажа старой. И на то и на другое нужно время, хотя бы месяцев шесть...

Бахрушин сел.

— О каких шести месяцах может идти речь? — картавая, спросил носатый человек в очках. Его Борис тоже знал, только фамилию забыл. Он из Астрономического института. — О каких шести месяцах может идти речь, — повторил очкастый, — если противостояние Марса начнется в октябре! Можете делать вашу установку четырнадцать лет, до следующего противостояния...

— Откладывать запуски, срывать программу нам никто не позволит, — глухо сказал Степан Трофимович. — Какие будут предложения?

Долгое, тягостное молчание. Отвели глаза. На Главного никто не смотрит.

— Надо снять одного космонавта, — неожиданно для самого себя вдруг сказал Борис Кудесник. — Это даст около тонны веса и место для экранов защиты. Полетит не втроем, а вдвоем...

Все обернулось на его голос. Все смотрят на него. У него красивое от волнения лицо. Густые вразлет черные брови. Упрямый подбородок. И очень молодые глаза. Все смотрит на него, а потом тихонько переводят взгляд на Главного: что скажет?

4

Огромный, многостаянный цех. Пятый цех — цех общей сборки. Если подняться к его стеклянной крыше — туда, где под рельсами мощных кранов тяжело висят перевернутые вверх ногами вопросительные знаки крюков, — перед вами предстанет удивительная, грандиозная панорама, центр которой занимают гигантские тела ракет — циклопических, невероятных сооружений, монументальных, которых может соперничать с великими пирамидами. Ракеты расчленены на части — значит, скоро в путь. Только так, по частям, можно вывезти ракету из цеха, доставить на ракетодром. Это будет уже совсем скоро — в июле. Если будет.

В цех входит Шишов. За ним — Раздолин. Входит и останавливается перед зрелищем ракет.

— Ну, вот они, — говорит Шишов.

Раздолин молчит. Он знал, что они большие, очень большие, но никогда не думал, что такие больш...

— В порядке телега? — улыбается Сергей, покосившись на Раздолина. Не очень-то он чуткий человек, этот Сергей, и всякие восторги людские для него так, «коту редкинскому под хвост». (Это он так любит говорить, имея в виду фотографию — единственное украшение их комнаты.) Он знает, что Раздолин видит ракету в первый раз, понимает его, помнит, как сам увидел ее впервые (не эту, лунную, чуть поменьше) и стоял — не вздохнул, не выдохнул. Но сейчас он показывает Раздолину ракету и уже поэтому не может проявлять никаких восторгов. «Для меня это — дело привычное. Быть», — вот что он хочет сказать своей улыбочной-ухмылочкой и «телегой». Хочет сказать и назвать, потому что, сколько бы раз он ни видел ракету, она всегда волнует его, всегда остро чувствует он шемящий душу восторг, глядя на маленькие фигурки людей рядом с ней, такие маленькие и слабые, что нельзя поверить, будто они создали ее.

— Домчит с ветерком, — опять говорит Шишов и тут же понимает, что чувство меры уже изменят ему. Черт его знает, может быть, он и не такой уж нечуткий человек, этот Шишов. — Значит, ты теперь вместо Чантурия? — спрашивает Сергей, помолчав.

— Вроде пока да.

— По правде сказать, мы удивились, когда Коля

сказал, что Чантурия сняли... Здоров, как бык...

— Галактион самый здоровый, это верно, — соглашается Раздолин. — Немного нервничал в сурдокамере, вот и сняли... Он потом шумел. «Я», — говорит, — общительный человек. Надо это учитывать...

Сергей улыбнулся.

— Тебе смешно, а ему? Я и сам не понимаю, зачем сурдокамера, когда летят втроем... Ну, ладно... Пошли!

— Ну пошли...

И они идут к одной из ракет и становятся все меньше и меньше не только потому, что удаляются, но и потому, что приближаются к ней.

Ракеты предназначались для «Марса» — межпланетного корабля с людьми на борту. Снаружи «Марс» был прост и бесхитроу. Простота эта была, как говорил Бахрушин, «не от хорошей жизни». Атмосфера Земли заставляла конструкторов идти на обманчивый примитивизм форм.

Там, на своей широкой космической дороге, послушным воле своего капитана, «Марс» должен был преобразиться. Раскрывались защитные створки иллюминаторов, обнажались чистая поверхность солнечных батарей, из сложных электронных семян медленно прорастали длинные и тонкие стебли радиотелевизионных, поднимающихся, распускались на конце причудливыми серебристыми цветами, чашечки которых, как подсолнухи к Солнцу, поворачивались к Земле.

Там, на миллионкилометровой черной дороге Космоса, корабль преобразался не только внешне: начиналась его сложная, рассчитанная до миллиметров, граммов, долей секунды жизнь.

Победив тяготение планет, он мчался с точностью, в тысячи раз превосходящей точность курьерского поезда. Невидимые рельсы траектории вели его к той точке бескрайней бездны, куда через три месяца после старта корабля, подчиняясь законам небесной механики, должен был прийти «Марс». Эти рельсы лежали на миллионах шпал математических формул. Их было так много, что, будь все люди Земли математиками, они не смогли бы справиться с легкими вопросительных знаков, заключенных в них. Тогда на помощь пришел электронный мозг вычислительных машин, способный в тысячи раз обогнать человеческую мысль. Подобные же машины рассчитывали тепловые режимы двигателей всех ступеней и аэродинамический нагрев корпуса, решая сумасшедшую головоломку спасения металла и человека от жара, соизмеримого с жаром поверхности солнца.

Внутри корабля размещались двигатели управления и тормозные двигатели мягкой посадки, готовые к работе каждую секунду. Это они должны были потом поднять корабль с Марса в точно назначенный срок: 17 октября в 04 часа 47 минут по московскому времени.

Внутри корабля были втянуты телескопические юбки, которым предстояло отпечатать первые следы на песке марсианских пустынь. Внутри были радио- и телеаппаратура — советчик, друг, надежда и отрада, живой голос и лицо Родины.

Внутри неслышно работала заботливая аппаратура терморегулирования, автоматы искусственной атмосферы и другие регенерационные автоматы, ежесекундно обновляющие эту атмосферу.

Внутри — пища и вода — самое лучшее, самое питательное, самое вкусное, чем только могла накормить и напоить Земля.

И все это и многое другое надо было не просто предусмотреть, выдумать и рассчитать, но **сделать**. Создать неведомые сплавы, топливо сказочных свойств, материалы, которых нет во всей солнечной системе. Надо было плавить и полировать, точить и варить, штамповать и клеить, выпаривать и перегонять — не просто хорошо, а невиданно хорошо. Мощь двигателя измерялась миллионами лошадиных сил, но чем измерить силу и нежность человеческих рук, нажимающих на кнопки низко гудящих электронных машин, двигающих послушный угол ли-

неек кульманов, сжимающих рукоятки широких, как река, роллангов прокатных станов, масляно блестящие штурвалы станков! Мозолистых и хрупких, легких, как птицы, и тяжелых, как булыжники, нескладных и ловких, в белых перчатках и в сане, с макинатором на ноготках и черноземом под ногтями — живых человеческих рук. Миллионы людей строили этот корабль, быть может, не всегда зная, что они строят именно его. Но они знали нечто более важное, знали Главное, знали, что они строят Будущее. Уже не то, туманное, далекое, доступное правникам, похожее на розовую сказку о райских садах, а живое, завершенное, трудное, очень трудное иногда, но уже не то, в которое **верили**, а то, которое **делали** каждый день.

Может быть, поэтому и не казался всем этим людям фантастикой полет к планете Марс.

6

Подходя к кораблю, Андрей Раздолин подумал, что «Марс» похож на снаряд героя Жюль Верна, летавших из пушки на Луну. Рядом с «Марсом», который нависал над ним своим блестящим цилиндрическим боком, стояли летчики из группы космонавтов: Анатолий Агарков, Николай Воронцов, — и инженеры из сектора Кудесника: Нина Кузнецова и Виктор Бойко.

— Ну, вот и наш третий, — говорит Агарков, зазевав Раздолина. — Знакомьтесь, Бойко протягивает руку:

- Виктор.
- Раздолин.
- Нина.
- Раздолин, Андрей.

— Вот и хорошо, Раздолин Андрей, — говорит Нина. — Вы на макете работали?

— Конечно, — Андрей широко улыбается, — восемьдесят часов.

— Тогда давайте порежем восемьдесят первый час уже не на макете.

Она с привычной ловкостью взбирается по трапу к люку «Марса». Юбка узкая, и лезть трудно. Нина поднимается как-то боком. Андрей улыбается, глядя, как это у нее получается. Глупая у него привычка — вечно улыбаться. От этого у него иногда какой-то придурковатый вид.

Просторная кабина, все стены, пол и потолок в белом мягком пенопласте. Андрей огляделся. Три кресла похожи на самолетные. Все это давно известно. Пульсы с приборами, все знакомое. Даже кнопки того же цвета, что на макете. Андрею стало скучновато.

Нина садится в одно из кресел, кивает Раздолину:

— Садитесь.

Андрей садится.

— Двойка, — говорит Нина. — Это кресло Агаркова. Андрей опять улыбается, пересаживается и думает: «Занятная девчонка...»

— Так. Начнем, — строго говорит Нина.

— Один вопрос, — перебивает Андрей.

— Уже?

— Лучше заранее...

— Пожалуйста.

— Сколько вам лет?

— Вы и на макете начинали с этого?

Андрей хотел отпарировать, уже рот открыл, но... не нашелся.

— Больше нет вопросов? — весело спрашивает Нина. — Итак, начнем. Старт вы знаете. По радио и телевидению вас будут гонять после обеда Селезнев. Знаете Селезнева?

— Нет.

— Узнаете: душу вынет... А вот ответьте мне на такой вопрос. Посадка на Марс. Высота орбиты — сорок километров, температура на борту поднялась до тридцати пяти градусов. Угол между осью корабля и касательной к орбите — десять градусов. Угол между осью корабля и плоскостью орбиты — двадцать градусов. Агарков и Воронцов, допустим, спят. (Нине почему-то весело). Что будете делать?

— Разбужу Агаркова и Воронцова, дам им чистые майки: в такой жаре они наверняка вспотели...

— Если вы пришли сюда шутить, идите и посидите в курительной. Там у сборщиков салон анекдотов.

— Ну, вот вы сразу...

— Хватит! — резко говорит Нина.

Раздолин понимает, что дальше так не пойдет.

— Прежде всего перевозою терморегулятор на...

— Ничего не надо объяснять, — перебивает его Нина. — Действуйте.

Андрей трогает рычажки, нажимает красные кнопки, вращает красивые большие штурвалы и наконец снова откидывается в кресле.

— Хорошо, — говорит Нина. — Главное, быстро. Теперь так: торможение с орбиты спутника Марса. В десяти километрах от поверхности скорость превышает расчетную на километр в минуту...

— Не может этого быть, — убежденно говорит Андрей.

— Ну, хорошо, на пятьсот метров.

— Даю форсажный режим...

— Действуйте!

Андрей снова что-то нажимает, смотрит на циферблаты.

— Куда смотрите? — спрашивает Нина.

— Вот сюда смотрите. — Андрей тычет пальцем в стекло прибора. Ее опека начинает его злить: «Что я, совсем идиот, что ли, не знаю, куда смотреть...»

— Правильно смотрите! — Нине снова почему-то весело.

— Издевается! — думает Раздолин.

Он резко оборачивается, но, увидев смех в ее глазах, снова улыбается...

Виктор Бойко говорит Агаркову и Воронцову, задумчиво поглаживая гладкий бок корабля:

— Тут еще нет обмозки. Обмозка отличная. Просто экстра-класс обмозка. Я ездил, смотрел, как ее испытывали в вольтовой дуге... Тонкую такую пластинку вставляли прямо в пламя. Там черт знает сколько градусов, а ей хоть бы что! Краснеет только. И чуть светится. Как уши...

— Какие уши? — серьезно спрашивает Агарков.

— Ну, знаете, — Виктор смущен, — когда некоторые люди краснеют, у них светятся уши...

— Вот не замечал, — с веселым удалением говорит Агарков.

— Да... Так бывает, — очень смущен Виктор. Он всегда очень смущается, когда ему приходится объяснять свое видение мира и расшифровывать образы и сращения, рожденные этим видением. А потом он очень застенчив. Вот и теперь даже не знает, как дальше рассказывать про обмозку...

— Сколько же она его там гоняет! — сочувственно говорит Агарков, взглянув вверх на люк «Марса».

Нина и Андрей сидят в тех же креслах. Откинулись на спинки и повернулись друг к другу.

— Теперь мне ясно, — говорит Андрей, — почему в древнем Египте покровителем женщин был бог Бес. Нина хохочет.

— Ну признайтесь, что вы это сейчас сочинили...

— Спорим! Я приглашаю вас в воскресенье в музей...

— У вас, в вашем городке, наверное, все давности уже отлично знакомы с религией древнего Египта...

— Послушайте, — вдруг очень серьезно, тихо и спокойно говорит Раздолин. — Я устал от острот. Не надо острить, хорошо?

— Хорошо, — растерянно соглашается Нина.

— И давайте пойдем в музей не в воскресенье, а сегодня.

— Но сегодня будет поздно, — робко возражает она, — он закроется...

— А может быть, и не закроется, — совершенно серьезно говорит Раздолин...

Виктор Бойко поднимается по трапу на несколько ступенек и кричит в люк:

— Нина! Хватит на первый раз, пошла обедать...

7

Все шестеро сидят за своими столами и работают. Кудесник читает толстую книгу, отпечатанную на машинке, — отчет. Рядом лежат еще две такие же пузатые книжки. Это отчеты самого Бориса. Их он тоже берет в библиотеке: нельзя же запомнить все цифры, даже если это «твои» цифры.

Сергей Широсов внимательно рассматривает рыжие сынки (Бойко говорит, что их надо называть не сынки, а рыжки) и что-то пометает на листке бумаги остро отточенным карандашом.

Нина Кузнецова смотрит ленту счетной машины. На ленте толстые цифры. Тысячи цифр собраны в шеренги, шеренги — в колонки, колонны — в дивизион цифр. Нина устроила смотр этой армии. Лента скользит в ее руках — она принимает парад. Один строй радуется, ее, другой тревожит. Она то чуть-чуть улыбается, то хмурится. (Когда хмурится, становится еще красивее. Такие красивые девчонки редко встречаются в технических вузах. Три года назад за ней «Бегала» весь институт.)

Бойко занят делом самым примитивным: строит график. Он делает это автоматически и может думать и говорить совсем о другом. Он уже пробовав заговаривать, но все были заняты, и разговор не получился.

Игорь Редкин что-то пишет, иногда стремглав хватая логарифмическую линейку, быстро и цепко наводит волоски визира и снова быстро пишет. Точно тем же занят и Юрий Маевский. Однако в его движениях нет никакой порывистости и суеты. Он считает с той неторопливой торжественностью, с какой обычно считают преподаватели теории машин и механизмов, уличая студентов в натяжках и ошибках. Маевский и Редкин производят впечатление самых сосредоточенных и работающих людей в этой комнате.

Но вот Маевский положил свою великолепную перламутровую авторучку на мраморную доску письменного прибора, потянулся и провозгласил:

— А ТДУ мы сегодня кончим! Как звери будем работать, а кончим!

— В Южной Америке есть один такой зверь, ленивец называется, — не оборачиваясь, бросил Редькин.

Витяна Бойко засмеялся. Маевский действительно был ленив, но обладал удивительной способностью мобилизовать на короткий срок свой мозг, давая ему нагрузку, которую никакая другая голова выдержать не могла. Юрка создал даже собственную стройную теорию накопления мышления как одной из форм существования материи, объясняя ею то свое состояние, которое Бахрушин называл интеллектуальными прогулами.

На «ленизач» Маевский не обиделся. Он вообще ни на что не обижался. Никто не помнил, чтобы он когда-нибудь обижался. Подумав немного, он сказал ласково:

— А ты дурак.

— Дурак — понятие относительное, — на лету подхватил Редькин. — Знаешь, как говорят на Дерибасовской: кто в Жлобине умный, тот в Одессе еле-еле дурак. — И он показал на кончике мизинца, каким коротким дураком в Одессе выглядит жлобинский умник. И тут же вдруг, бросив в сердцах линейку, Игорь завопил:

— Юра! Друг! Я жалкий клеветник! Ну какой же ты ленивец! Совсем наоборот! Ты трудолюбив, как пчела! Через неделю мы пустим нашу ТДУ, через две недели положим шефу на стол протоколы испытаний. Еще неделю Эс Те заставит шефа гонять ее на каких-нибудь им придуманных сумасшедших режимах, и, если она не погорит (а она не погорит!), снимут игорскую ТДУ и поставят нашу! Мой кот тому свидетель! — И он подмигнул кошке на стене.

Игорь Редькин был единственным человеком в комнате, который верил, что именно так, как он говорил, может случиться в действительности. Ослепленный своим неиссякаемым оптимизмом, он допускал, что за месяц до старта на корабль могут поставить новую, едва отработанную тормозную установку только потому, что он, Игорь Редькин, считает ее самой лучшей в мире.

— Хахит трепаться, — пробурчал Шишов, вытаскивая своего дюралевого колчана очередной карандаш. Все замолчали.

Тихо. Так проходит много минут.

— Борис, какая-то сплошная буза, — шепотом говорит Нина в спину Кудесника. — Тепловые потоки на шторках получились с обдувом больше, чем без обдува.

— Ерунда, — не оборачиваясь, уверенно говорит Борис. — Там элементарщина, все просто, как в законе Архимеда...

— Кстати, — втирается в разговор Бойко, который явно томится молчанием за своим графиком, — кстати, кто может сказать: Архимед — это имя или фамилия?

Но до Архимеда никому сейчас нет дела, и вопрос Виктора повисает в воздухе.

— Все это верно, — говорит Нина, — и все-таки с обдувом больше...

Кудесник оставляет свои отчеты, подходит к Нине. Теперь они вдвоем склонились над лентой.

— Давай поглядим формулы, — говорит он.

Нина молча показывает.

— Программировала сама? — строго спрашивает Борис.

— Сама...

— Наверное, там и напутала.

Нина молча проталкивает листок с уравнениями, расписанными по операциям. Борис долго смотрит и сопит.

— Чертовщина какая-то, — наконец говорит он. —

Надо пересчитать. И быстро. Сегодня можешь пересчитать?

— Конечно.

— Виктор, ты можешь вечером с Ниной пересчитать шторки? — спрашивает Кудесник у Бойко.

— Ладно, пересчитаем, — лениво отвечает Виктор.

Он чертит график и думает о том, что у графика есть какое-то неуловимое сходство с профилем бразильского полулая ара. Ему хочется показать график ребятам и спросить, есть ли действительно такое сходство, проверить себя. Но он молчит, понимая, что ребятам сейчас не до бразильских полулавов.

8

Вечер застал их в огромном зале, где установлены счетные машины — серые тысячеглазые существа, то низко гудящие, то громко прищелкивающие, то как-то крестко, с присвистом постукивающие. За окнами уже совсем темно. Нина, усталая, расстроенная путаницей со шторками, сидит у одной из машин. Они с Виктором только что отделили программу, и «задача пошла». Что получится, еще не ясно. Виктор Бойко в конце зала курит, выпуская дым в приоткрытую дверь. Но дым почему-то не хочет уходить, лезет обратно в зал.

Внимание Виктора привлекают два пыльных, видно, очень давно уже висевших на стене плаката. «Вступайте в ряды ДОСААФ!» — написано на первом из них под тремя фигурами очень красивых молодых людей: девушки-санитарки, летчика и радиста. «Странное какое-то слово получилось: ДОСААФ, — думает Виктор. — Библийское... Авраам, Исаак и Давид...» На втором плакате — флаги, цветы и надпись: «Да здравствует наша любимая Родина!»

«А зачем он? — думает Виктор. — Для кого? Жил-был, не любил Родину, прочел плакат — полюбил. Так, что ли? Да здравствует Родина... Мурманск, где он родился и вырос... Белые ночи, крики кораблей в порту, эти сосенки за домом дед... Потом Ленинград... Какое это счастье, что на свете есть такой город! Москва, музыка курантов... А затем Сибирь... А у Нины свое. Разве можно все это забыть? Или можно не любить? Вот была Космодомьянская Зоя. Она, что же, плакат такой читала? Или те ребята, трактористы в Казахстане, которых он узнал, когда студентом ездил на уборку... Он никогда не забудет, как Мухтар тогда ночью спросил: «Сколько лет самому старому городу на свете?» Виктор не знал, но сказал: «Три тысячи лет». «Вот тут мы построим город, который простоят тридцать тысяч лет! — сказал Мухтар. — Разве есть земля красивее! Кругом без края стояла пшеница... Может быть, сейчас Мухтар уже строит его — город тридцати тысячелетий... А у них «Марс»... А зачем плакат? Ведь тогда надо выпустить плакаты: «Любите мать», «Не бейте стариков»...»

Он бросил окурок в урну и пошел к Нине.

— Интересно, — спросил Виктор, — какие чувства ты испытывала, когда читала вон тот плакат?

Нина прищурилась.

— Откровенно говоря, я его первый раз вижу.

— Он висит года три.

— Серьезно? Я не замечала.

— В этом вся штука, — задумчиво сказал Виктор. — А ты хочешь, чтобы здравствовала наша любимая Родина!

- Отстань, я устала...
- Нет, ты отвечаешь: хочешь или нет?
- Ты что, спятил?
- Я серьезно спрашиваю: хочешь или нет?
- Хочу.

А Кудесник, Юрка, Игорь, Сергей, Бах, — они хотят?

- Хотят.
- И без плаката хотят?
- И без плаката.
- А кто не хочет?
- Все хотят.
- А враги!
- Какие враги?

Ну, всякие... ИмперIALисты, скажем. Они хотят?

- Не хотят.
- Правильно, Нинка! Вот их и надо агитировать, сволочей! Так зачем его тут повесили?

— Отстань... Значит, надо.

— Кому надо? Если никому из нас не надо, то кому же надо?

— Художникам надо рисовать плакаты, — нехотя, только чтобы отделаться от него, сказала Нина. Виктор помолчал, подумал и заключил:

— Тот, кто это рисовал, безусловно, не художник... Не художник, потому что он холодный человек. Впрочем, он, может быть, даже любит Родину. Но ему думать лень. И боязно: вдруг что не так! А тут он спокоен: у кого поднимется рука критиковать такой плакат? Он холодно спекулирует высоким и дорогим. Да, он спекулянт... В двадцатых годах он спекулировал хлебом, а в войну — дровами, продовольственными карточками, потом — книгами, сейчас — словами. Он всегда спекулировал тем, чего всем нам не хватало. А сейчас, мне кажется, очень часто не хватает именно настоящих слов...

— Ну, ладно, давай поглядим, что она теперь насчитала, — Нина встала.

И они склонились над свежей лентой — ответом электронного математика. Электронному математике было легко: он ведь только отвечал на вопросы. А задавали их люди.

Чудесное прозрачное апрельское утро. Последнюю неделю они работали так много, что воскресенье вышло неожиданным маленьким чудом.

Утро Кудесника, как и полагалось воскресному утру Кудесника, началось с похода в детскую молочную кухню. Тетя Дуса, старушка, которую с великим трудом удалось ему отыскать, когда родился Мишка, в воскресенье уезжала «к племяннице», или по святым праздникам шла в церковь, или летом — просто в парк, где играл духовой оркестр, а иногда даже показывали бесплатно кино. Поэтому в воскресенье в кухню ходил он сам. Бутылочки с делениями через пять граммов ставил в маленькую корзиночку, плененную из цветных стружек. Что-то было смешное и трогательное в этой корзиночке. Что-то от Красной шапочки и Серого волка.

Борис любил эти воскресные походы, потому что никуда не надо было торопиться, можно было посмотреть на город и людей, на все, что делается вокруг. В обычные дни он стремглав кидался в автобус, в котором знал всех пассажиров в лицо. В обычные дни он не видел города. И вот сейчас он шел, не торопясь, с интересом оглядывая все, что видел. Вот лежит под «Москвичом» несчастный «частник». Вот в подворотне мальчишки играют в «арашинбец». Отличная игра! Требуется меткости руки и глаза. И он ловит себя на мысли, что он, кандидат технических наук, с удовольствием бы сыграл в «арашинбец». А тот дом на углу уже застеклился...

Борис разглядывает афиши. Открывались парки и танцзалы. Приехали дирижер из Чили и скрипач из Англии. Гастроли театра «Современники»: «Сирано де Бержерак». Демонстрация объемных теплеприемников. Волейбол: «Химки» — «Буревестник». «Прогулки на катерах — лучший отдых». Подписка на собрание сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Левитин. Мотогонки по вертикальной стене». Конкурс цветов. «Обманутая мать» — новый египетский кинофильм. Вечер поэзии...



Когда он читал афиши, настроение портилось. Весь этот пестрый, может быть, и не всегда такой интересный, как о нем рассказывали афиши, мир городских развлечений и увеселений уже давно катился мимо него. Он чувствовал, что ушел из этого мира, потерял с ним всякую связь. И не то чтобы он не смог пойти на этот вечер позинг, например. Конечно, смог бы. Он ходил. Очень редко, но ходил. Но вот когда он ходил, когда слушал стихи и оглядывал сидящих рядом людей, он чувствовал какую-то непонятную свою отчужденность, чувствовал, что это случайно: он в этом зале. Им всегда владело не осознанное до конца желание множить свои контакты с миром. Он любил новых людей. Он вообще от природы любил узнавать. Самой сильной чертой, определяющей его характер и поступки, была любознательность. Наверное, меньше, чем кто-либо из тех шести человек, которые сидели в одной из комнат седьмой лаборатории, годился он в начальники, потому что любознательность его была глубоко индивидуальна и наибольших успехов он мог бы достичь именно как исследователь, а не как руководитель исследователей. Просто в этом никто не разобравшись.

Он защитил диссертацию раньше других, и ему «дали сектор».

Вот эта жажда нового и мучила его, когда он читал афиши. Мучила не потому даже, что он не мог утолить ее сегодня, а потому, что (он чувствовал это) он не утолит ее и завтра. Едва он выходил из проходной, как подступали к нему со всех сторон бесчисленные маленькие заботы. Они облепляли его, как рыжие лесные муравьи, забирались под одежду, жалели, и не было никакой возможности ни убежать, ни страхнуть их с себя. То матери требовалось какое-то лекарство, а его не было ни в одной аптеке, то в квартире начинался ремонт, долгий страшный месячник какой-то пещерной жизни и средневекового произвола прорывов. Потом надо было отдать в чистку плащ, и это пустяковое дело тоже выставляло в проблему, потому что вещи в чистку принимали почему-то по утрам, когда они с женой уезжали на работу.

Потом надо было начинать думать о даче для Мишки, начинать «подыскивать». И еще, и еще, и еще. Как в сказке, когда на месте отрубленной головы Змея Горыныча сразу вырастала новая голова, не было конца этим заботам. Остро чувствовал он их бесконечность, и от этого иногда ему хотелось послать все к черту, уехать очень далеко, заняться чем-нибудь совсем другим. Жить где-нибудь в деревне, работать в колхозе... Или носиться, как вот этот самый Левитин, по стене на мотоцикле, путешествовать с этой стеной по всему Союзу...

Но в свои тридцать два года слишком глубоко уже пустил он корни в эту жизнь. Слишком крепко был опутан по рукам и ногам тонкой цепочкой, кандалов звено которой было маленьким «надом», чтобы изменить что-нибудь... И еще были ребята: Игорь, Витя, Сергей. И была работа, которую он ни за какие деньги и блага не мог бы бросить. Он прочел где-то, что Эдисон неделями не выходил из лаборатории... И он очень понимал Эдисона и завидовал ему. Завидовал работоспособности Бахрушина и извечному кипению Эс Те. Он любил и умел работать. Это чувствовал каждый, кто был рядом с ним. Но сколько бы он ни сделал, он хотел сделать больше. Он хотел большего, чем мог физически. Он не успевал жить... Может быть, и поэтому афиши портили ему настроение...

Кудесник вернулся домой в веселом перезвоне маленьких бутылочек, а на кухне его уже поджидал участковый оперуполномоченный Гвоздов.

— Ну как? — спросил Гвоздов с надеждой.

— Да пока никак, — ответил Кудесник.

— Та-ак, — с грустной раздумчивостью сказал Гвоздов и потянул с бока плавшетку, в которой лежали чистые бланки протоколов.

Дело в том, что у тети Дуси кончилась временная прописка. Оставить Мишку, кроме как с тетей Дусей, было не с кем. Все об этом знали: и в домоуправлении, и в милиции. Знали, понимали, что тетю Дусю прописать надо. Знали-понимали, но не прописывали и регулярно штрафовали Кудесника за исполнение



какого-то параграфа, который, по словам Гвоздова, «нарушишь — костей не соберешь»...

— Та-ак,— сочувственно повторил оперуполномоченный и добавлял: — Ну, неси чернила...

Начался воскресный день у Бориса Кудесника.

10

А в это время Виктор Бойко сидел на скамейке в парке Победы, думая о своем: скворечник — что это, просто удобство или необходимость для скворца? И вообще хватает ли им скворечников? И что делают те, которым не хватает?

Виктор задавал себе эти вопросы не только потому, что обладал редкой способностью выбирать необычную точку, откуда он смотрел на мир, что и позволяло ему видеть по-новому давно известное, но и подсознательно, потому что весенние жилищные заботы скворцов были ему близки и понятны. Дело в том, что Виктор Бойко снимал комнату, маленькую, сыроватую, но сравнительно дешевую. Он очень не любил ее. Приходил туда только ночевать. Конечно, можно было найти что-нибудь получше, да нехота было искать. «Четыре года терпел, теперь уж дотерплю» — таков был его смиренный жилищный девиз. За эти четыре года пять раз, подавляя в себе необъяснимое чувство стыда, которое охватывало его всегда, когда нужно было «спросить за себя», ходил он к профгору лаборатории Синицыну. Ходил просить комнату. Синицын, толстенький, с маленькими блестящими глазами, похожий на морскую свинку, завидев его, всякий раз сразу начинал суетиться, переключать на столе с места на место бумаги, хватался за телефонную трубку, мелко дергал носом, отчего его больше становился похож на морскую свинку. Потом Синицын принимался обещать. Нет, не обещать, а «заверять».

— Заверю тебя,— говорил он,— ты у нас в первой десятке. И не сомневайся... Я тебя заверю...

Люди опытные советовали Виктору жениться, а женившись, поторопливаться с наследниками. Молодоженам действительно жилье давали быстро, а с детьми и того быстрее. Виктор отнюдь не был женоненавистником, и принципиально у него не было никаких возражений против женитбы. Но не мог же он жениться ради квартиры! А не «ради» не получалось. Каждый раз он, как говорил Редькин, «сходил с дистанции».

Однажды, когда они, после защиты Кудесником диссертации, крепко «гуляли» в ресторане, Виктор, объяв Редькина, сказал:

— Я убежден, существует девушка только моя. Для меня рожденная... Как Джульетта для Ромео. Где? Не знаю... Может быть, не там... А может, в Исландии... Конечно, общность языка, политических взглядов, морали говорит в пользу СССР, но понимаешь ли ты, что духовное сродство определяется...

— Понимаю,— перебил его Игорь.— Понимаю. Если бы Ромео был таким слонотем, Тибальд заколол бы его, как поросенка...

Короче, Игорь, как говорится, наплевал ему в душу. От бесед на подобные темы Виктор с тех пор уклонялся. Почему-то он вспоминал об этом разговоре сейчас, сидя на скамейке в парке.

Тут слышно, уже пахнет немного летом. Пахнет дождем, землей, молодой горькой листвой. Оказывается, уже появились листья... Черяка, толстый, розовый, как свинья, вылез греться на солнце... Пробили черную землю первые яркие и острые листья травы... Ото-

всюду лезет, прет жизнь. Бесстыдно, жадно, весело... «Наверное, Рубенс любил это время», — как всегда неожиданно для самого себя, подумал Витя и, запрокинув голову, подставил солнцу лицо.

Так отдыхал Виктор Бойко.

11

С овсем недалеко от парка Победы, на одной из улиц, по которой редко ездят машины и которая граничит с другой улицей, по которой они ездят слишком часто, в большой, с тонким вкусом обставленной квартире профессора Маевского, известного на всю страну хирурга, растянувшись на широкой тахте, курил его сын Юрий. Он откровенно и беззастенчиво наслаждался праздностью, потому что знал, что последние дни работал много и с толком. И сейчас он не испытывал ни малейших угрызений совести от того, что после вкусного, сытного, а главное, неторопливого завтрака, он снова лежал на тахте, не спеша раздумывая над тем, что делать дальше.

— Юре! «Спутник» принесли? — крикнул он в дверь.

Домработница Юра появилась бесшумно, как джинн в сказке.

— Нету «Спутника». «Маяк» вот, газеты и «Крокодил».

— Не надо «Маяка»...

Юра исчезла из рамы двери со скоростью шторок фотопарласта.

— Впрочем, давай «Маяк»! — снова крикнул он.

Как он и ожидал, «Маяк» был довольно скучный. Длинный рассказ про любовь в вероисповезде. Западавшая итоговая статья по хокею. Заметка о том, как один армянский умельец вырезал из кукурузного зерна памятник Аветику Исаакяну.

В комнату вошла Аюта, Юрина жена. Красная, длинноногая.

— Так и будешь лежать?

— А что? Хорошо поработали — культурно отдыхаем.

— Звонил Слава. Они взяли нам билеты на сегодня в филармонию. Какой-то чилийский дирижер, звали фамилию. Равель, Прокофьев...

— Очень хорошо! — искренне обрадовался Юра. Обрадовался потому, что теперь не надо было ничего придумывать самому.

— Это вечером, а до вечера?

— Ну, я не знаю... Он схватил ее за руку, притянул к себе, обнял и поцеловал за ухом. Он любил поцеловать ее за ухом и в шею, чувствуя при этом удивительно приятный запах ее волос.

— Юрка, ты тылен,— сказала она ласково.

— Да, я тылен... Поцелуй меня...

— Юрка, давай не разлагаться, вставай.

— Ну хорошо, допустим, я встану. А что дальше?

Давай сначала придумаем, зачем мне вставать.

И он снова поцеловал ее...

Таким было утро Юрия Маевского.

12

В отличие от Юрия Маевского Сергей Ширшов не был женат. Он был жених. Жених... Удивительно глупое слово. Да никто о себе так и не скажет: «Я жених». Смешно, какой он, к черту, жених? А кто же он? Ну кто же? Как объяснить... Все намного сложнее... Все ужасно сложно...

Как-то Редькин сказал: «Уметь жить — это значит уметь делать из больших проблем маленькие». Редькину что? Сболтнул — и все. И забыл. А Сергей потом подумал и решил, что если Игорь прав, то жить он не умеет, потому что у него как раз наоборот: он делает из маленьких проблем большие.

Сергей Шишов обладал прескверным характером. Он был подозрителен, вздорен, мнительен и мелочен. И, странное дело, на работе все эти свойства сразу как-то улетучивались, а дома... вернее, даже не дома, а главным образом с Алкой — расцветали пышным цветом. По существу, все их взаимоотношения сводились к одной бесконечной и беспримиренной ссоре, раздробленной на части короткими часами примирений. Вот и этим утром у касс бассейна «Водник» разговор шел у них глупый, вздорный, и Сергей чувствовал это, но остановиться не мог...

— Ну, так я беру билеты? — спросил он в третий раз.

— Бери, бери, — с готовностью согласилась Алла. — Ты говоришь это так, будто я тебя веду на эшафот...

— Что ты хочешь?

— Я не хочу одолжений.

— При чем тут одолжения? Ты сам сказал, что это интересно. Очень хорошо, пойдем посмотрим. Ты хочешь, чтобы я плясала от восторга?

— Не нужны мне твои пляски. Но если не хочешь идти, не ходи. Я могу один...

Обычно после такого она говорила: «Иди! Иди куда хочешь и оставь меня в покое!» Но она не видела его целую неделю, если не считать среды, когда он забегал уже в одиннадцатом часу, и она ответила иначе:

— Сереза! Я хочу, понимаешь? Я хочу. Пойдем на соревнования, а если тебе расхотелось, не пойдем на соревнования...

— Ну так я беру билеты? — спросил Сергей в четвертый раз...

Тонкая, в черном купальнике девушка подошла к краю trampлина. Чуть потопталась. Чуть-чуть, одним пальцами. Так метатели чуть-чуть перебирают рукой копы перед замахом. И вдруг прыгнула! С гордой, веселой силой бросила себя вверх. Этот полет был недолгим: ведь она все-таки падала, но это был полет! Она управляла им, неуловимо и тонко соразмеряя пластику своих движений с ускорением этого свободного, бесстрашного падения. Стройное тело вспоролو зеленую воду без брызг, трибуны одобрительно загудели. Под стеклянными сводами бассейна сухо захохотали аплодисменты.

Сергей покосился на Аллу. Она очень нравилась ему и поэтому стало грустно. Алла достала из сумочки «Мишку» (Сергей купил в буфете) и стала есть. А когда съела, стала свертывать из фантика поддельную конфету-пустышку. Сергей краем глаза следил за ней и задумал про себя, что, если она отдаст конфету ему, будет плохо. Пустышка олицетворяла обман. Он любил так задумываться и страдался от этих своих задумок даже больше, чем от реальных неприятностей.

Наконец все было готово. Она положила конфету на колени, любуясь своей работой, потом посмотрела на Сергея и спросила шепотом:

— Дать тебе?

Сергей молчал.

— Дать?

Сергей молчал: он хотел, чтобы у судьбы были равные шансы. Скажи он «да» или «нет», все было бы уже нечестно.

Зажав конфету в руке, она отвернулась к trampлину. Сергей очень боялся, что она засунет конфету потихоньку ему в карман, сидел настороженный, ждал, что будет...

Уже поздно вечером, когда он провожал Аллу домой и совсем забыл про «поддельную» конфету, она, пошарив в сумочке, бросила в урну яркий синенький шарик.

— Ты конфету бросила, да? — спросил он зловеще. А когда она сказала, что бросила действительно конфету, Сергей почувствовал сразу такую легкость, радость и нежность, так захотелось сказать ей что-то очень ласковое. Но он не знал, что сказать, и не сказал...

Но это было уже поздно вечером, а утром Сергей Шишов стоял у касс бассейна «Водник».

13

Игорь Редькин и в воскресенье работал. Вернее, еще не работал, но собирался. На утро у него была запланирована статья для журнала «Знание — сила», уже не первая статья, которую он посылал в научно-популярные журналы. И сам про себя и в присутствии других он называл эту свою работу халтурой, уверенный, что пишет только ради денег. А всякую работу, которую делали только ради денег, вне зависимости от качества ее исполнения, он считал халтурой.

Писал он действительно и ради денег. Отдавая матери зарплату и премии, которые платили, когда они «проворачивали» что-нибудь досрочно, Игорь постоянно сидел без денег и перед получкой регулярно «стрелял» у Маевского десятку. Но он писал не только ради денег. Он писал, потому что любил писать. Ему это нравилось. Увлечение журналистикой он считал слабостью, недостойной человека, занимающегося каким-либо серьезным делом. Он не знал, что любил писать. Не знал, что это ему нравилось. И эту статью о скачках уплотнения он тоже называл халтурой, хотя относился к ней необыкновенно добросовестно, давно обдумывал ее, набросал неделю назад план и даже придумал первую, как ему казалось, интригующую строчку: «Самолет не поднимался в пилот».

Он совсем было засел за работу, но подошел к окну и вот уже стоял минут десять, глядя на залитую солнцем улицу. Там, на улице, было, кажется, очень весело. Прямо напротив их окон, где находился мебельный магазин, толпились народ, свистлики, размахивая чеками, продавцы в синих халатах, мрачно бродили «левские» шоферы и, стоя поодаль, выглядывали добычу грузинки. Подходил грузовик, и на него медленно и нежно грузили шкаф. В большом зеркале шкафа отражался мир. Мир радостно прыгал: облака, окна домов, пешеходы, автомобили...

Но статью надо писать. Он обещал. И писать надо сейчас, потому что вечером придут Жорка и Вася — старые, еще со школы, друзья. И они выпьют. Они давно все сговаривались выпить. Просто так, «без затей», сесть, выпить, потреться. Но вот задача: надо ли звонить Ирочке? Жорка, Вася и Ирочка... Как-то вместе они не смотрятся». Ребята будут сидеть зажатые. Будут стараться острить. Жорка опять начнет рассказывать, теперь уже для Ирочки, как у пика Семьи сестер они попали в бурю... Может, позвонить все-таки и наплевая на Жорку? Нет, не позвонит он Ирочке... А ведь он знает: обязательно будет минуте,

когда ему захочется убежать и от Жорки и от Васи, когда он будет жалеть, что не позвонил Ирочке... А может, сейчас позвонить? Но как тогда быть со статьей?

Так в муках сомнений начался день Игоря Раздолина.

14

Утро Нины Кузнецовой—утро ожидания. Она сходила в парикмахерскую, потом в магазин, потом просмотрела газету, потом, поджав ноги, села с книжкой в уголке дивана и читала, но, думая о своем, ничего не понимала из прочитанного, просто рассматривала глазами одну строчку за другой—так читают на сцене актеры. Книгу взяла она, чтобы убить время, чтобы вечер скорее пришел. Вечером—Раздолин...

Они куда-то шли, куда-то ехали. Куда? А кто его знает, куда... Ужинали в каком-то маленьком ресторанчике на набережной. Им очень дол-



го ничего не подавали... Впрочем, и другим тоже. Другие возмущались, а они нет. Даже если бы о них вовсе забыли, они бы не возмущались... Потом опять куда-то ехали. Троллейбус, подывая, катился от фонаря к фонарю. Нина смотрела в окно на темную улицу. Желтые квадраты света, падающего из окон троллейбуса, неслись по асфальту, прямо по лужам. Потом откуда-то сзади набегала большая серая тень самого троллейбуса, обгоняла его, неслась вперед, светлея и размываясь... А следом уже возникала другая, потом еще, еще...

Почему раньше она не видела всего этого?

Какой-то маленький скверик. Круглая клумба. В ней белый лионер с отбитой рукой. Они сидят на скамейке. Он обнял, прижал ее к себе.

— У тебя уши замерзли,— говорит она и смеется.— Красные уши...— И она трогает его ухо пальцем.— А помнишь, Арамис щипал себя за мочки ушей, чтобы они розовели!.. Это нравилось женщинам... Раздолин, а может, и ты щиплешь?

— Тебе нравится Арамис?— спросил он.

— Он молодец. А тебе?

— И мне... Но Атос больше...

— Атос—герой... Всем мальчикам нравится Атос...

Он хотел поцеловать ее, но мальчишки, как раз именно те мальчишки, которым нравится Атос, ворвались в скверик, как банда басмачей,

Она легко отстранилась, и без обиды понял он, что целовать сейчас нельзя.

— Это они, наверное, отбили пионеру руку, — шепотом сказала она.

— Они...

Потом они стояли в маленькой беседке во дворе ее дома. В центре детской беседки. Качели, оставленные детьми, были печально неподвижны. Он целовал ее долго, нежно, прикаж к себе. Он говорил ей что-то, а она не слушала слов, не нужны были слова. Она поднималась на цыпочки и целовала его в губы, долго и так крепко, что он чувствовал ее зубы...

Так в маленьком дворике, на который со всех сторон во все глаза смотрели сотни оранжевых окон, в эту ночь рождалось редкое и нежное чудо — любовь.

15

Борис Кудесник у стола. Горит настольная лампа. Несколько книг. На обложке одной — золотом: «Теория плазмы». Борис читает. Две женские руки лежат ему на плечи, и тихий голос говорит:

— Закрой свет газеткой, Мишка ворочается...

Борис ставит газету у лампы, щечкой проводит по руке. И руки слетают с плеч...

Виктор Бойко идет домой темным переулком. У булочной выгружают свежий хлеб, и Виктор останавливается, вдыхая ароматный, теплый и добрый запах. Лотки быстро исчезают в окошке, один за другим...

— Можно купить один батон? — спрашивает Виктор.

— Или проголодался? — с иронией говорит грузчик, продолжая кидать лотки.

— Нет... Но пахнет хорошо...

— Духи купи себе и нюхай, — уже зло говорит грузчик.

— Я заплачу...

— Не видишь, что ли, закрыта булочная, — доносится из окошка визгливый женский голос.

Виктор понимает, что ничего сделать нельзя, но не уходит, молча стоит и нюхает хлеб...

Большой зал филармонии заполнила нарастающая, бьющаяся в едином, четком ритме дробь барабана. Болеро Равеля. Глаза Маевского закрыты, ресницы вздрагивают и волнуются, а барабан все бьет и бьет... Лицо у Маевского напряженное. Он совсем не похож на того Маевского, которого знают все.

Сергей Ширшов сидит в майке и в трусах на постели. Совсем темно. Встает. Босиком выходит в темный коридор и приоткрывает другую дверь. Тоже темно.

— Батя, ты спишь? — шепотом спрашивает он.

— Что тебе? — отвечает женский голос.

— Ма, я женюсь! — выпаливает Сергей.

— До утра потерпеть не мог?

— Нет, я правда женюсь!

— Ты, никак, выпил? — с тревогой спрашивает мать...

Три рюмки сошли, чокнулись.

— И все-таки, что значит для тебя заниматься наукой? — с пьяной настойчивостью спрашивает Игоря Редькина Жорка, старый школьный друг,

— Для меня? Ну, как сказать... — Игорь вертит в пальцах рюмку, — удовлетворять собственное любопытство за счет государства!

И махнул водку в рот.

— Не пиконь, — строго говорит Жорка. — Ты понимаешь, о чем я говорю. Зачем нам Луна, Венера, Мерс, если нет удовольствия каварти, ботинки, масла? На кой хрен!

— Кому это «нам»? — строго спрашивает Игорь.

— Мне, тебе, Все, все.

— Ты упрощаешь, — вяло говорит Вася. — Пойми...

— Ничего он не упрощает, — резко перебивает Игорь. — Он мещанин. Ему нужна конура, подбитая плюшем и лакированные штилеты за пять рублей!

— А почему из-за каких-то лунников я должен платить за штилеты тридцать рублей!

— Считаю, что разницу ты заплатил за билет в эпоху! Плащкартный билет!

— Только без демагогии...

— Да замолчи! Сотни лет люди смотрели на небо, мечтали... Луноград — это такая же гордость наша, как твой Рублев, как Василий Блаженный, как «Аврора»... Давай загоним американцем Третьякову, а? Ведь купи! И хорошие деньги заплатят! И почему это мы не обменяли Рублева на свиную тушонку? А? Ужасно, что это говоришь именно ты! Ужасно, ужасно!.. Кстати, почему ты пишешь картины, а не разводишь коров? Штилеты делают из коров...

— Отлично! — крикнул Жорка. — Мы договорились до отрицания искусства!

Игорь словно и не слышал этих слов.

— У Толстого в «Азките» летят на Марс в двадцатых годах, — говорит он задумчиво. — Помните, Гусев ходил в солдатских обмотках. А сейчас наша станция работает на Луне. На Луне! Вася, когда я думаю об этом, у меня комок в горле, плакать хочется... Это грандиозно, Вася! Неужели он не понимает?

— Кончайте, ребята, — устало говорит Вася. — Давай по последней...

И он начал разливать остатки водки, примериваясь, чтобы всем досталось поровну...

А в темном — одна грязная лампочка — подъезде Раздолин, азя в ладони прекрасное, светлое лицо Нины, почти кричит:

— Я люблю тебя, понимаешь?! Я тебя люблю! Люблю! Люблю!

Ее глаза закрыты.

16

Маленький, уже знакомый нам кабинет Главного Конструктора. Ему предстоит разговор с космонавтами. Звонили из Москвы, из штаба ВВС, просили все им объяснить.

Говора откровенно, Главному было в общем-то все равно, кто полетит на Марс. Он полностью доверял людям, занятым хлопотливым делом подготовки космонавтов, и понимал, что из сотен парней, крепких душой и телом, можно отобрать нескольких лучших. А потом — лучших из лучших. Такой выбор был уже сделан, и он согласен с ним. Вся тройка ему нравилась. Нравилось ему и то, что Агарков, Воронцов и Раздолин были очень разными, непохожими друг на друга. Вот они сидят перед ним, все трое, выбритые, подтянутые, очень молодые и уже поэтому красивые. Сидят и не знают, что лететь придется только одному.

Кому? У него нет права выбора. Но он хотел бы сделать такой выбор для себя. Не только для того, чтобы при случае иметь свою точку зрения, но просто для того, чтобы проверить свой опыт и свое умение разбираться в людях. Он считал, что обладает этим умением. (Кстати, он им действительно обладал.)

Вот Воронцов. Он самый старший. Молчаливый. Видимо, упрямый. Широкий в плечах, мускулист, но легкий, пластичен. Волгарь, ульяновский. Хорошее русское лицо. У носа на скулах пробиваются веснушки. А нос чуть картошкой, но чуть-чуть. Лохматые брови, глаза с рыжой. Блондин? Да вроде нет. Среднерусской светлой масти...

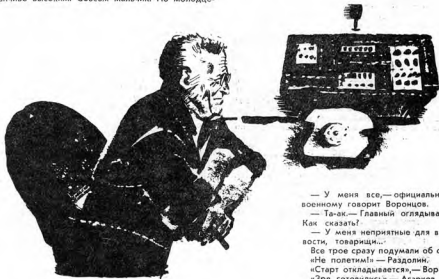
Вот Раздолин — блондин. Голубоглаз, румян. Рядом с Воронцовым он кажется тонким, даже хрупким и обманчиво высоким. Совсем мальчик. Но молодце

— Пусть, пусть придирается. — Степан Трофимович кивает головой. — Не день, не два лететь — месяцы. Белый — действительно цвет суховатый. Надо сделать что-нибудь этакое, домашнее...

И он записывает каракулями на переносном календаре: «Пенопласт!»

— Степан Трофимович, — говорит Воронцов, — у иллюминатора поставили откидывающийся кронштейн для киноаппарата. Это удобно. Но аппарат крепится к нему намертво. Там бы шаровой шарнир с зажимом...

— Хорошо, — говорит Главный и опять помечает в календаре.



— У меня все, — официально, по-военному говорит Воронцов.

— Та-ак, — Главный оглядывает их. Как сказать?

— У меня неприятные для вас новости, товарищи...

Все трое сразу подумали об одном.

«Не полетим!» — Раздолин.

«Старт откладывается», — Воронцов.

«Зря готовились», — Агарков.

Степан Трофимович замолчал, и все трое тоже молчат, ждут.

— Астрономы не дают погоды. В июле и последующие месяцы возможно резкое увеличение активности Солнца. Та биозащита, которая стоит на «Марсе», может не справиться... Это все, правда, предположения. Вполне возможно, что ничего и не будет, предсказать тут трудно... Но я говорю вам все начистоту, чтобы вы знали. Возможно, что доза радиации на борту превысит допустимую. Ненадолго, но превысит. Для жизни опасности нет, для здоровья, может быть, и есть. Вы должны это знать. Ваш полет не простое задание летчика. Вы имеете право отказаться...

Трое молчат.

— Я готов лететь, — наконец говорит Раздолин.

— Степан Трофимович, — медленно начал Агарков, не глядя на Главного, — вы вот сами говорите: может, будет, может, нет, может, дождик, может, снег. А лететь надо. Марс не Луна. Если бы можно было отложить полет на несколько месяцев, на переждать, что ли, тогда другое дело. Что ж, теперь следующего противостояния дожидаться? Риск есть риск. А где его нет? Хамсу ловить — и то риск. Как, ребята? — Он обернулся к Воронцову. — Я думаю, летим. А если...

ват, глядит орлом. Голова работает быстро, за словом в карман не полезет...

Агарков всех крупнее. Смуглолиц. Красивые волосы закидывает назад. Черные глаза с южной поволокой. Он из Новороссийска. Рыбак в пятном колоне. Нетороплив, рассудителен, добродушен. Говорят, очень силен физически...

Вот они сидят: тройка лучших из лучших. А лететь двоим. Как сказать?

— Ну, как идут дела? — с улыбкой спрашивает Главный. — Как корабль? Давайте критикуйте, лететь вам, не мне.

— Отличная машина! — радостно сообщает Раздолин.

— Корабль хороший, — говорит Воронцов.

— Мне не нравится пенопласт, — помолчав, добавляет Агарков.

— Почему? — Главный удивленно взглянул поверх очков.

— Кругом белый пенопласт. Я понимаю, нужны мягкие стенки, чтобы в невесомости не стукнулось... Ну и при посадках... Но почему Белый? Как в больнице...

— Брось придирается, — перебивает Раздолин, — какое это имеет значение...

— Мы усиливаем экраны биозащиты, — говорит он. — Усиливаем за счет веса полезной нагрузки корабля. Иного выхода, учитывая сроки, нет. Поэтому полетят не трое, а двое...

Три молодых, красивых, очень серьезных лица. «Воронцов полетит обязательно», — думает Главный.



17

Прозрачное зябкое утро. К проходной идут люди. Если взглянуть сверху, увидишь, как пролегли черные нитки пешеходов, узелком завязанные в маленьком домике проходной. Подошел автобус, красненький жучок, и посыпались из него люди. И из передней двери и из задней, над которой висит пугающая своей безысходностью табличка: «Нет выхода».

Ближе к забору, справа от проходной, выстраивается шеренга автомобилей. Не так много. Десятка два. В основном «Москвичи». Вот медленно и аккуратно встает в автомобильный строй «Волга» Бахрушина. Бахрушин легко выпрыгивает из машины. В этот момент с ревом и ядовитым синим дымом рядом с «Волгой» тормозит мотоцикл Редькина.

— Здравствуйте, Виктор Борисович, — весело говорит Игорь, снимая очки.

— Добрый день. — Бахрушин запирает дверцу «Волги». — У вас вид отважного гонимца.

— Я не отважный, я несчастный. Мне, чтобы добраться, нужно делать четыре пересадки. Я ведь живу у черта на рогах — Живописная улица.

— Это где же? — с интересом спрашивает Бахрушин.

— От химкомбината на автобусе № 100 до конца. Это уже

близко от советско-афганской границы...

Они подстраиваются в одну из коротких, быстро двигающихся очередей, вращающих турникеты проходной, словно речной поток лопатки гидротурбины.

За проходной начатый разговор продолжается. — А почему бы вам не обменяться поближе к работе? — говорит Бахрушин. — Многие, я слышал, меняются...

— Да, меняются, я знаю... Но мамина школа рядом с нашим домом. Тогда ей придется ездить...

— Она учительница?

— Да, русского языка.

— Но ведь и тут тоже много школ.

— Она работает в школе-интернате для слепых детей. Она не уйдет...

— А ваш отец?

— Его убили. Десятого мая... Есть такой городок в Чехословакии — Ческа Липа...

Помолчали.

— Я не полечу, — перебивает Анатолия Воронцова.

— Как не полетишь? — не с удивлением, а скорее со страхом спрашивает Раздолбин.

— А вот так не полечу. — Рыжие глаза Воронцова уперлись в зрачки Андрея.

— Ты боишься? — Раздолбин напрягся, как струна. Главный под очками сощурил глаза. Вертит в руках толстый красный карандаш.

— Боюсь... Помню, как пустили слух, что Титов заболел лучевой. Он лежал с ангиной и не мог приехать на какое-то заседание, а старухи в очередях жалели Германа. Я хорошо помню, что тогда говорили... Но это была глупость. А тут? Кто летит? Раздолбин? Воронцов? Ерунда! На Марс летит Советский Союз! И если что случится, то не о нас же речь в конце концов... Да что говорить, — Воронцов махнул рукой, — все ясно... Степан Трофимович, — он обернулся к Главному, — надо что-то сделать... Я, конечно, не знаю, возможно ли это, но...

Главный щурится, играет карандашом.

«Как мало мы знаем друг о друге,— думает Бахрушин.— Редькин работает у меня четыре года, и я всегда думал почему-то, что у него большая, шумная такая семья».

— А вы один у матери? — спросил он.

— Да нет,— виновато улыбнулся Игорь,— еще сестра и брат. Сестра замужем, уехала в Караганду, а брат — технолог на химкомбинате.

«Некогда просто поговорить с человеком,— думает Бахрушин.— Это ужасно, что мы говорим только о делах». И он спросил:

— Сегодня будете пускать ТДУ?

— Да, хотим попробовать.

— Я смотрел ваши цифры, не торопитесь. И осторожненько...

— Да она смиренная...

— Позвоните, когда будете пускать.

— Хорошо.

И они разошлись. Бахрушин — к себе в кабинет, Редькин — на стенд.

18

Испытательный стенд находился в двухэтажном домике и состоял из бетонированного бокса, где устанавливали двигатель, и комнаты с аппаратурой и пультами управления. В боксе сейчас жила ТДУ — тормозная дагитальная установка Редькина и Маевского, в комнате — люди. Бокс соединялся с комнатой массивной дверью. Как в бомбоубежище. Два окошечка с толстыми небьющимися стеклами позволяли наблюдать двигатель в работе. В комнате рядом с окошечками — большой пульт с кнопками, тумблерами, циферблатами приборов. Карандаш на веревочке. Внизу блестящие никелем штуравалы главных клапанов. Над головой лампы дневного света. Другие лампы освещают приборную стенку — десятки циферблатов и ряд высоких стеклянных трубочек манометров. На стенку нацелен фотоаппарат. Часто запуски длятся всего несколько секунд, и, конечно, никто никогда не успеет записать показания всех приборов. Поэтому стенку фотографируют.

В углу равное по сварному шву сопло и какие-то ржавые железки. Лежат с Нового года. К майским праздникам будет во всех лабораториях повальная уборка, и сопло неснут на свалку. Снесут много и нужных вещей. Потом инженеры из разных лабораторий будут ходить на свалку «ковыряться», искать кому что надо. После 1 Мая и 7 Ноября на свалке что хочешь можно найти, только не зевая...

В боксе опытная тормозная дагитальная установка, чудовищное переплетение трубопроводов и кабелей разных диаметров и цветов, грозди клапанов и реле, динамометры, замеряющие тягу.

Сегодня первые испытания ТДУ. Вернее, не первые, конечно. Уже не раз проводили холодные промазки, сверяли цифры расхода горючего и окислителя. Пока все сходилось хорошо. (Редькин говорил: отлично!) Сегодня первые огневые испытания. Двигатель должен «запуститься» и проработать положенное ему время. Если все будет хорошо, можно попробовать несколько раз остановить его и запустить снова: посмотреть, мягкий ли у него запуск. А может быть, даже испытать его на разных режимах.

На корабле, который должен стартовать на Марс, ТДУ уже есть. ТДУ Егорова. Маевский и Редькин считают ее грубой в управлении. Бахрушин знает,

что егоровская ТДУ вовсе не так уж груба и хорошо отработана, но убежден, что истина рождается в споре. Поэтому он включил работу по новой, мягкой ТДУ в план лаборатории. Степан Трофимович, утверждая план на ученом совете, высказался тоже «за». У него были свои тайные мысли. Его устраивала егоровская ТДУ для Марса. Но ТДУ с мягким режимом нужна была ему для Венеры. Там больше гравитационная постоянная, там грозные разряды мешают работать радиондикаторам, посадки, там облака снижают видимость, и еще черт знает что там есть. Вот там ему нужна будет мягкая ТДУ, и было бы хорошо иметь ее загодя. Коль скоро она будет, можно бросить лабораторию Бахрушина сразу после Марса на ориентацию обсерватории-спутника на восьмь человек, который должен пойти в производство через год, в декабре. Разумеется, всего этого Степан Трофимович Бахрушин не сказал, но своей находке в плане был искренне рад и даже про себя помянул добрым словом этих двух ребят, фамилии которых стояли в графе «Исполнители».

Вот так родилась ТДУ Редькина и Маевского. Вернее, не родилась, а рождалась.

19

Редькин пришел на стенд ровно в девять. Перевернув номерок на табельной доске, он увидел, что Маевский уже на месте. Юрка сидел с линейкой на круглом табурете у пульта в неудобной, скрюченной позе и что-то считал.

— Петух встает рано, а злодей еще раньше,— сказал Игорь вместо «здравствуй».

Маевский промолчал.

— Отсекатели проверял? — спросил Игорь.

Маевский замолот головой.

Редькин притворился тяжелой дверью и вошел в бокс. На установке работало двое механиков: Петыха Сокол (фамилия его была Соколов) и Михалыч. Поздоровались за руку.

— Ну вот, Игорь все знает, не даст соврать,— продолжал Михалыч прерванный разговор.— Скажи, адмирал ведь больше получает, чем генерал, а? И пенсия у них больше!

— А шут их знает,— ответил Игорь.— А ты что беспокоиться? Или тебя обсчитали?

— Зачем,— скромно потупился Михалыч,— просто интересно...

— Так ведь ты уже и букву «А» и букву «Г» окончил, сам должен знать,— поддразнил Петыха, почуяв в Игоре союзника.

— Действительно,— поддержал Редькин,— ты уж где сейчас? Поди, на «Щ».

— До «Щ» далеко,— спокойно отвечал Михалыч.— Вчера начал «Земля — индейцы», семнадцатый том...

Михалыч был человеком удивительным. Начал он здесь работать задолго до войны. При нем шли испытания первых советских ракет. Он пуская первый жидкостный двигатель на кислороде. Сам вез для него из города жидкий кислород. Дорогу к полигону размыло осенними дождями, и телега, в которой стояли дышеры, застряла в грязи. А кислород парил, его становилось все меньше и меньше. Тогда он выпряг лошадей, сделал из оглобель подобие носилок, и они четверном перетаскали дышеры по холодной, густой, как масло, грязи. «Гляди, кляпачок несут!» — кричали деревенские ребятишки, глядя на белый кислородный пар. Э, да разве можно

все пересказать!.. Многие, кого помнил он совсем еще мальчишками, стали докторами наук, академиками, большими людьми, запросто вхожими в самые высокие кабинеты. Главный, где бы ни встретились они, кто бы ни стоял рядом, здоровался с Михалычем первым. И за руку! Он был в бригаде сборщиков первого спутника, за что получил орден.

Помимо уникальных, золотых рук, Михалыч имел голову удивительной емкости, вмещавшую массу различных сведений, как нужных ему, так и совершенно бесполезных. Он, например, помнил число «пи» до двенадцатого знака, точно знал последние изменения курса иностранной валюты, объяснял, как происходит спаривание у иттов. Последней его затеей была покупка Большой Советской Энциклопедии, которую он читал том за томом подряд.

Михалыч был хитроумный и опытейший механик, друг всех кладовщиков и снабженцев. Он мог достать все, наимыгоднейшим образом составить описание опытов и провести два эксперимента, где другие едва успевали сделать один. Инженеры переманивали его друг у друга, и борьба за Михалыча заходила подчас так далеко, что в спор должен был вмешиваться сам Бахрушин.

Петька Сокол тоже был когда-то первоклассным механиком, но за последнее время, как говорил Михалыч, «испорченность утерлял».

Два года назад Петьку избрали секретарем комитета комсомола всего предприятия. Должности освобожденная, и Петька со стелды ушел. Работал он хорошо. В райкоме считался одним из лучших секретарей. Чуть было не уехал на фестиваль даже. На следующий год Петьку снова избрали. Тут он возгордился, приобрел сталь в голосе, любил пострадать вызовом на комитет, приспособился говорить на собраниях лихие речи. Петька так сваялся со своим положением «вождя» и всеми вытекающими отсюда привилегиями, что даже помыслил себя не мог ни в каком другом качестве. Поэтому, когда на последней комсомольской конференции его с треском «прокатили», он даже не сразу понял, что произошло. Да, его провалили. Аня Григорьева, комсорг из сектора Егорова, азяла тогда слово и «выдала» ему. Зал сидел — муха летит и то слышно. Потом встал Залеский (уж от него Петька никак не ожидал!), потом Квашнин... А перед самым перерывом еще Пахомов из парткома... Почему-то Петька запомнил одну очень обидную его фразу: «Часто живую комсомольскую работу Соколов подменяет фразой и администрированием». Так и сказал: «подменяет фразой». Зал аплодировал, и тогда Петька понял, что его провалили.

Ничего, однако, не оставалось делать, как возвращаться в лабораторию, на стелд. И Петька вернулся. Все это было осенью. Месяца три Петька ходил сам не свой, смотреть людям в глаза было ему стыдно, словно он совершил какую подлость. Если даже смеялись, Петьке казалось — над ним. Если молчали, казалось — бойкотируют. Он совсем извелся.

В чувство его привел Михалыч. Взял в напарники и «натаскал» на новую аппаратуру, которая появилась, пока Петька «сидел в верхах».

Сейчас они вдвоем кончили проверку тормозной установки перед запуском.

— Как отсекатели? — спросил Редькин.

— А что отсекатели? — в свою очередь, спросил Петька.

— Смотрили?

— Все смотрели.

— До обеда пустить?

— Не торопись, — сказал Михалыч. — К обеду отладим все, а тогда и пустим...

— Мы, как слони: два часа — бросаем бревна, обед! — вставился Петька.

— Ты уж помолчи, «слон», — едко сказал Михалыч.

— А может, до обеда? А то завтра Егорова отнимет стелд... — не унимался Игорь.

— Погуляй, — ласково сказал Михалыч, — не мешай работать...

Игорь понял: Михалыч до обеда ТДУ не пустит, — и вышел из бокса...

Михалыч не упрямился. Он видел за свою жизнь сотни ракетных движков и знал их нравы лучше другого инженера. Тормозная двигательная установка Редькина и Маевского ему нравилась. Она была красивой неповторимой, понятной далеко не каждому красотой машины, которая идет не от внешнего вида, а от внутренней гармонии и совершенства. Михалыч чувствовал, что она стоит на границе возможного сегодня, чувствовал ее необычность. Поэтому он и не торопился. Если этот двигатель погорит, ему будет его жаль, хотя он чувствовал по многим мелким признакам, что на «Марс» он, конечно, не пойдет...

— Вот как ты думаешь, Петро, — спрашивает Михалыч, подтягивая ключом соединение одного из клапанов, — есть разумная жизнь на Марсе?

— Это знать, бесспорно, интересно, — глубокомысленно говорит Петька, — но еще интереснее: если есть, то лучше или хуже, чем у нас?

20

После обеда на испытательном стенде, где должны запустить ТДУ Редькина и Маевского, стало оживленно и празднично. Пришли Кудесник и Широус. Кудесник, хоть и начальник, ни во что не вмешивается, считая, что хозяйничать сейчас ему глупо.

Все готово. Михалыч включил сирену. Два протяжных воя: в бойс входа нет.

— Бах просил позвонить, — тихо говорит Редькин Маевскому.

— Если просил, надо звонить, — лениво отвечает Юрка.

— Позвони ты, — говорит Игорь.

Маевский звонит, но, оказывается, Бахрушин у Главного.

— Ждать не будем, — говорит Редькин. — И так уже времени много. Насмотрится еще. Давайте начинать.

Вспыхивают лампы, освещающие приборную стенку.

— Юрка, поснимайшь? — спрашивает Игорь.

— Давай. — Маевский берет в руку маленькую дюревянную ручку, похожую на ручку от детской скалки, с маленькой кнопкой на конце. От ручки тянется провод к фотоаппарату. Нажал кнопку — снимок. Дело, впрочем, не простое: нажимать чуть раньше, установка не вышла на режим, стрелки шевелятся, снимок смазанный. Задержишься — прогнать зря установку, не успевшь все отснять.

Петька Сокол лезет в шкафчик с красным крестом на дверце, достает пук заты, раздает всем по щепотке. Затыкают уши. Потом Петька, Михалыч и Юрка надевают шлемы и пристегивают ларингофоны. Маевскому шлем очень к лицу. Он похож на знаменитого аса. Игорь шлем не надевает, просто заты-

кает уши ватой. Он знает, что ларингофоны — «для колорита»: они давным-давно испорчены. Поэтому команды надо отдавать руками. Команду на запуск он дает еще в тишине. А дальше все и без команд знает, что надо делать. Если вдруг потребуются остановить установку, он поднимет над головой скрепленные руки. Вот и все. Только уши наденешь этим шлемом...

Все расходится по местам. Кудесник и Шишов как гости — к приборной стенке. Шишов думает о том, что всякое может случиться. Вдруг ТДУ действительно поставят на «Марс», и тогда очень важно, не запорет ли она систему стабилизации, над которой ему пришлось попотеть, не водит ли ее вправо-влево и еще бог знает как и куда. Он смотрит на циферблаты динамометров подвески. Кудесник знает, что тревоги Шишова — это «тревоги второго порядка». Важна титал Господи! Если бы их тяга была хоть немного больше, чем у Егорова! Ведь расходы компонентов у них меньше. Тогда все. Тогда победа. Тогда Егоров погорел.

Редькин стоит у пульта, Маевский поодаль, ближе к фотоаппарату. Михалыч — за главным пультом. Петька в углу, у другого щита, присматривает за насосами.

— Сигналь, Михалыч, — тихо говорит Игорь.

Три надсадных, за душу берущих вопля сирены предупреждают: сейчас запуск. Игорь облизал губы. Юрка оглянулся на Игоря. Борис и Сергей не отрывают глаз от приборной стенки.

— Пуск, — громко, но совсем спокойно говорит Редькин.

Все услышали тихий сухой щелчок — это открылись главные клапаны, и в тот же миг налетел страшный, нарастающий с каждым мгновением грохот. Звук этот трудно описать. Он не имеет ничего общего с ревом турбореактивных самолетов. Там рев. Он совершенно не похож на яростные, с присмислом удары гигантских молотов. Там удары. Это и не разламывающийся на разные тона раскат фугасного взрыва и не гром иольской грозы. Нашего акустического словаря не хватает. Это просто Звук, ровное, немощной силы ликующее: «А-а-а!».

Разом, словно в испуге, прыгнули стрелки приборной стенки. Игорь увидел в окошко, как, накаляя докрасна края люка в полу бокса, росла голубоватая, прозрачная, ярко освещающая все вокруг колонна раскаленных газов. Он не смотрел сейчас на приборы, весь отдавшись этой незабываемой, ни с чем не сравнимой, всегда глубоко волнующей его картине укрошенного металлом непрекращающегося взрыва — так работает ракетный двигатель. Не видя секундомера, он знал: надо останавливать — и поднял скрепленные руки. Бесцветное пламя втянулось в сопло. Свист, потом шипение, потом тишина. Только услышав Звук, понимаешь, какой бывает тишина.

Кудесник радостно обернулся.

— Братцы! Ведь, ей-богу, неплохо! А ну, повторим...

Повторили.

И еще раз повторили.

— Перекур пять минут! — скомандовал Маевский, растягивая шлем.

— Подожди, давай еще, — возразил Редькин, — с медленной остановкой.

— Перекурим и попробуем, — сказал Михалыч. — Времени еще только три часа.

На стенде курить нельзя. Все вышли. Остался только Кудесник с Редькиным.

— Игорь! Хорошо! — Удивительно радостная физиономия у Кудесника.

Редькин грызет заусеницы.

— Еще, еще надо... Боря! А как работает! А?! Хотя на мотоцикл ставь! Курить уши, сукины дети!

— Ладно, я пойду, может, уже шеф вернулся...

— Скажи им там... Нашли время курить!

На весеннем солнышке у входа на стэнд, сядя вокруг врытой в землю железной бочки с окурками, курят Юрка, Петька и Михалыч. Юрка — «Новость», Петька — «Ароматные», Михалыч — «Прибой».

— Читал я в «Комсомолке», — говорит Михалыч, ни к кому не обращаясь, — в Англии научились прямо из травы молоко гнать. Без посредства коровы. Молоко как молоко, запах только немного...

— Бесспокойно, — возможная вещь, — подтверждает Петька. — А что такого? — И смотрит на Маевского. Тот молчит, думает о своем. О том, что отсекается, надо было прогнать отдельно на всех режимах, поглядеть, как сработают магниты. Ну да теперь что ж об этом думать? Поздно. И он стал думать о том, что надо не забыть попросить у Никиты из самонадцатой лаборатории магнитофонные ленты с «новью Имой Сумаки» и переписать.

Вот вышел Кудесник. Щурится на солнце.

— А где Сергей?

— Пошел в лабораторию, — отвечает Маевский.

— Я тоже пойду... Давайте, Михалыч, запустим еще пару-тройку раз с мягким остановом...

— Сейчас сделаем, — отвечает Михалыч, не давняясь с места и не глядя на Борiska. Его немного обижают слова Кудесника: будто он сам не знает, что надо делать.

Кудесник уходит. Его фигура на прямой асфальтовой дорожке видна еще долго. Он идет быстро, размахисто. Потом вдруг начинает скакать через лужи, как козел. Весна! Солнце! Запустился ТДУ! И вообще все отлично! Михалыч видит это, чуть улыбается и говорит категорически:

— Пошли.

21

И снова стэнд. Все снова стоят по местам.

— Пуск, — снова громко и спокойно говорит Редькин, и снова все заливает Звук.

Правая рука Игоря ската в кулак, большой палец оттопырен и смотрит вниз. В древнем Риме зрители этим жестом призывали гладиаторов добить поверженного врага. Тут — это знак постепенного торможения. Палец изверху — постепенного разгона. Михалыч видит палец и медленно срывает штурвалчик на пульте. Звук плавно меняет тон. И вдруг прерывается с захлебывающимся посвистом.

— Насосы стоп! — кричит Михалыч Петьке прежде, чем Редькин и Маевский успевают сообразить, что произошло. Руки Петьки молниями ударяют в кнопки пульта.

— Все стоп, — уже спокойно говорит Михалыч и оборачивается к Редькину. — Отсекатель. Какой, не знаю.

— Пошли посмотрим, — говорит Игорь.

— Все вырубил! — спрашивает Михалыч Петьку. — Включи вентиляцию.

Михалыч, Игорь и Юрка склоняются над хитросплетенными трубопроводами.

— Вот он, — говорит Юрка и тычет пальцем. — Наверное, магнит вытягивает иглу рынком.

— Я плавно регулировал, — говорит Михалыч.



Игорь лезет рукой туда, куда показывал Масский, и тянет что-то двумя пальцами.

— Горячая, зараза! Так и есть. Ты плавно регулировал, и магнит тянет плавно, а у иглы тугой свободный ход, и она идет рывком... Давайте еще попробуем, я ее покачал, вроде теперь ничего...

Они выходят из бокса, и все повторяется. Только теперь Михалыч может уже не кричать Петько. Петько аниматор, весь подобрался, как кот у мышиной норы.

Двигатель снова захлебывается.

У Игоря бешено злой вид. Едва отключили коммуникации, он влетел в бокс и, шепча ругательства, опять что-то тянет, обжигая руки, скалясь и гримасничая.

— Опять она? — спрашивает Маевский за его спиной. Он сохраняет завидное хладнокровие.

— А то кто ж? — огрызается Редькин.

— Придется разобрать отсекабель...

Игорь что-то яростно дергает к себе — от себя, к себе — от себя...

— Еще раз попробуем, последний раз, — говорит он.

И снова все на местах.

— Пуск.

И снова Редькин жестом римлянина тормозит двигатель. Палец нетерпеливо тычет: вниз, вниз, вниз! Михалыч, уже не глядя на палец, вращает осторожно, словно штурвальный хрупастый и он боится его отколоть. И опять звук срывается в клочковатый по-свист.

— Сволочь! — кричит Игорь и рывком кидается к двери бокса.

— Куда?

Но крик Михалыча обрывает короткий, глухой, будто далекий взрыв.

Руки Петьки на кнопках. Красивое лицо Маевского в шлеме. Он обернулся от приборной стенки и так застыл, судорожно сжав рукоятку с кнопкой.

Из приоткрытой Игорем тяжелой двери в бокс стелется по полу голубоватый дымок. Михалыч бросается в бокс и очень быстро вновь появляется в двери, держа под мышку обвисшее, неживое тело Редькина. Его мокрая, липкая от крови голова свесилась вниз и чуть в сторону.

— Помоги, — хрипло говорит Михалыч Маевскому.

А Маевский все не знает, куда давать ручку с кнопкой, беспомощно оглядывается по сторонам, непонятно спокойный и медлительный. Наконец он вешает шнур на фотоаппарат, подходит, очень осторожно берет и поднимает ноги Игоря.

— Ничего, ничего, — шепотом говорит Михалыч, — об дверь его чутко...

22

У дверей стенда, там, где совсем недавно курили, маленькая толпа окружила тупоносый санитарный автобус. Двое в белых халатах выносят из дверей носилки. Белая, вся в чистых бинтах голова Игоря. Почерневшее лицо. Перед дверцами

автобуса санитары чуть замешкались. Борис Кудесник подходит к самым носилкам, берет руку Редькина. Секунду они молча смотрят друг на друга очень серьезно. Потом Игорь подмигивает Борису. Подмигивает, как только может весело. Весело изо всех сил.

23

Подмигивающий кот над столом Редькина. Пять инженеров сидят на своих местах. Просто сидят, не читают, не пишут, не двигают движками линейек. Сидят прямые, спокойные, все опаленные взрывом там, в боксе. И у всех какие-то неживые руки, в неживых, странных позах.

За окном уже сумерки.

Вдруг резко зазвонил телефон. Борис Кудесник сидит неподвижно, будто не слышит. А может быть, и не слышит. Шишов взял трубку.

— Да... А, простите, кто его спрашивает?

Сергей прикрывает рукой трубку и говорит, обращаясь ко всем:

— Это из дому... Как же им сказать?

Нина быстро закрыла лицо руками, ткнулась в стол.

24

Ночь. Бахрушкин медленно выходит из проходной, идет к «Волге». И вдруг останавливается, увидев мотоцикл Редькина. Пустая площадка, только «Волга» и мотоцикл. Железная глазастая зверюга с детенышем. Бахрушкин долго стоит и смотрит на мотоцикл. Одна мысль: «Неужели он умрет?»

25

Ночь. За столом под абажуром перед большой чашкой чая, неподвижно глядя куда-то вдаль, сидит Главный Конструктор.

«Редькин, — думает он. — Какой же он, этот Редькин?.. Никан не могу вспомнить его лицо... Фамилию помню. Редькин, который у Бахрушкина делает мягкую ТДУ. Хорошо помню... А вот лицо... Очень трудно... Очень надо запоминать лица... Я обязан помнить тысячи лиц... Редькин... Редькин... Говорят, увлекся и забыл обо всем... Но где-то, в главном, он прав... Что стоит те, которые не увлекаться... Увлеченность должна быть постоянным состоянием человека... Редькин, Редькин, никак я тебя, дружище, не вспомню...»

Вошла жена.

— Пей чай, Степа. Совсем остыл... И ложись, уже поздно.

«Надо заехать к нему», — думает Степан Трофимович. И сейчас ему кажется, что он съездит, завтра же съездит в больницу, выберет время и съездит...

Он не съездил: утром он улетел в Москву.

26

Прошло два месяца.

Вечер. Пустынная набережная. Вдалеке две маленькие фигурки. Погромыхивая бортами, летят грузовики. А легкие машины — сами по себе. И даже как-то не верится, что в них — люди. Сидят, смотрят по сторонам, видят эти две маленькие фигурки у гранитного парапета. Слепые, деловитые легкие машины, вроде бы живущие своей, не связанной с людьми жизнью.

Андрей и Нина идут по набережной. Там всегда мало народа. Андрей в штатском. Серый костюм, модный такой, «пикжонский», с разрезами по бокам пиджак.

— А вот еще, — весело говорит Андрей. — Вспомнил. Американец, француз, англичанин, русский и еврей летят в самолете...

— Раздолин, что с тобой? — перебивает Нина.

— А что?

— Вот я и спрашиваю: что?

— Ничего...

— Почему ты сегодня все скользишь из рук, похотываешь... Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось.

— Это неправда. Но ты можешь не говорить. Только не надо вот так...

Андрей молчит. Идут дальше, вроде бы как и шли, а уже не так: произошло еле уловимое смещение фигурок на пустынной набережной.

— Слушай, — говорит Андрей. Он останавливается, берет ее за плечи. — Хорошо. Я скажу. Ну кому же я еще могу сказать?.. Нина, это очень важно. Сегодня было решение: полетит Воронцов и я.

— А Толя? — рассеянно спрашивает Нина.

— Толя — дублер Воронцова.

— Ну как же так? Бахрушкин говорил, что вероятнее всего Агарнов и Воронцов...

— Я сам не знаю, как... Я очень хотел... Я очень счастлива, Нинка...

— Раздолин... Ты летишь на Марс? А как же я?

— Как ты? Но ведь я же прилечу.

Она обняла его крепко и, замигнувшись, прижалась головой к его груди.

— Я глупая, Раздолин... Да-да, все верно, все верно... Веди же ты прилетишь...

— Нинка, послушай, — быстрым шепотом говорит Андрей, — я вчера еще ничего не знал... И вот вчера я не спал долго и все думал... Я мальчишкой жил в Гурзуфе одно лето... Помню море и скалы в зеленых водорослях... И ночью луну, очень большую... Мы поедем туда, Нинка, когда я вернусь... Я хочу просыпаться рано-рано и гладить тебя по голове, когда ты спишь. А потом мы побежим на море... Ты будешь такая сонная, растрепанная... Потом будем пить молоко и молчать... А вечером, когда луна, мы уйдем в черную тень деревьев, и я буду тебя целовать и говорить самые ласковые слова, какие знаю... Но все это должно быть после Марса, понимаешь... Я думал вчера, что если я не полечу, так, наверное, не будет... Понимаешь...

— Так будет, так обязательно будет... Какое сегодня число?

— Двадцать второе июня.

— Уже скоро. Я буду ждать тебя. Ты даже не знаешь, как я буду ждать тебя, Раздолин!

Две маленькие фигурки стоят, прижавшись друг к другу на большой пустой набережной. Только машины снуют взад-вперед по своим машинным делам, и плавать они хотели на людей.

27

И вот настал день их отлета на космодром.

Они вылетели поздно вечером. Самолет долго вырывается на старт, и Нина смотрела, как за иллюминатором медленно проплывали цветные фонарики у края бетонированной дорожки. Потом самолет остановился. Взрвели двигатели, он задрожал, возбужденный предстоящим бегом. Он стоял еще несколько секунд, словно глубоко вздыхая перед трудным делом, которое ему предстоит. Потом побегал быстрее, быстрее, вздрагивая на стыках бетонных плит. Потом Нина почувствовала, что он перестал вздрагивать: они уже летели.

В самолете человек двадцать. Нина сидела со своими ребятами, но впереди, одна. «Он придет через неделю», — думала Нина, — и, конечно, ему будет не до меня... А потом... Потом еще шесть месяцев. Целых шесть месяцев я не увижу его... Он спрашивал: «Не забудешь?» Глупый мальчишка... Господи, какой он глупый, мой мальчишка...»

За Никой, уткнувшись в журнал, сидел Маевский, решал кроссворд. Рядом Ширшов с английской книжкой в руках и словарем на коленях. Он заглянул в словарь и тронул локоть Юрки.

— Смюти, «сredits», по-английски — это кредит, честь, вера, уважение, влияние. Неплохо, а?

Маевский посмотрел на него невидящими глазами. Такой взгляд бывает у людей, когда они на ощупь ищут что-нибудь в карманах и не могут найти.

— Вот дьявол! Острова в Эгейском море, пять букв, кончается на «ос».

Сергей призадумался, потом сказал уверенно: — Там все острова на пять букв и у всех на конце «ос»: Родос, Милос, Самос, Парос...

— А есть такой — Парос?

— Вроде бы должен быть.

Юрка мгновенно отключился, нырнул в кроссворд, зашептал беззвучно губами.

Через проход от них — Борис Кудесник и Виктор Бойко. Кудесник откинул спинку кресла и закрыл глаза. Виктор задумчивый. Впрочем, он всегда задумчивый. Смотрит в иллюминатор. Там просто темно, ни огонька.

— Боря, — тихо спрашивает Виктор, — кто твой любимый лозт?

— Пушкин, — отвечает Кудесник, не открывая глаз. — Тебе это не кажется примитивным?

— Чужа, — ласково говорит Виктор.

Кудесник тихо, почти шепотом вдруг начинает читать стихи:

Я نویام для меня желаннем томим:
Желая славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен вечною,

чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою моллою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту
разлученья.

— Ты понимаешь, это Пушкин писал. Пушкин! — Он помолчал и добавил: — Вот за это я его и люблю: за правду. Самое глазное в поэзии — правда.

— И не только в поэзии, — сказал Виктор.

— Да, не только...

— Ложь накапливается в человеке, как ртуть, — отвернувшись к иллюминатору, сказал Виктор. — Ртуть ничем из человека не достанешь, не залечить... Так и ложь... Можно, конечно, скрыть ложь ложью... Как и скрыть ртуть в своем теле, улыбаться... Но, если доза большая, это приводит к смерти... Да, ты хорошо сказал: главное — правда... Что такое коммунизм? Наверное, уничтожение всякой лжи...

Кудесник открыл глаза.

— Этого мало, Витя. По-моему, Наполеон говорил, что есть две силы, способные двигать людьми, — личная выгода и страх. Для меня коммунизм — в уничтожении этих двух сил. А ложь — уже потом. Ложь — это первая производная от страха. Подлость — вторая производная...

— Когда мы прилетаем? — обернулась Нина.

— В четыре утра, — сказал Кудесник.

28

Скоро рассвет. И все предметы в комнате являются из темноты, начав светиться, словно изнутри, чуть приметным, мягким светом. Это даже не свет, а воспоминание о свете. Наступает редкое время, которого не бывает вечером: время призрачной темноты. Свет уже незримо проник в нее и разрушает, растворяет сумерки...

Окно расслахнуто настежь, и легкий ветерок чуть трогает тонкую занавеску, за которой, топя по железу карниза, стонут толбухи. Они воркуют с какой-то фальшивой страстью, напоминающей стоны человека, который притворяется, будто ему действительно тяжело.

Воронцов лежит в постели на спине, закинув одну руку за голову, а другой обняв жену. Вера как-то уютно ткнулась носом ему в шею.

— Ты вернешься в декабре, — говорит Вера. — Будет уже холодно, кругом снег...

— ...и мы поедем в лес кататься на лыжах, — добавляет Николай.

— Который год мы все собираемся...

— Даю слово: в этом году мы обязательно поедем... Только мне надо купить новые ботинки... Купи-ка ты мне ботинки, а?

— Коля, ну до лыж ли тебе будет?

— А почему не до лыж?

Вера приподняла голову и взглянула на Воронцова.

— Хорошенькое дело: прилетел человек с Марса и уехал кататься на лыжах!

— Именно так. А почему человек, слетавший на Марс, не имеет права покататься на лыжах? — Воронцов покосился на Веру.

— Коля, ты у меня самый наивный человек на свете, но я тебя люблю, — шепотом говорит Вера и снова уютно так прижимается к Николаю.

Они лежат тихо, слушая надрывные стонания голубей.

— Знаешь, что мы забыли сделать? — говорит Николай.

— Что?

— У нас там есть магнитофон. Надо было записать птичьи голоса. Я слышал такую пластинку: пение разных птиц. Вот ее надо было переписать на пленку и взять с собой...



— Марсианам заводить? — сонно спрашивает Вера.
— А что? И марсианам... Вот я все думаю: в космос всегда будет нелегко летать... потому что ни на каком корабле нельзя взять с собой все: ветер, дождь, птиц, речку, людей, которые идут по улице... В космос может улететь очень большой корабль, но человеку нужна вся Земля, понимаешь?

— Угу...

— Ты спишь?

— Не...

— Вот мы слетаем на Марс, а за нами полетят другие, десятки, сотни ракет... Там построят сначала станцию, как на Луне, потом вырастут целые города... Люди будут жить, родятся ребятки — первые настоящие марсиане... Представляешь, в графе «Место рождения» они будут писать: Марс. И это никого не удивит. И все-таки Марс не будет для них родиной. Не будет хотя бы потому, что там нельзя прожить утром босиком по росе... Ты спишь?

— Не...

— Ну, спи! Уже светает.

Они лежат, прижавшись друг к другу, и лица их тоже чуть-чуть светятся.

Засыпая, Воронцов думал о том, что завтра Роман Кузьмич обязательно заметит, что он не спал в эту ночь. Но ведь это последняя ночь дома, должен же он понять...

выпил чаю. Он не по-домашнему застегнутый, подобранный, и, хотя сидит он спокойно, мать видит, что он может встать каждую секунду. Встать и уйти. Вчера он сказал ей: «Мама, я уезжаю». «Надолго!» — спросила она, хотя знала, что не это главное. Главное, что он вообще уезжает, что наступил час его и ее испытания. Но она спросила: «Надолго?» «Да. На полгода», — ответил он.

С необыкновенной интуицией, данной только матерям, она догадывалась о том, что ждет ее сына. Давно она догадывалась. А потом она увидела у него фотографию Димы... ну, того самого, который летал на Луну. На ней черными чернилами было написано: «Андрюшка! Я еще буду тебе завидовать! Ведь твоя дорога — обязательно и дальше и трудней...» Она прочитала эти слова и поняла, что не ошиблась...

— Я ватрушку твою любимую испекла... — говорит она.

— Спасибо.

— Ты поездом или самолетом?

— Самолетом.

— Ну вот и съешь в самолете... Ты напиши мне, Андрюша, хоть открыточку... Все ли благополучно... Он улыбнулся и встал.

— Мама, все будет благополучно. А открыточку я напишу.

Она подошла к нему, такая маленькая, старенькая, и он обнял ее за плечи.

— Не надо, мама...

— А я ничего, я ничего, — говорила она, быстро перебирая пальцами края фартучка, моргая, улыбаясь и глотая слезы. Потом, совладав с собой, спросила: — Андрюша, сыночек, ты на Луну летишь? Я никому не скажу... На Луну?

— Нет, мама, не на Луну. Еще дальше...

— О господи!..

— Ну, мне пора.

— Давай присядем перед дорогой...

И они присели к столу. Андрей смотрел на нее и думал: «Совсем недавно я уезжал за город в пионерский лагерь... Она испекла мне ватрушку, и мы тоже присели перед дорогой... 55 километров от города. А теперь я уезжаю на Марс. 55 миллионов километров от Земли...»

Он встал первым и, нагнувшись, крепко поцеловал ее. Еще и еще.

Она проводила его до дверей квартиры и стояла

29

Мать Раздолина, сухонькая опрятная старушка в темном ситцевом платице и залатанном — видно, любимом — фартучке, взволнована, но показать это не хочет.

Они сидят на кухне. Андрей поел перед дорогой,

на площадке, глядя, как он спускается по лестнице. Андрей обернулся:

— Мамочка, иди.

— Андрюша, ты там уж поосторожнее... Береги себя...

— Хорошо. Ты иди.

Но она стояла еще долго, уже не видя его, но слыша его шаги, пока звонок, как выстрел, не ударил внизу дверь подъезда.

30

Недвижно повисло над степью в бесцветном небе солнце. Жарко. Ракета стоит на стартовой площадке, и от нагретого металла ракеты и монтажной башни, окружающей ее, подобно строительным лесам, поднимается мирный, ломающий линии крыш ангаров ореол горячего воздуха. Поодаль от ангаров, ближе к стартовой площадке, ровным строем стали гигантские автомобили, цистерны и специальные машины-фуруны с аппаратурой, подстанциями, компрессорами, коммутаторами связи и еще неизвестно с чем, без чего никак не обойтись. От автомобилей тянутся к монтажной башне провода. На разных ее этажах, на самом верху, где под защитным колпаком укреплен межпланетный корабль «Марс», и внизу, у огромных сопел двигателей первой ступени, — люди. Здесь, на стартовой, их немного, человек двадцать. И все они заняты одним очень важным делом: последней проверкой машины перед стартом.

У одного из люков в корпусе ракеты — Виктор Бойко и Сергей Шишов.

— Обещали Баху к двум часам все кончить, а уже три, — говорит Виктор, взглянув на часы.

Жарко, и Сергей в сверном расположении духа. — Только дураки обещают, — ворчило отвечает он, — а умные не обещают, а делают... Нинка зашлись...

— При чем тут Нинка?

— А разве я говорю, что она «при чем»? Что-то у них там не контактирует, — Сергей кивает вверх.

Сергей Шишов принадлежал к той породе людей, которые работают тем лучше, чем лучше это у них получается. Кудесника неудачи подстегивали. У Маевского вызвали недоумения. Шишов повергал в уныние и лишал уверенности в себе. Бахушкин понял это и никогда не критиковал Сергея: понимал, что будет только хуже. Как всякий мнительный человек, Шишов болезненно реагировал на все, что о нем говорят. И даже самая малая, мимолетом брошенная все равно кому — Эс Те или механиком на стенде — похвала удасятерала его силы. Тут уж он «разбавился в лепешку». У него появилась бульдожья хватка в работе, злая, остренькая, расчетливая. Его движения становились безукоризненно точны. Так же точно и четко он думал. Именно так он работал вчера после того, как пришел Бахушкин, посмотрел его записки и сказал весело: «Серезжа! А вы молодец!» Так он работал и сегодня, пока не оказалось, что во второй ступени что-то барахлит. Шишов не знал, что именно, но это уже злило его и мешало работать. Он нервничал. Он часто смотрел на часы. Он ловил себя на том, что прислушивается к голосам наверху.

А наверху, выше этажом, — Борис Кудесник и Юрий Маевский. Перед ними аккуратные ящики приборов, весело перемигивающиеся разноцветными глазками.

— Нина, давай еще раз, — говорит Борис в микрофон. — Внимание!

Кудесник нажимает кнопку. Голос Нины из пластмассовой коробочки-репродуктора:

— Тридцать пять сотых.

Она сидит в кабине межпланетного корабля в кресле Раздолына. С тех пор, как мы впервые увидели эту кабину, тут многое изменилось. Главное — осталось только два кресла. Стало немного теснее. Мягкие пенопластовые стены уже не белые, а приятного зеленого оттенка. Приборы остались те же. Совсем светло: иллюминаторы горят от солнечных лучей, как прожекторы. Солнечный зайчик дрожит на кнопках пульта. Нина подкручивает зажим шарового шарнира, на котором у одного из иллюминаторов закреплен киноаппарат, и зайчик успокоился, перестал дрожать.

Голос Кудесника:

— Давай повторим...

— Девяй, — говорит Нина и смотрит на экран мильного прибора, похожего на осциллограф.

— Внимание! — говорит голос Кудесника.

На экранчике горбик взметнулась светло-зеленая яркая линия и медленно поплыла в сторону.

— Тридцать пять и пять... Можно считать тридцать шесть сотых, — говорит Нина.

— Хорошо. Я сейчас поднимусь, — отзывается голос Кудесника.

31

Вечер. В кабине космонавтов включен свет. В одном кресле — Нина, в другом — Борис.

Голос Маевского:

— Внимание!

Снова с быстротой змеи прыгнула, выгнувшись, светящаяся линия и поплыла...

Кудесник и Нина молчат.

— Ну что? — спрашивает голос Маевского.

Кудесник отрыват взгляд от экранчика и говорит микрофону:

— Юра, быстро прозвесь все контакты и сопротивления на клапанах: 12-2, 13-2, 17-2 и 18-2. Проследи, прощупай пальцем все провода к этим клапанам, начиная от главных запорных первой ступени...

— Но Егоров уже смотрел, — говорит голос Маевского из репродуктора.

— Посмотри еще раз. Только быстро.

Юрка Маевский делает все точно. Проверит контакты и сопротивления проверит. И прощупает провода. Он, наверное, уже начал это делать. Юрка Маевский знает, что ничего там не обнаружит. И он, Кудесник, тоже знает. Егоров смотрел и ничего не нашел. И они не найдут. Но Юрка все проверит: «А вдруг!» Именно Юрка проверит лучше всех: педантично и неторопливо. У него ясная и холодная голова. Даже сейчас холодная и ясная. Он понимает, что сейчас здесь, на стартовой, решается задача со многими неизвестными. И он решает одно уравнение за другим, срывает с неизвестных маски. Одну за другой. Он, Кудесник, знает, что Юрка ничего не надо объяснять, ему все ясно. Все так же ясно, как ему самому. И он не делает сейчас лучше, чем сделает Юрка. Замечательно, что есть Юрка!

— Ну, как там? — спрашивает Кудесник.

Репродуктор молчит.

Кудесник отодвигает микрофон, обращается к Нине.

— Хочешь вафли?

— Хочу.

Борис протягивает начатую пачку. Нина берет, но не ест.

— Боря, в чем же дело? Почему такое запаздывание?

Борис молчит. Потом говорит:

— Иди послы. Мы справимся. Тебе надо отдохнуть.

— Ты же знаешь, что я не пойду,— просто говорит Нина.

Борис опять молчит, потом вдруг его словно прорвало:

— В огромной отличной машине есть какая-то за-
раза, микроб, который гадит!! И мы, как идиоты, не
можем эту падаля отыскать!!

— Не ругайся,— устало говорит Нина.— Пом-
нишь, как советовал Игорь: «Никому не рассказы-
вай о своих горестях: друзей это опечалит, вра-
гов — развеселит...»

Борис улыбается, пододвигает микрофон.

— Ну, как там?

— Все в порядке,— глухо отвечает голос Мае-
вского.

— Если и дальше все будет в таком порядке, мне
лучше спускаться отсюда без лифта, вниз головой,—
с улыбкой говорит Кудесник.

— Когда надумаешь, сообщи. Я позову Баха. Пусть
посмотрит, на что способен наш простой советский
инженер! — Голос у Маевского совсем другой. Весе-
лый голос.

32

Ночь. Ярко освещенная прожекторами стартовая
площадка.

Бахрушин и Кудесник внизу, у подножия ра-
кеты.

— Сейчас мы с Маевским проверим, не замыкает
ли на корпус в девятом отсеке,— говорит Ку-
десник,— а Бойко с Ширшовым — изоляцию первой
ступени. Если там все в порядке, снимаем реле на
стабилизаторе частот, посмотрим, может быть, это
оно барахлит. Теперь уж не знаешь, на что и
думать...

— Хорошо, давайте так,— говорит Бахрушин.—
А где Нина?

— Она заснула... Там.— Кудесник ткнул пальцем
в небо.— Вторые сутки, Виктор Борисович.

— Хорошо. Надо найти. Надо найти! — Бахрушин
говорит это уже не Борису, а самому себе...

Маленькая комната. Стол, кровать, три стула. Бах-
рушин за столом склонился над огромной электри-
ческой схемой.

В углу схемы синее штампа «Совершенно сек-
ретно».

Бахрушин разглядывает схему, что-то аккуратно
помечает в блокноте, по пунктам: 1), 2), 3)... Вдруг
замирает в радостном оцепенении, как охотник, за-
видевший зверя. Но тут же бросает карандаш. Зверь
оказался гнилым пнем.

И снова берет карандаш, снова разглядывает
схему...

33

Над стелью занимается утро. Стартовая площадка.
На разных этажах огромной монтажной башни —
фигуры людей. Человек двадцать. Все то же,
словно и не прошли еще одни сутки.

— Внимание! — говорит Кудесник в микрофон.

— Тридцать шесть сотых,— отвечает голос Нины.

34

Главный Конструктор был крут и не всегда спра-
ведлив. Но Бахрушин понимал: другим быть на
его месте трудно, если не невозможно. Он дав-
но знал Главного. Задолго до того, как он стал
Главным. Когда-то, молодыми авиационными ин-
женерами, они начинали вместе. Потом их пути разо-
шлись на многие годы. Это были очень трудные го-
ды для Степана. Он дрался за ракету. Дрался с на-
чальством и коллегами, с высокопоставленными чи-
новниками в наркоматах, дрался с теми артиллерий-
скими генералами, которые ни о чем, кроме стволь-
ных орудий, и слышать не хотели. Однажды он рас-
сказывал, как один из них кричал ему в лицо: «Иди-
те на игрушечную фабрику! Там ваше место! А нам
эти фейерверки не нужны!»

Сейчас, когда Степан победил, Бахрушин часто ду-
мал о той огромной вере, стойкости, мужестве, ве-
ликом оптимизме коммуниста, которые нужны были,
чтобы победить. Очень не просто и не легко до-
лось все, что было теперь у Главного: опытные за-
воды, конструкторские бюро, полигоны, ракетодо-
ромы, звезды Героев, странная бесфамильная слава...
Теперь он Главный, он командует огромной армией,
много лет находящейся в бесперерывном и напря-
женном наступлении. Бахрушин знает, как Степан
умеет командовать, как умеет он заставить
людей работать. Люди, проданные делу, и не чу-
ствовали, что их «заставляют». Но немало было и
таких, которые чувствовали. Очень хорошо чу-
ствовали...

Бахрушин уважал Степана за прямооту и принци-
пальность. Главный нигде и никогда не «финтил»,
не поддакивал. Он очень редко и как-то вроде бы
неохотно ругался, но умел с удивительной быстротой
найти в минуты гнева самое злое и меткое сло-
во. Человек дергался от этих слов, будто на него
брызгали кипятком. Это не скоро забывалось. Может
быть, он и не ругался именно потому, что любая
брань безлична и скоро забывается. А он хотел,
чтобы люди не забывали о своих проступках. Не за-
бывали, чтобы не повторять их.

Главный не боялся доверять людям, потому что
знал, что люди дорожат его доверием. Нельзя ска-
зать, что он не прощал ошибок, как нельзя сказать,
что он их прощал. Наказание измерялось, как ни
странно, не последствием того или иного промаха,
а причинами, вызвавшими его. Бахрушин твердо знал,
что сейчас, вот в эти трудные минуты, Главного не
столько беспокоит то, что произошло в ракете, сколь-
ко, почему это произошло.

С ним могли работать только честные люди. Он
чувал «ловкачье» (так он называл самый ненавист-
ный для себя сорт людей), как кот чуует мышей.
Впрочем, и «ловкачи» чували его, как мыши kota.
Главный привык отвечать за слова свои и дела и
такого же ясного, полного и короткого ответа тре-

бывал от других. Более всего ценил он людей, знающих до тонкостей свое дело. И в то же время не любил тех, кто старался демонстрировать перед ним свою осведомленность: часто детали вопроса его не интересовали. Вернее, он не мог себе позволить интересоваться деталями. Кто-то хорошо сказал однажды, что Главный работает «в режиме да — нет».

Он был добрым. Да, Бахрушин знает, что он был добрым человеком, но он никогда не был мягким. Никогда не просил «по-хорошему». Он требовал. Требовал не только потому, что был вправе требовать, но и потому, что считал просьбы категории человеческих взаимоотношений, недопустимой в своей работе.

И вот сейчас, когда Бахрушин шел по солнцепеку к белому зданию штаба, он ясно представлял себе будущий разговор с Главным. Кричать он не будет. Он вообще почти никогда не кричит на ракетодроме. Умный человек, он понимает, что криком тут ничего не добьешься. Железо есть железо: субстанция неодушевленная. Подстегивать людей можно до определенного предела, потом все уже идет во вред: люди нервничают, и железо торжествует. Все, что можно было сделать, Бахрушин сделал. И Главный это знает. Разговор будет короткий, «в режиме да — нет».

35

Кабинет Главного на ракетодроме. Он очень похож на его маленький городской кабинет. Такой же белый телефонный аппарат с гербом СССР на диске, такой же лунный глобус. Быстро крутит резиновыми ушами, поводит влево-вправо остроконечной головкой вентилятора-поддувала.

Главный, в простой трикотажной тенниске, в мятых легких брюках и дырчатых сандалиях, укасо какой-то нездешний, дочный, сидит за столом над бумагами, медленно прихлебывая из запотелого стакана ледяную минеральную воду. Когда входит Бахрушин, Главный отодвигает стакан и чуть привстает для рукопожатия.

— Садитесь, Виктор Борисович.

Бахрушин сел.

— Что нового?

— Ничего.

— Итак, запаздывание команды на включение второстепенных три десятых секунды. Так?

— Больше. Тридцать пять — тридцать шесть сотых.

— Так... Может быть, где-нибудь разрядка на корпус?

— Возможно.

— Проверить можно?

— Можно. Но все проверить трудно.

— Знаю, что трудно.

— Два дня люди работают... Вернее, двое суток...

— Да, я знаю... Хотите нарзану? Холодный...

— Спасибо, не хочу.

Главный отвернулся, помолчал. Потом искоса, как-то подозрительно взглянув на Бахрушина, сказал:

— У меня предложение: давайте сменим машину.

— Не успеем.

— Надо успеть. До старта почти сорок часов. Москвичи и Яхонтов вам помогут. Емельянов берет на себя всю транспортировку. Говорит: не задержит.

Бахрушин молчит. Он знает: сменить машину, убрать одну ракету и поставить другую за такой срок — это почти подвиг. Впрочем, почему «почти»? Это подвиг. А люди очень устали.

— Мы все-таки узнаем, откуда берутся эти тридцать пять сотых,— вдруг lagi говорит Главный.— Подниму протоколы всех испытаний. Под суд отдам!

— Может быть, люди не виноваты.

— Тем более надо узнать!

Помолчали.

— На этой,— Главный кивнул в окно,— можно прокопаться еще недолго... Давайте менять, Виктор Борисович.

Бахрушин понимает, он отлично понимает, что Главный прав. От этого, конечно, не легче, но Главный прав. И он говорит:

— Ясно, Степан Трофимович.

И встает.

— Вот теперь я выпью вашего нарзана,— говорит он со своей удивительно обаятельной улыбкой, очень просто, как умеет это делать один Бахрушин.

Крошечные пузырьки в стакане лопаются, и нарзан приятно тек шипит.

Бахрушин пьет маленькими глотками, потому что холодно зубам.

36

Темная звездная ночь, последняя ночь перед стартом.

На скамейке у белого домика, окруженного тоненькими, хиленькими тополями, сидит Роман Кузьмич, главный «космический» доктор. Его не сразу и заметишь. Только когда наливается вдруг красным светом папиросный пепел, видно, что кто-то сидит на скамейке. Тихо. Пилят кузнечики. Слышно, как едет по шоссе машина. Сюда едет. Побегал по придорожным столбам молочный свет фар. Метров тридцать не доезжая до домика, машина остановилась. Фары погасли, и стало еще темнее, чем было. И еще громче грянули кузнечики. Хлопнула дверца. Темная фигура, спотыкаясь, двинулась от шоссе на огонек папиросы.

— Осторожно, там кирпичи,— заговорщищим шепотом говорит Роман Кузьмич.— Кто это?

— Это я,— отвечает фигура.

— Степан Трофимович? Добрый вечер!

— Здравствуйте, Роман Кузьмич!

Главный Конструктор садится на скамейку рядом с Романом Кузьмичом. Молчат. Доктор понимает, зачем приехал Главный, а Главный знает, что доктор понимает. Вот они и молчат. Тихо. Пилят кузнечики, но от этой тишины становится еще более глубокой.

— Хотите папиросу? — спрашивает доктор.

— Спасибо, не хочу... Спят?

— Спят, как ангелы.

— Удирительные ребята...

— Нормальные, здоровые ребята.

— Нет, ну что вы,— мягко, но уверенно протестует Степан Трофимович,— замечательные, необыкновенно замечательные ребята!

— Вы прогрессивный отец.— Улыбки доктора в темноте не видно, но по голосу можно понять, что он улыбается.— Чехов, кажется, сказал, что все, чего не могут или не хотят делать старики, считается предосудительным. Хорошо, а? Мы с вами не можем лететь на Марс, но не считаем это предосудительным. Выходит, и я прогрессивный отец.

— А если бы завтра предстояло лететь вам, вы смогли бы уснуть сегодня? — задумчиво спросил Степан Трофимович.

— Думаю, что уснул бы

— А я бы, наверное, не уснул...
— Скажите, Степан Трофимович, только абсолютно серьезно: вам никогда не хотелось слетать самому?

Главный Конструктор ответил не сразу. Вспыхнула, высветив губы и ноздри доктора, палпироза и снова пригласил, словно кто-то передвинул рычажок реостата у маленького красного фонарика...

— Хотелось... всю жизнь хотелось... — сказал Степан Трофимович. — Ну, я пойду, а то мы еще разбудим их своими разговорами...

Доктор угадал в темноте протянутую ему руку.

Да, ложитесь. Уже второй час.

Споткнувшись раза два о невидимые кирпичи, Степан Трофимович дошел до машины. Доктор слышал, как хлопнула дверь и Главный сказал шоферу:

— На стартовую.

37

Стартовая площадка светится в ночи издали, как гигантский волшебный кристалл, идеальные грани которого рождены белыми росчерками проекторов. Ракета, упрятанная в конструкцию монтажной башни, блестит в их лучах. Это уже другая ракета. Но отличить ее на глаз, разумеется, нельзя. А вокруг нее на разных этажах башни — фигурки людей. Все те же человек двадцать, не больше. Больше просто не нужно, только будут мешать. Сейчас от этих двадцати все и зависит.

Главный стоит в черной тени огромного автомобиля-листерны и смотрит, как работают люди у ракеты. И ему нравится, как они работают: нет лихорадки, нет крика, суеты, всего того ненавистного ему ложного энтузиазма, который с настоящим энтузиазмом не имеет ничего общего, потому что рождается не от вдохновения, а от нервной спешки и страха. Такой азальный энтузиазм ничего, кроме брака (он убеждался в этом не раз), в конце концов не дает. Здесь была ровная работа с четким внутренним ритмом.

Главный стоит уже долго, не выдавая своего присутствия, именно потому, что боится нарушить этот ритм. Люди сами знают, что надо делать, и делают. Сейчас он наблюдатель, полководец на поле боя, когда полки его пошли в тактик. Возможно, постав еще немного, он бы так и уехал незамеченным, если бы не молодой парень-монтажник, налетевший на него с ручной тележкой, груженной двумя газовыми баллонами.

— Ну ... твою мать... — без злобы, с грустной обидой начал парень и осекся, узнав Главного. — Простите, Степан Трофимович, не разглядел...

«Теперь надо уйти так, чтобы все знали, что я ушел», — подумал Степан Трофимович. И он сказал: — Позовите Кудесника.

Парень, счастливый тем, что так легко выкрутился из столь щекотливого положения, птицей взлетел на площадку лифта.

Через минуту Кудесник в грязной линялой ковабойке, весь какой-то скандально неопрятный, стоял перед Главным. «Зачем он меня зовет? — думал Борис. — Ругать не за что, хвалить рано. Да хвалить и не зовут. Значит, или Главный хочет что-то переделать (это самое ужасное, лучше пусть ругает), или узнать, как идет дела».

— Что еще осталось проверить? — спросил Главный, не глядя на Кудесника.

— Каналы главного гироскопа, сигнализацию отключения ступеней в кабине, реле терморегулировки, ну и там уже мелочи...

— Мелочей в этой машине я не знаю, — перебил его Главный.

Борис промолчал.

— К шести утра вы должны все кончить. У вас еще, — он взглянул на часы, — три часа сорок девять минут.

— Постараемся успеть, Степан Трофимович...

— Вы должны кончить.

— Мы кончим.

— Хорошо. Я буду у себя. Если потребуется, сразу звоните.

У машины Главный обернулся и увидел, как кабину лифта с Кудесником медленно ползла вверх, к вершинам ракеты. Он вдруг, впервые за последние три дня, когда началась вся эта нелепая карусель с запаздыванием команд на включение второй ступени, испытал чувство какого-то уверенного покоя. Теперь, после разговора с Кудесником, он знал, что все будет хорошо. И от этой уверенности Степан Трофимович как-то сразу ослаб. «Надо лечь... Хотя на два часа, — думал он, садясь в машину. — Что же делать с этим парнем, с Кудесником? Ведь он сделает. Сделает! Орден ему. Сам напишу, если Бахрушин не представит...»

И когда машина тронулась, он еще раз оглянулся на сияющий кристалл стартовой площадки, внутри которого спрятана была вся его жизнь: ракета и люди, которым он верил и которых любил.

38

В семь часов утра к стартовой площадке подошел маленький автобус. Из него вышли космонавты, четыре человека в оранжевых скафандрах, неуклюжие, похожие на водолазов. Поворачивают не голову, а весь корпус сразу. Воронцов сосредоточенно спокойный. Раздолзин, напротив, какой-то даже несколько рассеянный, улыбается. За ними дублеры — Агарков и Киселев. Они отошли в сторону, понимая, что они тут «для порядка», «по традиции»: с самого 1961 года, с гагаринского полета, не было еще случая, чтобы полетел дублер.

На стартовой площадке две группы людей. В первой — те, кто работал на машине. Во второй — официально провожающие. Их немного: председатель Государственной комиссии, грузин, солидный, в дорогом, не очень хорошо сшитом светлом костюме, Главный Конструктор (он не переезжал, такой же «дачный»), молчаливый, насупленный Теоретик и еще человек пять-шесть начальников основных подразделений и служб. Они стояли, тихо переговариваясь между собой, пока космонавты подошли прощаться с первой группой.

Монтажник, тот, который наскочил ночью на Главного, весь в масле, не хочет пачкать Воронцова, сует локоть. Воронцов сердится, жмет руку.

— Перед моей свадьбой побреешь? — спрашивает Раздолзин у Маевского.

— Мы тебе Нинку не отдадим, понял? Ну, счастливого...

Обнялись.

Кудесник говорит Воронцову:

— Коля, есть просьба... Привези камушек. Маленький. Не мне — Игорю. Я был у него перед отлетом сюда. Он сказал: «Если не привезет, в следу-

ющий раз подложу ему в корабль пластиковую бомбу».

Воронцов улыбается.
— Обязательно. Привет ему... Что у тебя с глазами?..

— Да ничего. Просто устал...
— Спасибо, Борька.— Воронцов обнимает, целует Кудесника.— За все спасибо.

— Да брось... Ну, счастливого...
Виктор Бойко нулемо как-то обнимает Раздолина.
— Что передать марсианам? — спрашивает Андрей.

— Да, собственно, ничего, — совершенно серьезно отсечает Виктор. — Кланяться...
Ширшов говорит Воронцову:

— Скорее бы вы, черти, улетали. Если бы ты знал, как мы нам надоели...
Целуются.

Андрей подходит к Нине, смотрит на нее.
— Ну, Нинка, я пошел...
— Ну иди...

Но он не уходит, все смотрит и смотрит на нее. Она поднимается на цыпочки и торопливо, но крепко целует его в губы. И еще. Поднятое наверх прозрачное забрало шлема мешает целоваться.

— Ну иди, — повторяет Нина...
Потом они подходят к группе официально провожающих. И там тоже по очереди все обнимают и целуют их. Степан Трофимович совсем тихо говорит Николаю:

— Счастливого тебе, сынок... Буду ждать...
Они неуклюже поднимаются к лифту. Перед тем, как войти в кабину, поворачиваются, машут руками. И им машут в ответ.

— Да свидания! — ни с того, ни с сего громко кричит вдруг председатель Государственной комиссии.

И в этот миг солидность его исчезает. И все видят, что председатель Государственной комиссии — тоже просто человек и взволнован, как и они. И все смеются...

Глаза чуть прищуренные, отчаянно дерзкие... Может быть, один из тех, на портрете, — Борькин прадед? Злое, заострившееся от усталости лицо Сергея Ширшова. Он в наушниках сидит перед микрофоном. Отвечает резко, точно, односложно:

— Да. Полностью. Да. Также полностью. Да. На красной черте...

Нина рядом. И у нее наушники. Но она молчит. Изредка пробегает глазами по шкалам приборов. Виктор знает, что делать этого уже не нужно: всё в порядке. Сейчас дадут тридцатиминутную готовность, и они уйдут со стартовой. Они уже могут уйти. Но они не уйдут, пока не дадут тридцатиминутную...

40

Перед входом на стартовую площадку — доска с белыми пластмассовыми номерами «Приход — уход». Как раз тут такая доска очень нужна: сразу видно, сколько людей на стартовой. Сейчас там, где «Приход», висит номерков десять: уже объявили тридцатиминутную готовность, бахрушинские ребята ушли.

Семь номерков — ушли прибористы.
Шесть — ушел Москвин.
Пять — ушел Яхонтов.
Четыре — ушел Бахрушин.
Потом Главный и председатель Государственной комиссии.

Два номерка, белых пластмассовых номерка, висят там, где написано «Приход»: двое еще остаются на стартовой. Двое не уйдут отсюда. Двое отсюда улетят.

41

Командный пункт. У стереотрубы — Главный. В трубу не смотрит.

— Даем пятнадцатиминутную готовность, — говорит кто-то за его спиной.

А из репродуктора, стоящего против Главного, вдруг с хрипотцой громкий голос Раздолина:

— Степан Трофимович, а почему музыку у нас вырубил?

— Сейчас организуем вам фокстрот, — с нарочитой веселостью в голосе говорит Главный. Он не отдает никаких распоряжений, но через несколько секунд включает музыку. «Марш энтузиастов».

— А песню можно? — снова спрашивает Раздолин.

— Можно и песню, — говорит Главный.

И вдруг из репродуктора:

Живет моя красота в высоком тереме.
А в тот высокий терем нет хода никому...

Степан Трофимович улыбается.

42

Над главным пультом командного пункта загорается световое табло: «Готовность пять минут». Оперативный дежурный у микрофона проверяет готовность:

— Первый сектор!

39

Солнце уже высоко поднялось над степью, и тень ракеты, такая длинная утром, когда Виктор Бойко работал на самом верху, у приборного отсека последней ступени, смалась, подползла к стартовому столу. Виктор чувствовал, что устал он очень. Хотелось даже не спать — просто лечь, закрыть глаза. Но усталость была совсем иная, чем вчера. Тревожное, бьющее по нервам нетерпение сменилось спокойной добротой. Наверное, больше всего в жизни любил он это состояние спокойной доброты, которая овладевала им всегда, когда он много, с пользой работал и был уверен в сделанном. Всё, всё в порядке. Космонавты в корабле. И у них всё в порядке. Везде всё в порядке. Уже объявили часовую готовность. «Остался самый длинный в жизни Андрей и Николая час», — подумал Виктор. Он оглянулся, отыскивая глазами ребят.

Юрка Маевский. Он спокоен. Он всегда верит цифрам, графикам, приборам, и сейчас он спокоен. А вот Борис еще весь в возбуждении этой ночи, весь в движении. Виктор вспомнил вдруг галерею 1812 года в ленинградском Эрмитаже, портреты легендарных соратников Кутузова. Решительный, быстрый разворот красивой кудрявой головы, отворачивающий на сторону высокий, золотом шитый воротник.

— Готов! — отвечает репродуктор.
 — Второй сектор!
 — Готов!
 — Третий сектор!
 — Готов!
 — Группа центра!
 — Готов!
 — Группа Р-1?
 — Готов!
 — Группа Р-2?
 — Готов!
 — А-8 и А-9?
 — Готов!
 — Тихий океан?
 — Готов! Готов! Готов! — один и тот же ответ разными голосами.

— Минутная готовность! — громко и торжественно говорит оперативный дежурный.

Секундная стрелка, большая троненькая, как шлага, бежит к красной черте. Громко, все заглушая: «Так! Так! Так!» Ближе, ближе...

— Пуск, — громкий, но спокойный, как тогда у Игоря на стелде, голос. Главный Конструктор припал к окулярам стереотрубы.

Рука нажимает кнопку. Все услышали короткий сухой щелчок, и тут же вступили двигатели...

Глаза людей. Они видят ракету. Глаза Главного, Бахрушина, Агаркова, Нины, инженеров, механикомонтажников. Одни глаза. Пылливые, веселые, изумленные, торжествующие, широко открытые, прищуренные. Очень разные глаза. И в этих глазах — неуловимо общее, объединяющее в этот миг этих разных людей: ожидание Победы.

Все выше и выше смотрят люди, все выше...

Нет, это уже не гром старта, хор ликующих человеческих голосов поднимается над планетой, все выше и выше...

Сталевары у огненного фонтана конвертора. Стараясь перекричать сталь, на ухо одному из них что-то радостно кричит другой. И они смеются.

Девчонка, облепленная платишком на ветру, стремглав бежит по стерне к еле видимым в хлебном море черным точкам комбайнов. Девчонка, похожая на древнюю Нике, богиню Победы.

Человек в белом халате резко повернул голову от окуляра микроскопа. Совсем без улыбки, наоборот — рассерженно.

Стюардесса — вся улыбка — входит в салон воздушного лайнера и говорит...

Маленькая стойка в маленьком европейском баре. Маленький приемник. И все разом поставили стаканы, отложили газеты и повернулись к нему.

Огромный город. Там еще ночь. Поцелуй влюбленных в тени деревьев. И вдруг желтые буквы вспыхнули, засветили поцелуй, побежали по гигантскому экрану: New Russian Space ship! Major Vorontsov and captain Razdolin are flying to Mars!!!

Матрос будит спящего товарища. Очень сильно качает, и когда он говорит, ему приходится держаться обеими руками...

Слепые дети в школе. Они сидят, не шевелясь, вытянув шейки в трудном, напряженном внимании, и ловят слова старенькой учительницы.

Вера Воронцова. Она смеется, она плачет, она совсем не знает, как ей быть перед голубыми объективами репортерских аппаратов.

Квартира Раздольных. Двери настежь. Полная комната людей. Женщины обнимают мать Андрея. Она плачет.

С огромной ротации, подталкивая друг друга, идут первые сигнальные экземпляры «Правды». Мастер берет газету, разворачивает. Два больших портрета: Воронцов и Раздольный. Серым водопадом бежит бесконечная бумажная лента...

И тишина.

В дверях одной из комнат общежития на ракетодроме стоят четверо: Кудесник, Ширшов, Маевский, Бойко. Они оглядывают свою комнату с каким-то удивлением, словно и не видели ее никогда. Они вошли все сразу, плотной группой, страшные, грязные, очень счастливые и бесконечно, нечеловечески усталые. И остановились посередине комнаты, вроде бы и не зная, что им теперь делать. Кудесник подходит к столу и, запрокинувшись, пьет прямо из графина, дергая небритым кадыком.

— Она, небось, уже тухлая, — предупреждает Маевский.

— Все, — отдышавшись, говорит Борис и начинает стаскивать через голову ковбойку. Виктор Бойко достает сигарету, мнет пальцами. Потом бросает на стол, идет к кровати...

На стене их комнаты висит маленький пластмассовый репродуктор. Из него позывные, звонкие, чистые, как капли. И голос:

— Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза...

Они не слышат. Они спят. Ширшов, не открывая глаз, пошарил рукой по стене, нашел шнур репродуктора и дернул.

Апрель 1962 — февраль 1963.



МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Поэма

ОТ АВТОРА



Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как — если бы это было возможно — страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей беззащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но все же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью и реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии — Стопани была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой темной линией глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером, сподвижником Ленина по работе в «Искре» и съездам РСДРП. Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, сидят у меня меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший свой секрет родовой бедности, изменив своим обещаниям, простил секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие и милому миру мой дышание и зрение, представляются мне прекрасными — не больше и не меньше прекрасным, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нем непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черной черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль — их поливать
водой!
Мой стебелек, желающий прибавки,
вытягивать магнитную звездой —
потопорониться, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетия вспомним в этих
играх.

Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный
Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
— Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта
поправит?

Я б разминуться предпочла с тобой,
но все ж ты мне в какой-то мере
прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизни сгинет вместе

с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:

— Чур, чур!

Ты кто?

Рассейся, слабая туманность!

Я говорю:

— Я — нечто.

Я — чуть-чуть,
грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый
возглас
опустошит гортань, чтоб пригубить,
о Жизнь, твой острый, бьющий
в ноздри воздух?

Возражение Игрека:

— Не дождешься. Шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловещий,
худобой вороны вещей,
крылья вскинувшей крестом,
жабой, в тине разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной ее бледнейшей
на кладбище роковом.

(Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,
в чем торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком
и высоким животом
той прекрасной первой встречной
женщины добросердечной,
полной тайны бескомечной,
и красавицы притом.)

— Помолчи. Я — вечный Игрек.
Безразсудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то — есть, а нет — тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха!

2

Каков мерзавец! Пусть он держит
речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
простак недобрый, так и не прознав-
ший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрач-
ных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей проступки и забавы.

Поникини удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй
сомнения!
Не он, а я, я — искустель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тани!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей дожизни неживой,
смертельного я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:
«Не смей! Не знай!» — и по щекам
с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И все. Привет. Не быть мне ни-ко-
гда.
Но, милая, ты знала, что творила,
когда в окно, в темно, в полночный
сад
ты канула давно, неосторожно.
А он — так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно-
но...

Благословляю в райском том саду
и дерева, и яблоки, и змия,
и ту беду, бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый
след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернется через полтораста лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но боговым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой маль-
чик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он — шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прошусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:

В саду личинка
выжить старается.
Санта-Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала — гения,
вышло — шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умица,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой — невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а-Лю-у-чия,
Санта-а-Люч-ия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любия
неблизкой —
но некогда в российский село —
ура, ура! — шут прибыл итальянский.

(А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику
не снись,
так властен в нем зов твоего соблаз-
на,
так влажен образ твой между ресниц,
что он — о, ужас! — в дальний путь
собрался.

Не отпуская его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержи-
мый!

В конце концов он доведет меня,
что я роюсь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
себя так долго в сетях нелюдиных,
мужчин и женщин столькох утруж-
дать
рождением предков, мне необходи-
мых,

и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли? Все игра орла и решки, —
и вот непоправимо, невопад,
в чужой земле, под звуки чуждой
речи.

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я — тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать
не мной,
а кем-то, был мне грустный пропуск
выдан, —
все ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний
выдох.

Там и останусь, где душе моей
судили жизнь, безжизненным истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном ми-
ре.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десп-
тый.)

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

4

Одновременно нужен знат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж — пускай он по задворкам
ходит,
старые берет, или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шел, черно кося зрачком,
большой ноздрей принохиваясь к ды-
му.

Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
Он сыт ничем, живет ни где, но ря-
дом —
его меньшой сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет желтым задом.

Сийй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, глядя продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Вaley будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи со-
рваться,
и усеченной полумглой зрчка
все ж выразить открытый взор
славяинства.

Вольное изложение татарской песни:

Мне скакать, мне в степи озиаться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азнатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен,
Как тесно облекли шаровары
золотые мечети колен!

Быстрогу этих глаз, чуть косивших,
я, как птиц, целовала на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле — пахарь, а в воинстве — воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых — прав навеки, кто
волен.
среди умерших — бессмертен, кто
прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в ее ширине!
И ликует, и свищет зыбиво,
и трясет бородой шурале.

5

Меж тем шарманщик странно пора-
жен
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжка, она несла к венцу
лаба узенького детскую прищавость,
которая ей так была к лицу
и за когорую ей все прощалось.

А далее все шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной переkreщенз,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударая в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

6

О, старина, начало той семьи,
две барышни, чья маленькая
повесть,
печальная, осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.
То ль итальянца темная печаль,
то ль этой жизни мертвенная
скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не укутать.

Как матери влюбленная корысть
над вашей красотой колдовала!
Шарманкой деда вас не укорить;
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и
смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего
ты озарил свою вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой пры-
жок,
словно в Помпею слабую — Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупы да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

Справка выдана в том...
О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.

Ранит голову грохот огромный.
И в тон
там, внизу, голосят голоски клавишин.

О, сестра, дай мне льда. Уж пробил и
пропел
час полуночи. Льдом заострилась
вода.
Остудить моей памяти черный
пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает
мой мозг,
острый остров сиротства замкнув
навсегда.
О, Наташа, сестра, мне бы лед так
помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный
мотор,
вкруг себя он вращает людей,
города.

Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевая, лай собак, а я так
молода.

Океан Ледовитый, пошли мне свой
дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен
был стои
в малом горле.

Но ныне беда —
позабита.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетия. Резкий крен осноз.
Волеенье. Что там? Выстрел.
Мешанина.

Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мешанина.

Предчувствие серьезной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечеряющего века —

мерцают лбом симбирский гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведет себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и протранна.

Он говорит:
— Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творенья.

Все для него: ему назначен мед
земных растений, труд ему угоден.
Но все ж он бездыханен, слеп и
мертв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колапак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою горя
железного мундира воротника,
сомкнувшийся вкруг пушкинского
города.

Но все же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Сстесняет грудь его
дух, укрепленный мускулом свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

— Честь имею представиться:
Его Царского Величества
Замечательный Жандарм.
Я, признаться, встречу с вами
предвкушал и ожидал.

Послужили б Государю —
заслужили б орден-крест.
Не хотели. Осуждаю.
Вот вам ордер на арест.

Были вы еще недавно —
ах, Стопани Александр.
Фамилия-то какая муарапа.
Стоп! Вы ныне арестант.

Всем, кто бунты разжигал,
всем студентам —
(о стыде-то не подумая),
жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал,—
Его Царского Величества
Замечательный Жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью поवादок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов,—
вольнудумцев неприятных,
а поэтов и подавно,—
я их всех тюрьмой порадою
и засов задвинну сам.
В чем клянусь верностью Государю-
императору
и здоровьем милых дам.

О, распушенность природы!
Дети в ней — и те пророки,
ее яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, разжигала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа.
Леонардо и Джордано,
все кричит, имеет цвет.
Слава богу, власть жандарма
все, что есть, сведет на нет.

(Примечание автора:

Между прочим, тот жандарм ждал награды, хлеб жевал, жил неважно, кончил плохо, не заметила эпоха, как подохо он.

Никто на похороны ни копеечки не дал.)

— Знают люди, знают дети, что я есть живой жандарм. А тебе на этом свете появиться я не дам.

Как не дам идти дождям,
как не дам, чтобы в народе
помышляли о свободе,
как не дам стоять садам
в бело-розовом восходе.
Это я тебе говорю —
Его Царского Величества
Замечательный Жандарм.

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор, не повредит его закаменелость — земле лететь, вершить глубокий вздох и соблюдать свою закономерность.

Как надобно ведет себя земля
уже в пределах нового столетия,
и в май маенок бабушка моя
несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит,
и плечики на что идут войною?
Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» «Да, тягостно
виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а все же ждет чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Россинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкала

я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг — мороз ей нов и чужд.
Сугробы белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чужь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полшике проглянет италянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и
вкривь.
Ей все нужней, все тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребенка.

9

Грядь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьёт по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рев сильных широт
отворенной гортани!
Как в красных и предельных
объемах шаров —
тесно воздуху в трех этих
гласных.

Грянь же, грянь, новорожденный
той Свободы! Навеки и разом — ^{крик}
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.

Подари отпущение мук
тем, что билась о стены и гибла,—
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звезд ощущает затылком.

Приблизжай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предпрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже все ближе, все верней расчет, что попаду я в эту повесть, конечно, если появиться в ней мне Игрека не помешает происк.

Все непременно чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолет,
предссыла небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть не впопад и
странно,

ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие
пространства,

та, над которой в горлышко, как в
горн,
дует апрель, насытивший
скворечник, —
нацеленный в меня, прости ей,
гром! —
она мне мать, и перемен скорейших
ей предстят удача и печаль.

А ты, о Жизнь, мой мальчик,
непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азнат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдале, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и
подарок.

Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я — скоро. Но покуда нет меня.
Я — где-то там, в преддверии
природы.
Вот-вот окликнут, разрешат — и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приемной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом — и предстать в ее проеме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щекотка.
Никто не знает, что я — вот она,
темно, смешно. Алчки! В носу
щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.
Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на
удивленье!

Тануюсь, твнуюсь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим,
косоротым —
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок
актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волнением среди тех кулис,
в потемках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
еще не сбился в легких вздох
голодный.

Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галеркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
Как перейду, превозмогая боль,
от немоты к началу монолога?)

Сумею ли прожить игру — шутя,
всерьез, до слез, навеки, не лукавя,
как дождь идет, как зверь или дитя,
играют с миром, молоко лакая.

Как стеклодуз, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла
простого,
играть и знать, что жизнь твоя
проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что краснотую
труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захохотать и ошутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр.
тот бой
меж «да» и «нет», небытием и
бытом,
где человек обязан быть собой
п каждом нерожденном и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей ее, в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во
мгле
огромный, голый, золотой Ребенок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок своей на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас — дадут звонок к
апрелю.

Реплика доброжелателя:

О, нечто, крошка, пустота,
еще не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспряженный организм,
закрученный кривой пружиной,
о, образумься, оглянись!
Я — умика, много лет проживший,

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься — что же, в том
все ж есть свое благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной сномотой котят,
столь равнодушных к утопленью.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
все выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там — во тьме пустой,
где нет тебе ни слез, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

(Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно,—
всей музыкой озвучен пульс,
прям позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред
ему прийти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?

Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьет
один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Все наглей, все дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
уже ли приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно, Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелой с тонкою спиной.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О, Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О, Жизнь любимая, пускаяй
потом накажешь всем и смертью,

но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!)

— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь. Да будет поздно.

Зачем ты лопнишься во вход,
откуда нет освобождения?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева века или петра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец! Но, средь всех
затей,
любой наш год — утешен, обнадежен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рея,
захлебом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым острием,
вонзился мой, ожегший губы голод!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу
труба,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравятся, что Жизнь всегда
права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом — воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?

Я не знаю.

И не знаю, я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.

Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.

Написала все это Ахмадулина Белла
Ахатовна.

Год рождения — 1937. Место рожде-
ния — город Москва.





ДЕВОЧКА ЖИЗНЬ

Прошло ровно двадцать лет с тех январских дней 1944 года, когда немцы, осаждавшие Ленинград, были разгромлены и бежали на запад. Осада Ленинграда продолжалась два с половиной года, и за эти два с половиной года жители громадного города перенесли неслыханные страдания. Около миллиона ленинградцев умерли медленной, мучительной смертью от голода. И все-таки город не сдался, выстоял и победил. Во всей истории человечества нет ни одного примера такой небывалой стойкости. Это была победа духа над силой, революции над фашизмом, жизни над смертью.

В память этих трагических и величественных событий мы публикуем новый рассказ Николая Чуковского, одного из участников обороны Ленинграда.

Рисунки П. Пинкисевича.

Я еще чувствовал себя прекрасно, только в глазах иногда рябило. Появлялись огненные зубчатые колеса и красно-золотые геометрические фигуры, которые крутились, дрожали и застилали поле зрения. Потом колеса бледнели, фигуры потухали, и я опять все видел, как прежде. Был и другой симптом: выпадение сознания; вдруг очнусь где-нибудь на лестничной площадке и не могу вспомнить, как сюда попал, куда иду. Некоторые думают, что голод — это желание есть. На самом деле так бывает только вначале, а потом остается лишь ощущение тянущей тоскливой пустоты внутри. К пустоте внутри я уже привык, а про все эти колеса и короткие обмороки мои подчиненные не должны были знать.

В бомбоубежище я спустился тоже только ради своих подчиненных. Я не мог бы заставить их пойти, если бы не пошел сам. Они считали, что если бомба попадет, все равно где находится — на доме, в доме или под домом; и я так считал. Но не ходить в бомбоубежище по тревоге — непорядок. А непорядка я допустить не мог.

В бомбоубежище было тепло и сыро. Электрического тока не давали уже вторые сутки, и подвал озарялся желтым светом керосиновой лампы без стекла. Копоть медленно оседала на лицах, желтый лепесток огня отражался во всех глазах. Когда где-то падала бомба, огонек вздрагивал и в лампе и в глазах. В жестяной радиотарелке тикал

метроном, и это означало, что воздушная тревога продолжается. Я задремал бы под это тиканье на скользких от сырости нарах, если бы не Ангелина Ивановна, которая без конца говорила одно и то же — как она похудела. Действительно, два месяца назад, когда я впервые увидел ее здесь, в подвале, она была полная белокурая женщина, а теперь казалось, что тело ее состоит из пустых мешков. Она повторяла, что все сваливается с нее, и заставляла женщин щупать себя. Она жаловалась, что скоро умрет, и светлые кудряшки тряслись над ее лбом.

Потом она рассказывала, как умер наш дворник. Об этом все уже знали, а я даже видел его, мертвого, сидевшего на деревянной лавке в конторе домоуправления. Ноги его в больших, совсем новых валенках протянуты были к чугунной печурке. Прошлой ночью он зашел туда погреться, заснул и не проснулся.

В бомбоубежище было человек пятьдесят, и все, кроме Ангелины Ивановны, молчали. Всем им нестерпимо было слушать ее плачущую скороговорку, и всем им так же, как мне, некуда было деться от ее причитаний. Я ждал, когда она устанет и замолчит — хотя бы на минуту. И когда эта минута настала и Ангелина Ивановна замолкла, девичий звонкий голос сказал:

— Бомбат не здесь, а за Невой. Что тут сидеть, пойдемте на крышу!

Я поднял глаза и увидел стоявшую возле закрытой железной двери девушку в белом шерстяном платке. Собственно, я увидел только белевший в темноте платок, но мне и этого было достаточно. Я сразу вскочил.

Так как сознание мое по временам потухало, я жил в отрывочном, не совсем связанном мире. В этом мире уже несколько дней существовала девушка в очень белом пушистом платке. Я встречал ее только в полутьме и всегда внезапно: она вдруг обогнала меня где-нибудь во дворе или на лестнице. Я видел лишь платок, покрывавший голову и плечи, и платок этот двигался сквозь мглу легко, летуче. Мне всякий раз хотелось догнать ее и взглянуть ей в лицо, но я не успевал об этом подумать, как платок исчезал за углом или просто растворялся во тьме. Замечта ее теперь в бомбоубежище, я вскочил и шагнул к ней. Но она уже выскользнула за дверь.

Я торопливо оглянулся. Наборщик! Сумароков спал на нарах, раскинув ноги во флотских брюках; одна нога его была искривлена и не сгибалась в колено. Печатник Цветков спал тоже. И я вынырнул из бомбоубежища.

Едва железная дверь захлопнулась за мною, стал слышен дробный стук зениток. Четыре шестизатяжные стены с темными окнами окружали двор. Во дворе было темно, и только квадрат неба высоко вверх озарился мигающими отсветами вспышек. Я озирался, вглядываясь в темноту, стараясь угадать, куда она побежала. Несколько лестничных дверей выходило во двор... И я успел увидеть, как белый платок мелькнул и скрылся за дверью.

Мы бежали по лестнице вверх; она на целый марш опередила меня. Сквозь стук зениток я слышал стук ее каблучков по ступенькам. Платок ее я видел только мгновениями, на поворотах. Вспыхивала озарила окно на лестничной площадке, и по огненному фону окна мелькнул ее темный узкий силуэт. Еще сегодня днем у меня начинала кружиться голова, едва я подымался на несколько ступенек. Но сейчас, догнав ее, я перескакивал через ступени, и мне это ничего не стоило; я чувствовал себя легким, как бы бестелесным. Я бежал так быстро, что на третьем или четвертом этаже почти догнал ее.

— Я знаю, кто вы такой, — сказала она на бегу. — Вы редактор.

— Правильно, — ответил я. — Я редактор. А вы кто?

— Просто девочка.

По голосу, по детской легкости движений я уже и сам понял, что ей лет пятнадцать, не больше.

— А как вас зовут?

— Александра,

— Саша?

— Нет, Ася.

— Как славно!

— Что славно?

— Славно вас зовут — Ася!

Она промолчала, продолжала бежать вверх. Еще один лестничный марш. Не обернувшись, она спросила:

— У вас работает этот хромой мальчик во флотских брюках?

— Да, — сказал я. — Его фамилия — Сумароков. Он очень плох.

— Плох?

— Да. Он скоро умрет.

— Он не умрет, — сказала она. — Я с ним поговорю.

Я рассмеялся.

— Отсоветуете?

— Отсоветую, — сказала она без смеха. — Можно зайти к вам в типографию?

— Конечно.

— А Ангелина Ивановна к вам ходит?

— Ходит.

— Напрасно вы ее пускаете. Она мне всех убивает...

Тут огненные зубчатые колеса завертели у меня перед глазами, и шум крови в ушах стал громким, как шум водопада.

III

Когда я очнулся, я стоял в темноте на площадке, прислонясь плечом к стене.

— Сейчас пройдет, — услышал я рядом ее голос.

Огненные колеса, золотые зубцы и стрелы бледнели, и я уже почти не видел их. Шум в ушах отхлынул, умолк.

— Это пустяки, — сказал я.

Она подошла ближе и взяла меня за руку. Смутно белел платок; я слышал ее дыхание. Рука у нее была маленькая, теплая.

— Нет ли у вас фонарика? — спросила она.

У меня был фонарик, но я редко пользовался им, потому что берет батарею.

— Дайте.

Я сузил фонарик ей в руку. Вместо того, чтобы озарить стены, она озарила меня. Я стоял, жмурясь от яркого света, а она внимательно меня разглядывала с головы до ног.

— Ваш ватник не застегнут, — сказала она наконец.

Действительно, мой ватник был не застегнут, потому что на нем не было ни одной пуговицы. Три месяца назад, в конце августа, когда я пришел пешком в Ленинград из захваченного немцами городка, где я прежде редактировал районную газету, погода стояла еще теплая, и я явился в чем был, без пальто. В Ленинграде мне выдали ватник, но на нем не было пуговиц.

Она потушила фонарик и опустила его мне в карман.

— У меня есть английские булавки, — сказала она.

— Не надо.

— Нет, надо. Только стойте смирно, — прибавила она, не раскрывая рта, и я понял, что одна булавка у нее уже в губах.

Руки ее потянулись к моей шее, к вороту. В это мгновение раздался протяжный рокот обрывшихся бомб, дом качнулся.

Я боялся, что она уколет мне шею, но пальцы ее не дрогнули.

— Это за Невой, — сказала она громко, чтобы перекрыть треск зениток, и застегнула булавку. Второй булавкой она скрепила мой ватник на животе.

— Ну вот, мы пришли, — проговорила она и открыла низенькую дверь.

Я шагнул вслед за ней и увидел небо.

IV

Ничего торжественнее осеннего звездного неба, спокойного, холодного, неподвижного. Но не такое небо увидел я. Торжественности и стройности его была разрушена. Оно дрожало, металось и дергалось, все в грязных подпалинах зарев.

Среди этих мечущихся огней крыша плыла и качалась, как корабль. Шагая по ее гремящему скату, я жадно озирался, стараясь как можно больше разглядеть при свете мгновенных вспышек. Эти вспышки взрывов вели между собой разговор, ошарашивая друг друга через все громадное небо. Вспышки — и зарева пожаров гасли, гасли звезды, и на долю секунд выступали из тьмы крыши, шпиль, мосты, провалы площадей осажденного города. Вспышка гасла — и все опять пропадало во тьме, и оставалось только черное небо в тускло светящихся пятнах.

Пожары окружали город кольцом со всех сторон, но ярче всего пылали на юге и юго-западе — там, казалось, текла золотая река. Это горело Лигово, горела Стрельна. Это была та петля, которая душила нас. Днем она была невидима, хотя мы чувствовали ее каждую минуту. Но ночью она становилась зримой. Я впервые с такой наглядностью видел весь этот медленно стягивавшийся смертельный круг и смотрел, смотрел, задыхаясь от ненависти. Ася стояла за моей спиной, выше на скате. Я вспомнил о ней и обернулся. Прямая, туго затянутая платком, она смотрела вперед, через мою голову. И все мечущиеся огни этого нестройного неба отражались в ее глазах.

— Как им хочется нашей смерти, — сказала она. — А мы должны им назло жить, жить, жить!..

V

Когда я утром вошел в типографию, Сумароков не встал с табуретки.

Я вовсе не требовал от своих типографских, чтобы они вставали, когда я входил, но до сих пор они вставали.

Сумароков сидел на табуретке, протянув ноги во флотских брюках к железной печурке, в которой пылали бумажные обрезки. Одна нога у него была искривлена: из-за ноги его не взяли на военную службу. Еще не так давно он горевал об этом: ему было девятнадцать лет, он вырос в городе моряков и мечтал служить во флоте. Но теперь он забыл о флоте, сделался молчаливым и малоподвижным, и его исхудалое, грязное лицо — он давно уже не умывался — не выражало ничего, кроме постоянного страдания.

— Здравствуйте, — сказал мне Цветков, стоявший, прислонясь к машине.

Цветков был печатник средних лет, не попавший в армию потому, что страдал астмой. На прошлой неделе у него умерла жена.

— Ну как? — спросил я.

— Току нет, — ответил Цветков.

Наша типография состояла из четырех наборных касс и плоской печатной машины, которая приводилась в движение электричеством. Тока не было и третьего дня, и вчера, и весь вчерашний день мы его ждали напрасно. Теперь я понял, что его уже и не будет.

— Что станем делать? — спросил я.

Сумароков ничего не ответил, а Цветков сказал:

— Не знаю.

— Перемени дату в наборе, — приказал я Сумарокову.

Набор номера был готов у нас еще третьего дня вечером и вложен в машину. Я нарочно отдал приказание Сумарокову, чтобы посмотреть, встанет ли он с табуретки. Я боялся, что он не встанет. Но он встал и, хромая, побрел к машине. Его качнуло на ходу. Кажется, ему доставило удовольствие, что я это видел.



Он склонился над набором.

— Здесь был кто-нибудь? — спросил я у Цветкова.

— Соседка, — сказал он.

— Какая?

— Ангелина.

— Интересно, кто раньше помрет — она или я? — сказал Сумароков.

И я понял, о чем они говорили с Ангелиной Ивановой.

Сумароков вяло и долго возился в наборе, хотя нужно было переменить только одну литеру — вчерашнее число на сегодняшнее.

— Ты скоро?

— Сейчас.

У меня не хватило терпения.

— Отойди, — сказал я ему. — Я сам.

Он охотно отошел и снова сел на табуретку. Я переменял литеру и выпрямился. Они оба смотрели, что я буду делать дальше. Тока не было.

Мне показалось, что они безучастны к моему горю, что им все равно, выйдет номер или нет, и я рассердился. А ведь еще так недавно они нравились мне именно тем, что относились к делу с азартом, и мы работали дружно. Я подошел к колесу и стал снимать с него приводной ремень. На лице Сумарокова не отразилось ничего, но по лицу Цветкова я увидел: он понял, что я затеял. Я решил крутить колесо вручную.

— Начнем, — сказал я Цветкову.

Он подошел к машине, снял лист бумаги и положил на вал.

— Сумароков, — сказал я.

Сумароков медленно поднялся с табуретки.

— Покрути колесо немного.

Он посмотрел на меня с удивлением, однако не отказался. Постоял, потом все с тем же удивлением на лице подошел к колесу, взялся обеими руками за ручку и налег на нее.

Он налег на нее всем телом, но колесо не двинулось. Я решил, что он притворился.

— Давай, давай! — кричал я на него.

И вдруг по покрасневшей его щеке я понял, что он напрягает все силы. Мне стало жаль его. По правде сказать, мне давно уже было жаль его, и я сердился на него только от сознания собственной беспомощности.

— Сядь, — сказал я ему и сам подошел к колесу.

Мне случилось крутить колесо плоской машины, и я помнил, что идет оно, в сущности, очень легко. Я надавил на ручку и удивился, что она не двинулась. Тогда я налег на нее всем телом. Ручка медленно поползла, и мимо моего лица стала проходить спица за спицей.

Колесо сделало полный оборот и остановилось. Один отпечатанный лист вяло выполз из машины. Пот выступил у меня на лбу, я жадно глотал воздух. Собрав все силы, я опять надавил на ручку, и она опять поддалась. Когда колесо сделало второй оборот, у меня в глазах замелькали огненные стрелы. Я выпрямился, чтобы перевести дух; стрелы погасли; я встретился глазами с Цветковым.

В его глазах была жалость. Я не люблю, когда меня жалеют, и опять налег на ручку.

Колесо сделало еще один оборот.

Я продолжал давить, ничего не видя, кроме огненных стрел и зубцов. Колесо сделало еще оборот. Я налегал на ручку, и колесо поворачивалось — еще один оборот, еще один... Я работал всем телом, и мне мешал только недостаток воздуха да внезапно возникший шум в ушах, который с каж-

дым мгновением становился все громче. Я ничего не видел, кроме стрел, ничего не слышал, кроме шума. Я чувствовал, что рядом со мной стоит Цветков и кричит мне что-то, но слов его разобрать не мог. И только когда он оторвал меня от колеса и сам взялся за ручку, я понял, что он решил меня сменить.

Я прислонился к стене и глотал воздух. Комната кружилась, я боялся, что сознание уйдет от меня, как уже не раз бывало. Worse этого ничего не могло случиться, тогда всем стало бы ясно, что колесо крутить нельзя. Я пересилил себя, встал на место Цветкова, взял лист и положил его на вал.

Колесо у Цветкова пошло сразу. Лист скользнул по валу и вылез отпечатанный. Еще один лист, еще...

Поднятое вверх небритое лицо Цветкова показало мне слишком белым. Выпученные глаза были устремлены на меня. Он медленно вертел колесо, спицы двигались, и с каждым оборотом лицо его становилось блее. Еще оборот, еще оборот, еще...

Он выпустил ручку и стал валиться на бок. Держа чистый лист в руках, я смотрел, как Цветков падает.

Он сполз с ручки и лег ничком на пол, уткнувшись лицом в половицу. Так он лежал, и спина его от дыхания поднималась и опускалась.

Я пересчитал отпечатанные листы. Их было двадцать два. Двадцать два раза повернули мы с Цветковым колесо. Нам нужно отпечатать не меньше пятисот экземпляров. Каждый лист с двух сторон. Два оборота колеса на каждый экземпляр. Тысяча оборотов!

Тысяча!

Койка Цветкова стояла в углу. Я подошел к ней и лег на нее.

VI

С начала осады Цветков и Сумароков были переведены на казематное положение: это означало, что они не только работали в типографии, но и жили в ней. Цветков спал рядом с машиной, а Сумароков перенес свою койку в соседнюю комнатку, крохотную, как чулан. Еще недавно в этой комнате было чисто и опрятно. Но с октября, когда голод усилился, стала она зарастать пылью, сажей, мусором.

— А это ваша карточка? — услышал я из-за двери тоненький голосок.

— Моя, — ответил голос Сумарокова.

— Когда вы снимались?

— В июле.

— Вот какой вы были!

— Был ничего, — сказал Сумароков не без самодовольства. — Что, похудел? Тут похудеешь...

— Похудели вы не особенно. Вот только лицо стало чернее...

— Это от печки, — хмуро объяснил Сумароков.

Лежа на койке Цветкова, я старался догадаться, с кем это Сумароков там разговаривает. Да ведь это та девочка Ася, с которой я был на крыше!

— Это что за корабли? — спросила она.

И я понял, что они рассматривают тетрадь Сумарокова — заветнейшую его драгоценность. Когда мы начали выпускать здесь нашу многотиражку, Сумароков каждый вечер в свободное время вытаскивал сесю прекрасно переплетенную тетрадь и подолгу с наслаждением возился над нею. В тетрадь были вклеены фотографии — прежде всего сам Сумароков в различных видах, затем военные корабли. О каждом корабле у Сумарокова было множество сведений, бог весть откуда собранных и малодосто-

верных. Вклеивал он в тетрадь и особенно поразившие его кадры разных фильмов и вписывал всякие стихи, вписывал удивительным почерком, каждая буква в завитушках, причем суть была именно в завитушках, а не в стихах.

Больше месяца не видел я в руках Сумарокова этой тетради. Он, казалось, совсем забыл о ней. И я удивился, услышав, как он листает ее и показывает. Они рассматривали фотографии кораблей, и он рассказывал о каждом корабле. Она спрашивала его, и он отвечал обстоятельно, полнотеи и обрадованный ее вниманием.

Потом она вошла в типографию. И я впервые увидел ее — не в темноте, не в призрачном мелькании ночных огней. Неужели это та самая, за таинственным белым платком которой я вчера бежал вверх по лестнице, бежал из мрака в свет и из света в мрак среди ослепительных мгновенных вспышек? Теперь ровно ничего таинственного в ней не было, да и платок не такой уж белый. Крупная для своих лет, прямая. Но на почти детском ее лице уже лежала печать постарения, которую голод накладывал на все женские лица.

Мне стало неловко, что я валяюсь на койке в середине рабочего дня; однако я решил не вставать. Зачем притворяться, раз газета все равно не выходит!

Она кивнула мне, подошла к нашей неподвижной машине и с любезностью ее оглядела. Увидела только что отпечатанные листы и взяла один в руки. — «Боевой буксир», — прочла она громко.

Так называлась наша газета.

— Это что же, газета водников? — спросила она.

— Да, — сказал я.

— «Срочный ремонт судов — залог победы», — прочла она заголовки передовой, которую написал я. — Они сейчас ремонтируют свои суда?

— Да, — сказал я. — Должны ремонтировать.

— А они ремонтируют?

— Как это ни удивительно, ремонтируют.

— Почему удивительно?

— Потому что отремонтировать судно еще труднее, чем выпустить газету.

— Току нет, — проговорил Цветков. — А вертеть вручную — сил нет.

В типографию вошел Сумароков. Больше месяца не видел я его таким. Лицо только что умыто, волосы расчесаны и блестят, ботинки начищены, ватник растегнут, и под ним — матросская тельняшка. Он даже почти не хромал, казалось, он только так, случайно, оступается.

— Никогда не видела, как печатают газеты, — сказала Ася. — Интересно поглядеть.

И взялась за ручку колеса.

Колесо поддалось с трудом, и тонкая кожа у нее на лице покраснела от усилия. Спицы поплыли медленно-медленно.

— Тяжело, — сказал Сумароков. — Дайте же вам помогу.

Он стал рядом с нею и тоже взялся за ручку. Они вдвоем вертели колесо, улыбаясь от удовольствия и натуги.

— А где же бумага? — спросила она. — Как это печатать?

Цветков встал на свое место, лист прокатился по валу и, отпечатанный, выпал.

Она засмеялась.

Еще один лист, еще один...

— Вы устали, — сказал Сумароков с таким видом, словно уж он никак устать не может. — Давайте я один.

Она покачала головой.

— Вдвоем совсем нетрудно, — сказала она. — Чем быстрее вертится колесо, тем легче оно идет. Раскрутим его повою.

Спицы бежали все быстрее и быстрее, и все быстрее и быстрее становились движения Цветкова, вставлявшего чистые листы. И действительно, чем быстрее вертелось колесо, тем меньше нужно было усилий, чтобы вертеть его.

Это было открытие необычайной важности.

— Я сам, — решительно сказал Сумароков, и отпихнул ее от ручки.

Она отступила шага на два, а он, чувствуя, что она глядит на него, с сосредоточенным и важным лицом подталкивал ручку. Теперь он почти даже не нагибался, ручка подлетала к нему, и он ее слегка толкал.

Тогда я встал с койки.

— Какой лист? — спросил я Цветкова.

— Сто девятнадцатый, — сказал Цветков. — Сто двадцатый. Сто двадцать первый.

— Отойди! — крикнул я Сумарокову и поспешно встал на его место, чтобы не дать колесу замедлить ход.

Я небрежно швырял ручку легкими резкими движениями ладоней. Машина тяжело грохотала. Листы вылетали.

— Если бы настоящее питание, мы бы еще не так завертели, — проговорил Сумароков у меня за спиной. — А то, того и гляди, помрем.

— Пока будет выходить газета, не помрем, — сказала Ася.

VII

Но газета скоро перестала выходить. И умер Сумароков. И умерло еще много-много людей. И в нашем шестизатонном промерзлом доме во всех квартирах лежали мертвые, которых некому было похоронить.

Цветкова от меня затребовали в какую-то военную типографию, он ушел со своим чемоданчиком в метельный день, и я больше никогда его не видел. Я остался в типографии один; нельзя же бросить машину, шрифты, бумагу. У меня, разумеется, было начальство, и от начальства я ждал указаний, что делать дальше. Но связаться с начальством по телефону я не мог: телефоны в городе не работали. Да и зачем? Ведь начальство известно и положение типографии и мое. Нужно только немного подождать...

Я теперь жил в комнатенке Сумарокова, лежал на его койке. Там были целы стекла в окне, там тоже стояла жестяная печурка, которую можно было топить старыми экземплярами нашей газеты и досками шкафов. Но установились сильные морозы, и печурка моя мало помогала. Дни и ночи лежал я на койке, в ватнике, в валенках, укрытый двумя одеялами — своим и Сумарокова. Окно закрывал большой лист плотной синей бумаги — для затемнения; по утрам его нужно было снимать, по вечерам укреплять на окне снова. В первые дни я его и снимал и укреплял; но потом мне стало скучно и трудно возиться с ним, я перестал его снимать по утрам, и днем у меня было так же темно, как ночью.

Выходил я только в булочную, за хлебом — раз в два дня. На улице блеск снега ослеплял меня, морозный ветер не давал дышать. Почти не видя-



щий, почти не дышащий, я шел по узкой извилистой тропке между огромными сугробами, дымившимися на ветру. В булочной мне давали промерзлый кубик хлеба — мою порцию на два дня. Многие, получив хлеб, съедали его тут же, в булочной. Но я так не поступал. Я прятал хлеб под ватники, поближе к телу, и шел домой. На обратном пути у меня кружилась голова, все заволакивало туманом; и чувство это не было неприятным. Напротив, в искушении лечь в снег и больше не двигаться было что-то сладкое, заманчивое. Каждый раз по пути я видел мертвых, уже почти занесенных снегом, и участь их не казалась мне страшной. «Нет, все-таки я раньше съем свой хлеб», — говорил я себе и продолжал идти. Возвратясь, я ложился на койку, закрывался с головой двумя одеялами и там, в темноте, отщипывал от хлеба маленькие кусочки и клал в рот. Каждый кусочек я долго держал во рту, прежде чем проглотить. Потом засыпал.

Впрочем, я не знаю, спал ли я; в той тишине, которая меня окружала, трудно было понять, спал я или не спал. Весь город был погружен в мертвую тишину, как на дно моря. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни голосов на улицах; с наступлением зимы воздушные налеты прекратились и замолчали наши зенитки. Немцы, окружив город со всех сторон, не хотели, казалось, тратить на него больше никаких усилий и просто ждали, когда он вымрет и вымерзнет. Ни один звук не долетал до моей комнаты, и в мертвой этой тишине мне постоянно чудилось, что я куда-то проваливаюсь вместе со своей койкой — все глубже, и глубже, и глубже. Весь мир с его светом, людьми, теплом остался где-то бесконечно далеко, наверху, а я все погру-

жаюсь, все опускаюсь, и нет конца этому опусканию, потому что подо мною нет дна.

Иногда сознание прояснялось, и я понимал, что умираю. Тогда я думал, что нужно встать, поискать щепок, разжечь печурку, принести воды. Но мысль о необходимости двигаться казалась такой ужасной, что я думал о смерти без всякого страха, и уже даже ждал ее, и погружался все глубже и глубже.

VIII

И вдруг в этой бездонной, безвыходной глубине я услышал сверху громкий звонкий голос:

— Вы живой, живой! Очнитесь!

Я перестал опускаться. Меня понесло вверх, вверх, вверх, я почувствовал, что одеяло сдернуто с моего лица и что свет кругом. Синий лист был снят с окна, и за расписанным морозными цветами стеклом сверкал день. Ася стояла надо мной и ликующим голосом восклицала:

— Вы живой! Ангелина Ивановна говорила, что в типографии никого нет, что вы лежите мертвый, а я пришла, потрогала — вы живой! Сейчас, сейчас!.. Я сейчас все устрою...

Я смотрел на нее и чувствовал, что улыбаюсь. Ну, конечно, я живой! Она так торжествовала, так радовалась, найдя меня живым, что оказалась мертвым было бы просто стыдно. Я смотрел на нее, улыбался и тоже радовался, что она живая. Она изменилась: те страшные знаки голодного старения еще резко легли на ее детское лицо. Но она двигалась, говорила, радовалась. Мы оба были живы!

— Сейчас, сейчас!..— повторяла она и уже разжигала мою печурку.

Я думал, что в типографии больше нечего жечь, кроме наборных касс, но она, обшарив углы, нашла чулан, куда Сумароков и Цветков когда-то наскладили разных досок, щепок, кусков угля. Печурка затрещала вовсю, и через несколько минут на черной коленчатой трубе выступили красные пятна.

— Надо принести воды,— сказала она, схватила большой медный чайник и выскочила из комнаты.

Едва она вышла, мне стало страшно, что она не вернется. На ногах у нее были валенки, и ходила она бесшумно: звук шагов ее исчез, чуть за ней закрылась дверь. «Вернись, девочка-жизнь!»,— думал я, поджидая ее. «Девочка-жизнь, вернись!» Я знал, что в доме есть всего один кран, из которого еще капала вода,— в подвале, в бомбоубежище. Я представил себе, как она бежит с моим чайником вниз по ступенькам, перебегает через двор, спускается в подвал и там стоит в темноте перед краном. Конечно, надо много времени, чтобы по капле набрать воды в такой большой чайник. И все же почему она не идет? Не случилось ли с ней чего-нибудь? «Вернись, девочка-жизнь!»

И когда я уже почти перестал ждать, девочка-жизнь вернулась.

IX

Увидев, как тяжело этот чайник с водой, как он оттягивает ей руку, я смутился; мне стало стыдно вольются. Она ведь получает ровно столько хлеба, сколько я, и ей ничуть не легче, чем мне. Я скинул с себя оба одеяла, опустил ноги на пол и встал.

— Ну вот, я говорила! Вы можете стоять!

— Конечно, я могу стоять,— сказал я бодро и, чтобы показать ей, как я еще крепок, стал раскачивать ногом доску и швырять щепки в печурку.

Она начала варежки и грела руки над печкой, над чайником. У нее были очень маленькие руки, но пальцы распухли, не разгибались, потрескались, гиоились возле ногтей. Я знал, что это значит,— у меня тоже трескались и гиоились пальцы. На подоконнике она заметила тетрадь с фотографиями— ту, которую ей когда-то показывал Сумароков. Это было бесконечно давно, в другом мире. Сумароков тогда был жив, и мы еще могли вертеть колесо машины... Она раскрыла тетрадь, перелистала.

— Можно мне взять ее себе?

— Конечно.

В комнате становилось все теплее, я расстегнул английский булавки и распахнул свой ватник. Чайник зашел пенку, пар потянул из носика, зазвенела, прыгая, крышка. Ася налила кипятка в две кружки, мы сели на койку, подобрав под себя ноги, и стали пить. Было блаженно жарко, пот выступил на лицах, мы обжигались, отхлебывали кипятком маленькими глотками и поглядывали друг на друга все радостней и дружелюбней. Удивительная близость возникла между нами— близость живого к живому. Она даже с каким-то детским лукавством поглядывала на меня из-за своей горячей кружки: мы молодые, мы хитрецы, мы оба живы!

Она рассказала мне, что хотела пойти в армию и стать снайпером, потому что у нее замечательное зрение. Сидела бы где-нибудь высоко на сосне, немец шевелелся в кустах, она вздвиг— и нет его.

Осенью один знакомый сержант уверял, что ее непременно взяли бы в снайперы.

— Что ж вы не пошли?

— Мама.

Я понял, что живет она с мамой, которую нельзя оставить.

— Мама лежит?

— Третий месяц. Пухнет. Уже вот какая стала. Я знал, что от голода не только худеют, но и пухнут, и больше не стал спрашивать.

— А вы почему не в армии?

— Забракуют,— ответил я.— Мне должны были делать операцию, но война помешала.

— Что ж у вас было?

— Язва двенадцатиперстной кишки.

— Это самая важная кишка в человеке, я знаю.

— Может быть, и не самая важная. Но самая длинная.

— Вот почему вы были такой тощей и желтый, когда я вас в первый раз увидела.

— А когда вы меня увидели в первый раз?

— В сентябре, когда типографию привезли в наш дом. Я вас часто встречала на лестнице. А вы меня не замечали?

— Нет, тогда не заметил.

— Мне очень интересно было, как печатают газету. Я хотела хоть в щелку заглянуть. Я всех типографских в лицо знала— и того хромого мальчика и вас. Вы были худой и желтый, а тогда все еще были толстые. У вас и теперь язва?

— Теперь это все равно.

Я рассказал ей, как я огорчился, когда меня вместе с армией направили редактировать газету. И вот газета перестала выходить.

— Чего ж вы ждете?

— Жду приказа, — ответил я.

— И давно?

Я старался вспомнить, когда ушел Цветков. Сколько дней провел я один на этой койке? Сначала мне казалось, что дней шесть, но потом, когда я стал считать, получилось больше...

— Приказания не будет,— сказала она.

Я сам уже так думал в последние дни, но ее убежденность удивила меня.

— Почему?

— Ваши начальники лежат. Они столько же хлеба получают...

Она была права. Все равны перед голодом.

— Если бы можно было позвонить...— сказал я.— Но позвонить нельзя...

— А вы пойдите.

Тут я рассмеялся.

— Вы знаете, куда мне надо идти? В порт!

— Далеко!

— Я упаду и замерзну.

— Очень может быть,— сказала она спокойно и серьезно.— Это уж от вас зависит.

— Это не зависит от меня,— возразил я.— Я просто знаю, что у меня не хватит силы.

Она внимательно посмотрела на меня из-за кружки и промолчала. Я тоже замолчал. Мне было слишком хорошо от обжигающего губы кипятка, от тепла в комнате, от ее соседства, чтобы спорить, волноваться. Она налила мне еще кружку и вдруг спросила:

— А вы давно не мылись?

Я смущенно старался припомнить, когда я мылся в последний раз. Очень давно. В городе с осени не работала ни одна баня, а раздеваться в холодной типографии было так трудно и неприятно. Я уже много недель не снимал с себя ватника...

— Почти полный чайник горячей воды, — сказала она. — Вот я пойду, а вы мойтесь. Мойтесь, пока комната не остыла...

Она встала, приказав к себе тетрадь Сумарокова.

— А вам уже нужно уйти?

— Там мама, — ответила она мягко, понимая, что мне без нее будет жутко и тоскливо; она вполне сознавала свое душевное превосходство надо мной и обращалась со мной, как с ребенком, хотя я был старше ее вдвое. — Вымоетесь, уснете, а завтра утром пойдете в порт.

Заметив неуверенность в моих глазах, она прибавила:

— Вы дойдете. В человеке гораздо больше силы, чем он думает.

— Откуда вы это знаете? По себе?

— И по себе и по другим. Надо дойти, и вы дойдете.

X

Я дошел.

Едва я вышел за ворота и морозный ветер ударил в меня снежной крупой, мне стало ясно, что дойти нет никакой надежды. Ноги меня не держали; меня качало, как прут на ветру. Лечь в снег и закрыть глаза — вот все, чего мне хотелось. Дойду до угла и лягу. Но, дойдя до угла, я не лег, а побрел дальше, к следующему углу. В конце концов все равно, у какого угла лечь. Так я вышел на мост, перешел через Неву, свернул в длинную улицу и пошел все прямо, прямо, мимо разбитых бомбами домов, мимо домов сгоревших, мимо домов вымороженных. Узкая тропка вела меня между сугробами, где лежали заперощенные снегом трупы тех, кто шел задолго до меня. Я знал, что сам скоро буду лежать вот так, засыпанный, выставив темно-коричневый заledenый кулак из снежной кучи, и это вовсе меня не пугало. Но если я могу пройти еще пять шагов, я их раньше пройду. К сумеркам я прошел всю длинную улицу до конца и дошел. Во мне оказалось больше силы, чем я думал.

Когда я явился, меня не узнали, а когда узнали, удивились: здесь все считали, что я умер. Меня поселили на вмерзшей в лед барже вместе с рабочими, ремонтировавшими суда. Там было тепло; там был даже тусклый электрический свет от собственного маленького движка. Еще месяц назад в деревянном брюхе баржи, между ее испанских ребер жило более ста человек. Но за этот месяц многие умерли, и найти для меня свободную койку было нелегко.

Тут же, в соседнем отсеке, находилась столовая. Над столами висело кумачовое полотно с лозунгом: «Еще питания — а центр анимания». Этот лозунг соничили и вывесили еще осенью, когда верили, что если внимательно следить за расходом продуктов, их хватит для жизни. Инженеры принесли из лабораторий весы необычайной точности и поставили на стойку. Каждый мог проверить на этих весах, что ему выдал 3 грамма сахарного песка, а не 2,99. Не знаю, был в этом толк или не был, но обитатели баржи умирали так же, как обитатели домов. При мне на работу выходило человек сорок; остальные лежали на койках и не могли встать.

Через день я тоже вышел на работу. Ноги не держали меня, но я уже знал, что во мне больше силы, чем я думаю; раз я мог дойти до порта, — значит, я могу работать. Когда-то в ранней молодости я работал подручным слесаря в железнодорожных мастерских; в то время я еще только мечтал стать журналистом. Слесарь я был плохой, но

здесь от меня большой квалификации и не потребовалось. Мы ремонтировали старый транспортник, развороченный осенью авиационной бомбой. Вмерзший в лед борт его возвышался громадной стеной рядом с нашей баржей, и, пожалуй, самым трудным было подняться по трапу на эту стену. Бригада, в которую я попал, пробыла в железных листах отверстия для заклепок, сваривала трубы автономно. Мы, как тени, двигались внутри освещенного на левый бок корабля; вся наша работа была похожа на замедленную съемку. Если нам нужно было поднять или передвинуть что-нибудь, мы наваливались вдесатером и потом долго сидели в полуобмороке.

Всякий раз, когда мы присаживались, нам было ясно, что мы никогда больше не встанем. Но я уже этому не верил. Я говорил себе, что, пока мы будем ремонтировать, мы будем жить. Я говорил, что это фашисты хотят, чтобы мы умерли, и потому нам нельзя умирать. Я знал, что повторяю чужие слова, и помнил, от кого эти слова услышал. И мы встали.

Переселившись на баржу, я спустя некоторое время, кажется, действительно стал немного крепче. Не знаю, чему это приписать; во вторую половину зимы хлеба прибавили, но прибавка эта была так ничтожна, что люди вокруг умирали по-прежнему. Может быть, тому, что в столовой дванды в день выдавали суп — теплую воду с еле приметной мутью. Или тому, что наш врач, веривший в витамины, готовил для нас настой из еловых игл. Не знаю; вернее всего, тому, что я жил с людьми и попал в упряжку; в упряжке всегда легче. Я стал лучше ходить, меньше лежать и не так выбивался из сил, когда поднимался по трапу. Удивительнее всего, что у меня в глазах опять стали по армянам вертеться огненные колеса с зубцами, которые почему-то совсем оставили меня как раз тогда, когда мне было особенно плохо. И еще одно полузабытое свойство вернулось ко мне: я стал очень хотеть есть.

Я теперь так же мучительно и нетерпеливо хотел есть, как в те первые дни, когда я еще только начинал голодать. Съев суп, я теперь был готов лизать языком дно тарелки. Я съедая свой хлеб не маленькими кусочками под одеялом, как раньше, а сразу, в два откуса. Бумага, шпатель, кирпич стали казаться мне съедобными. Это заново проснувшееся острое желание есть привело меня к участию в одном преступлении.

Рабочие нашли на корабле десяток больших жестяных банок с каким-то жидким маслом. Впрочем, об этом масле знали и раньше: особое техническое масло, предназначенное для того, чтобы в нем растворяли какую-то особую краску. Всем было ясно, что оно несъедобно, и его не трогали. Но тут вдруг открыли, что масло это цветом и прозрачностью напоминает подсолнечное. Внезапное возбуждение овладело нами, даже самыми благодушными из нас: голоса стали громче, движения торопливее, глаза блестящие, руки и губы дрожали. Мы глотали масло, спорившая друг с другом в жадности и бесстрашии. Сознание того, что это может кончиться ужасно, у нас было, но мы гнали его от себя, заражая друг друга беспечностью. Мы опьянели от сытой еды; мы шумели, кричали. Навешившись, мы отнесли оставшиеся банки на баржу и накормили наших лежащих товарищей.

В первую же ночь у нас умерло девять человек. Умирали в муках, крича и корчась от боли. Мы

Глядели на них, подавленные страхом, — каждый ждал, что и с ним вот-вот начнется то же самое. Говорили, что масло склеило им кишки. В ближай- шие двое суток умерло еще шестеро, и все это время я терзался страхом, раскаянием, потому что участвовал в пире наравне со всеми и съел не меньше других. Но мой больной кишечник, когда-то не выдерживавший малейшего отклонения от диеты, не склеился. Почему так случилось, не знаю. Это масло не принесло мне ничего дурного, кроме душевного потрясения. Нас теперь на работу выходило человек двадцать пять, и я был в их числе.

XI

Я жил на барже, работал, но об Асе не забывал. Стоило мне опустить веки, и она вставала у меня перед глазами. Она застегнула на мне ватник... Она принесла мне воды... Она заставила меня встать, когда я думал, что уже не встану, заставила меня жить, когда я готов был умереть... В первые недели мне казалось немыслимым пройти весь долгий путь обратно и навестить ее. Но время шло, и меня стало тревожить чувство вины. Я жил в тепле, при электрическом свете, а она осталась в том промерзлом, темном доме... Жива ли она еще? А если жива, так может ли еще ходить? Кто приносит ей хлеб из булочной, воду из подвала, кто топит ей печку? Я обязан навестить ее. Меня останавливало только одно: я не хотел прийти с пустыми руками. Какой будет толк в моем при- ходе, если я не накормлю ее...

Сначала я хотел откладывать хлеб — по кусочку от моего ежедневного ломтя, — засушить эти кусочки и принести ей. Но скоро оставил эту затею. Нужна целая неделя, чтобы из кусочков накопить граммов триста. А за неделю она умрет, если сей- час еще жива. Да и я, если целую неделю буду сидеть на уменьшенном пайке, так ослабею, что не дойду.

Но тут мне повезло: нам выдали по пакету кон- центра, который назывался «Грочневая каша». Из такого пакетика могла выйти целая тарелка каши. Я решил идти, не откладывая. Отпроситься мне было нетрудно: оборудование типографии все еще лежало на моей ответственности, и я должен был приглядеть за ним. Съев свою обеденную тарелку супа и положив концентрат в карман ватника, я отправился в путь.

Та бесконечная зима все еще тянулась. Но дни уже стали заметно длиннее. Однако уже чуть-чуть смеркалось, когда я наконец перешел через мост, свернул сначала за один угол, потом за другой и снова увидел тот дом, те ворота.

Ни одного свежего следа на запорошенной ноч- ной поземкой тропинке к воротам. Из многих окон торчали черные трубы печурок, но ни над одной из них ни дымка. Под аркой ворот меня знакомо прохватил сквозной ветер. Вот и двор. Никого. В узких провалах между сугробами, достигавшими окон первого этажа, ни одного следа. Неужели даже в подвал за водой никто не ходил сегодня? Я открыл своим ключом дверь типографии и вошел. Внутри все было цело, ничего не изменилось; только сквозь дырку в стекле налетело много снежной пыли, которая мягко скопилась по углам. Кристал- лики снега поблескивали на металлических частях машины. Я заглянул в комнату Сумарокова. Там



тоже все по-прежнему: неприбранный моя постель лежала так, как я ее оставил.

Мне здесь больше нечего было делать, я вышел и запер дверь. Теперь я мог бы пойти к Асе, если бы знал, где она живет. Я никогда у нее не был; у меня сложилось смутное представление, что живет она где-то наверху, потому что когда-то она часто пробегала мимо типографии вверх по лестнице. Но там, наверно, столько этажей и квартир!

В нерешительности я вышел во двор, надеясь встретить кого-нибудь и расспросить, если в доме остался хоть один живой человек. На этот раз мне повезло: маленькая сгорбленная старуха, обмотанная множеством платков, вынырнула из-за высокого сугроба и довольно бойко засеменила прямо ко мне.

— Здравствуйте,— сказала она.— Так вы, оказывается, живы. А я считала, что вы еще в декабре умерли.

— Нет, я жив. Здравствуйте.

— Не узнаете? Что, похудела?

По этим словам я узнал ее. Ангелина Ивановна! Если бы она не заговорила, я не узнал бы ни за что. Осенью она была пышной молодой женщиной с круглыми щеками, с громким голосом. Когда она начала худеть, все ее выпуклости постепенно превращались в пустые мешки. Но теперь и пустых мешков не было. Она стала гораздо меньше ростом, и было ясно, что под всеми этими платками нет ничего, кроме костей и сморщенной кожи.

— Все умерли, все!— сказала она, когда я спросил ее, жива ли еще та девочка Ася, которая бегала в белом шерстяном платке.— Все умерли, во всех квартирах.— Она, кажется, торжествовала, что все умерли, потому что это подтверждало ее правоту.— Я еще жива, но мне уже недолго осталось... Ася? Ася все не верила, все бегала, всем воду носила, заставляла вставать, ходить, но тут не переспоришь. Сначала мама ее умерла, потом и сама...

Теперь мне оставалось только вернуться в порт, на баржу. Но я медлил. Я не совсем верил словам Ангелины Ивановны. Она когда-то сказала Асе, что я умер, а я был жив... Я не мог уйти, не убедившись.

— Ее квартира тридцать девятая,— сказала Ангелина Ивановна, оскорбленная моим недоверием.— На пятом этаже. Подумитесь, если вы еще можете подняться на пятый...

И я поднялся на пятый этаж.

XII

— Кто вы?
— Я! Я!
— Правда, вы?

— Я!

— Странно!

— Как?

Она говорила почти беззвучно, и мне показалось, что я не расслышал ее.

— Странно!

Я нашел ее в самом конце огромной многокомнатной коммунальной квартиры. Входя, я хотел постучать, но заметил, что дверь не заперта, и сам отворил ее. В ту зиму двери квартир часто не запирали: слишком трудно было идти отворять.

В передней ничуть не теплее, чем на лестнице. Окна в комнатах плотно занавешены. Тьма окружила меня. Я несколько раз подал голос, но никто не откликнулся. Я вытащил свой фонарик; бата-

рейка в нем была почти израсходована, и круг света, который он бросал, был мутен и слаб. Я отворил двери одну за другой, и мутный этот круг скользил по стенам. Мебель соннена; холодные черные трубы печурок перегораживали комнаты. Железные остовы кроватей; матрацы сожжены. Мертвые лежали на полу. Я спотыкался о них, затвердевших от мороза. Я освещал фонариком каждое лицо. Старухи, мальчики... Нет, не она. Где же она, где?.. Что-то бесшумно данинулось в углу. Я приподнял фонарик. Мое собственное отражение в зеркале...

Узенькая полоска дневного света возле самого пола. Свет проникал из-под двери, и я толкнул дверь.

Зимние сумерки вливались в комнату сквозь незастененное окно. Часы-ходики висели на стене, раскачивая маятником, и мерный стук их казался в тишине неправдоподобно громким. Часы идут, значит, кто-то время от времени подтягивает их гири. Две кровати стояли вдоль стен: одна пустая, на другой груда тряпья. Слегка сдвинув край этой груды, я увидел лицо Аси.

Неподвижное, оно смутно белело в сумерках. Упав на колени, я приблизил ухо к ее губам. Она дышала. Она спала.

Я не хотел будить ее; я хотел сначала растопить печурку, сварить кашу. Я нашел дрова и воду — к моему удивлению, все у нее было припасено. Почему же тогда она не топил, почему такой мороз в комнате? Вода в ведре покрыта ледяной коркой в два пальца толщиной. Пока я растапливал печурку, грел воду, сильно стемнело. Я сидел на корточках перед раскрытой печной дверцей, когда вдруг почувствовал, что она смотрит на меня.

Я встал, она меня узнала, и все повторяла: «Как странно!», — и я долго не мог понять, что именно ей кажется странным.

— Как странно, правда? Как странно, что я опять проснулся. Как странно, что вы тут. Вы дошли до порта! Я знала, что вы дойдете, но не верила, что еще увижу вас... Как странно все... Как странно, что я умираю...

Она говорила очень тихо, но я слышал каждое слово.

— Вы не умрете,— сказал я.

— Я тоже всем так говорила. И все они умерли.

— Вы и мне так говорили. И я не умер.

— Я знала, что вы не умрете. Я ведь ошибалась только вначале. Когда я нашла вас одного в типографии, я уже не ошибалась. Столько людей умерло к тому времени, и я видела, как они умирали. Я все знаю о смерти и ничего не знаю о жизни. Странно, правда?

— Сейчас будет тепло,— сказал я, ковыряя черочерой в печурке.— Уже тепло. Вы разве не чувствуете?

— Нет, не чувствую,— ответила она.— Я больше не чувствую ни тепла, ни холода. Я рада, что вам тепло. А я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, будто их нет. Меня нет, а голова светлая, не потухает. И я жду, когда она потухнет.

Я молчал, следя за паром, который уже начал виться над кастрюлькой. Когда вода в кастрюльке закипит, я выну концентрат из кармана и всыплю в кастрюльку, и будет каша. Она перестанет говорить о смерти, когда увидит, что я принес ей кашу.

— Пока мама была жива, я все могла,— сказала она.— Ходила за хлебом, носила воду, топилла печки. И не только для мамы — для всех. Я все печурки во всем доме знала. Я не хотела, чтобы умирали, я хотела, чтобы жили, жили, жили... Мама перед

смертью кричала и плакала. Ничего не понимала, меня не узнавала, и все-таки ей было больно... Может быть больно, если ничего не сознаешь? Как это страшно, когда ничего не сознаешь, а больно!.. Мне, например, совсем не больно... Когда мама перестала кричать и заледенела, я перенесла ее в ту комнату и положила на пол. И упала. Ноги совсем перестали держать. Я приползла оттуда. Я ползла целый час...

— Когда это было?

— Не знаю. Давно.

— Вчера?

— Нет, не вчера. Гораздо раньше. Прошла неделя. Нет, дня три или четыре. Если бы прошла неделя, остановились бы часы...

Я посмотрел на ходики. Одна гиря поднялась к самому верху, другая опустилась почти до пола. Я подтянул опустившуюся гирю.

— Вот я умру, а часы будут идти. Как странно!

— Вы не умрете! — оборвал я ее. — Смотрите, что я принес!

Вода в кастрюльке уже булькала. Я вынул из кастрюли концентрат и показал Асе.

— Что это?

— Каша! — воскликнул я с торжеством.

— А, — сказала она безразлично.

— Каша! Каша! — повторял я, вытряхивая концентрат в кастрюльку. — Сейчас у вас будет каша! Много каши!

Она молчала, и я думал, что она не понимает или не верит. Но она отлично понимала.

— Вы не съели сами и принесли мне, — сказала она. — А мне не нужно. Вы ешьте, а я посмотрю, как вы будете есть.

— Вы, вы будете есть!

— Я не могу. Вот. Поглядите.

Я не сразу понял, на что она просит меня поглядеть, потому что было уже темно, и я смутно видел ее.

— Вот, — повторяла она. — Протяните руку. Вот. Под подушкой.

Я сунул руку ей под подушку и один за другим вытащил несколько ломтей хлеба.

— У вас есть хлеб!

— Скушайте, — попросила она.

— А вы? Почему вы не съели?

— Не могу. Не глотается. Проглочу — все назад. А я знаю, что это значит.

Я замолчал. Я тоже знал, что это значит.

— И давно это у вас началось? — спросил я тихо.

— Давно. Еще мама была живая.

— И с тех пор вы ничего не ели?

— Ничего. Мне так лучше. Я это много раз видел. Мне уже есть нельзя.

Я тоже это видел много раз и знал, что если у человека не осталось желудочного сока, он больше никогда не будет есть. И все-таки я продолжал настаивать.

— Каша! — повторял я. — Не сухой хлеб, а мягкая горячая каша!..

— Не надо, — сказала она умоляюще.

И я замолчал.

Совершенно темно, и только печка швыряла красные прыгающие пятна на пол, на стены. Ася утихла, а я сидел и поглядывал на нее, стараясь отгадать, открыты у нее глаза или закрыты. Но лица ее в темноте не видел. Сквозь гудение печки и тиканье

часов я не мог расслышать ее дыхания. Иногда мне казалось, что она уже не дышит... И вдруг она что-то сказала.

Я переспросил. Я не расслышал.

Она повторила, но я не расслышал опять. Я сел на край ее кровати и склонился над ней.

— Капли падали, — выговорила она еле слышно. — Сегодня солнце светило в окно, и я видела, как падали капли. Тени капели, сверху вниз. На солнце уже тает.

— Чуть-чуть, — сказал я. — Совсем еще мало.

— Придет весна, а я ее не увижу... Как странно!.. Когда я умру, мне станет все равно, ведь правда? Кого нет, тому все равно. Правда?

— Правда, — сказал я.

— Вот это страннее всего. Мне никогда не было все равно, и я не могу понять, как это станет все равно.

— Да, — сказал я, — вам будет все равно. Но тем, которые останутся в живых, никогда не будет все равно. И мы всех тех злых дураков, которые сидят вокруг города в снегу и сторожат нас...

— Про кого вы говорите?

— Про них! — сказал я.

Мы в осаде не называли немцев немцами. Мы называли их просто — «они».

— Не надо, — попросила она. — Не надо про них. Я не хочу сейчас про них думать.

И я замолчал. Я понял, что тяжело умирать, ненавидя.

— Я хочу думать про вас, вы последний, кого я вижу. — Голос ее совсем ослабел, и я, чтобы слышать, пригнулся к ее лицу. — Вы пришли ко мне, и я не одна. Я думала: неужели ко мне никто не придет? Это было бы слишком несправедливо. И вы пришли... Скажите, вы когда-нибудь любили? И вас уже любил кто-нибудь? Как это, наверно, хорошо, когда тебя любят и ты любишь. Скажите мне...

Но я ничего ей не сказал. К моим тридцати годам уже и я любил и меня любили, и не раз. Это было запутанно и больно, и я бывал виноват и те, кого я любил. Но я не мог объяснить это ей, еще никогда не любившей.

— Я один день любила мальчика, с которым казалась во дворе на качелях, — сказала она. — Мы так раскачали доску, что чуть не влетели в окно третьего этажа. Когда он летел вверх, он нагибался ко мне, и я видела, что он хочет меня поцеловать... Больше я никогда не буду качаться на качелях. Как странно!

Она замолчала. Потом я услышал:

— Поцелуйте меня вместо него.

Я нагнулся и осторожно тронул губами ее губы, не сразу найдя их в темноте.

— Вот так, — сказала она.

XIII

Утром я пошел в порт, а еще через день отправился на медицинское освидетельствование. Меня просветили рентгеном и язы не нашли. Голод вылился меня. Я ушел в армию, и следующей зимой мы пробили брешь в осаде. А еще через два года я видел, как мы осадили Берлин, который не продержался и двух недель.



Толстов



КСАНА



ЕКАТЕРИНА СУВОРИНА

МУРАТОВА— ФРОНТОВАЯ АРТИСТКА

Рисунки Н. Вязюха.

ГЛАВА I

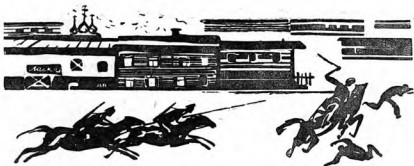
ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ

По Московской, небрежно развалился в седлах, медленно проехали десятка два казаков. Кое-кто из прохожих остановился и задумчиво проводил их глазами.

Прошло месяца два с тех пор, как в Херсонские ворота с музыкой, парадно въезжали белогвардейские войска. За несколько дней до этого где-то недалеко за городом по ночам глухо били орудия и по крышам окраинных домов сыпалось что-то, будто разбрасывали горох для голубей. А днем уходили красные — на конях, на грохочущих телегах, на машинах, а больше пешком. Уходили угрюмо, торопливо, но без суеты. И одеты были не строго по-военному, а кто в шинели без хлястика, кто в куртке, в пальто, подпоясанном ремнем, в кожаных гали-

фе, и неизвестно было, уходят только солдаты или вместе с ними и местные жители. Несколько дней горело здание Чрезвычайной Комиссии.

И едва только донеслись из-за херсонских шпильей звуки труб и мерная стукотня копыт, на город пало уныние. Люди попрятались в домах и с опаской выглядывали сквозь щелочки в занавесках. Только мальчишки, которым все надо знать первым, выбежали смотреть, что будет, да известный в городе фотограф, он же церковный староста, маленького роста, с огромной огненной бородой, препоясанный полотенцем украинской вышивки и на концах его вынес хлеб-соль. Очевидно, он думал, что теперь ему подобает заменить собой дворянство, сметенное еще в семнадцатом году. Ехавший впереди молодцоватый офицер с тонкими усиками, не слезая с коня, подхватил блюдо с хлебом-солью и передал по рядам дальше, а сам поскакал вперед, не обращая внимания на фотографа, растерянно мечущегося среди лошадей, повозок, орудий. Фотограф долго что-то выкрикивал птичьим голосом, полотенце тянулось за ним по пыли, как шейф. Солдаты гоготали.



А офицер, принявший хлеб-соль, и целая ватага таких же, как он, скакали по улицам, размахивая револьверами, и вот уже на углу улицы Чехова ткнулся лицом в землю человек в синих штанах и распахнутой кожаной куртке, а около сгоревшего здания Чека неловко сел прямо на тротуар какой-то паренек, прикрывая локтями черную от крови голову. Мальчишки быстро исчезли в калитках, их как ветром смело.

С первых же дней город удивительно изменился. Не стало видно людей, которые жили здесь, работали, беседовали при встречах. Улицы наполнились приезжими — нарядными дамами, мужчинами неизвестных профессий, в котелках, солдатами с казачьими лампасами, офицерами, шумной, пестрой толпой, что катилась вместе с белой армией. На базарах появились продукты: белая мука, которой давно здесь не видели, колбаски, колбасы. Нет, это не были те крестьянские базары, где так славно пахнет сеном, дегтем и лошадыми, где на возах кричат гуси и поро-

сята, где веселые молодаянки продают чисто укрытые холстинками махотки со сметаной и глечки с толченым молоком. Крестьян на базарах не было. Люди в черных пиджаках стояли у ларей с сахаром, с мукой, с крупками. Что ж, веселитесь и радуйтесь, куряно, покупайте, у кого есть романовские, керенские, донские!

Но куряне не веселились.

Город жил какой-то чужой, показной жизнью: на веранде в Купеческом саду играла музыка, звенели шпоры, какие-то люди кутили, пили вино, проезжие знаменитости давали концерты.

Скромный белобрысый человек по фамилии Занг, появлявшийся раньше в любительских спектаклях, вдруг оброс шикарными белокурыми бакенбардами и обрел новую фамилию и титул — барон фон Франк. Известный актер, красивый мужчина из знатной русской фамилии, надел логаны поручика и после репетиций шел в контрразведку допрашивать арестованных коммунистов. В дома, где прежде жили красные, являлись пристава и полицейские делать обыски. Они казались вырванными напоказ: от мундиров городских народ успел отвыкнуть.

Так светливо и шумно шла эта временная, ненастоящая жизнь.

И сейчас несколько любопытствующих прохожих разглядывали собравшуюся на Московской улице группу полицейских. Два мужика в рубашках наизыпуск и в пиджаках притащили сюда огромную лестницу и свернутое трубкой белое полотно. Сбросив пиджаки на тротуар, они стали прилаживать лестницу к дому. Городовые стояли отдельной группой, лениво смотрели на мужиков.

Неожиданно подехал верхом офицер, остановился возле полицейских и, сдерживая лошадей, закричал им что-то резким, начальственным голосом. Те зашевелились, светливо стали помогать мужикам, поддерживали лестницу, ткнули веревки на другую сторону улицы. Офицер надрылся криком: «Э-а-о-у-и-а-а-а-а!» Ветер разносил только гласные, и нельзя было понять, что он кричит. Прохожие останавливались, никто их не разгонял.

На Московской показались двое — девушка, почти девочка, лет шестнадцати, в школьной форме, с двумя светлыми косами, и юноша, немного постарше, лет восемнадцати, прямоволосый и черный, как мексиканец, с крепким розово-коричневым румянцем на щеках. Они приближались издалека и были заняты своим спором, заключающим в себе, видимо, не самые главные вопросы жизни, которые только и

можно разрешить в этом возрасте. В те времена люди, особенно молодые, любили спорить, говорить, вызывать со дна души еще не определившиеся стремления: жизнь требовала ясного отношения к себе, без утайки и недомолвок.

— Понимаете, Ксана, первый раз я понял это еще там, в клубе Ленина, в тот вечер, когда вы читали стихи. Так читали!.. Если человек отказывается от религии, он должен найти что-то другое, огромное, что захватило бы его, что учило бы его законам добра, справедливости, честности...

— Ну неверно же это! — нетерпеливо перебила девушка. — Религия умирает сама, да она уже умерла, потому что душа давно полна другим. Настоящим. Самым важным. Жизнью, а не мифом, за которым ничего нет. И разве вы не понимаете, что все эти законы, о которых вы говорите, несет с собой только одна власть — красных. Большевиков. Ах, Коля, в вас очень сильно сидят все эти легенды, внушенные вам в детстве!

— А вы разве легко их отбросили, Ксана? — запальчиво спросил он. И, так как она не ответила, сказал спокойнее: — Я мучительно переживаю уход красных, потому что верю в их справедливость... Но я хотел бы знать, что думают большевики о душе. Не смеетесь. Я нигде не могу прочитать об этом. А я хочу, чтобы в жизни было что-то чистое, светлое, к чему надо стремиться... Я боюсь измененной, мелкой жизни, ничем не освещенной, — вот что!

— Какой вы смешной, Николай! А идеи, за которые люди отдают жизнь, — разве это не самое святое? Это же не для себя, а для всех...

Пожилая женщина с озабоченным лицом, обгоняя юную пару, чуть обернулась, взглянула в их лица и бедно улыбнулась.

Стучавшаяся толпа прервала путь, юноша и девушка остановились и только сейчас заметили, что здесь через улицу натянуты транспаранты. Ветер крутил полотно, и буквы вдруг возникали и пропадали.

— Постояте, — сказала Ксана, удерживая за руку юношу. — Что это? Что это?

Транспарант укрепили пока только одним концом к стене, но уже кто-то успел прочесть надпись: **ЗАВТРА СОСТОИТСЯ ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ КОММУНИСТА...**

— Кого? Кого? Как фамилия? — беспокойным гулом неслось по толпе. — Господи, пронеси! Кого ж это?

— Ничего не видеть. Ма... Ми... Ветер рвет... Сейчас протянут через улицу. Ма... Не видите!

Кровь отхлынула от лица Ксаны.

— Что это? — снова спросила она белыми, как соль, губами.

Юноша ахнул, брови его надвинулись на глаза. Он решительно взял девушку под руку, торопливо повел вперед, наклоняясь над ней, почти загоразивая собой ее лицо, чтобы скрыть от нее злое слово.

Она растерянно шла за ним, хватая воздух откритым ртом.

На повороте к Херсонской развешивали такой же транспарант. Ксана остановилась, увидела мелькнувшую в складках букву «М» и медленно начала опускаться на землю. Николай успел усадить ее на ступени чего-то крыльца.

— Ксана, Ксана... Успокойтесь, еще ничего не известно. Ксана... — метался он возле нее.

— Это папа. Это, наверное, папа, — прошептала она и привалилась головой к стене дома.

— Подождите. Возьмите себя в руки, Ксана, — тихо, но твердо говорил Николай. — Я сейчас постараюсь что-нибудь узнать. Будьте мужественны. Ну?

Вы можете идти? Нельзя здесь сидеть. Идем. Вы же такая сильная, Ксана. Вы же очень сильная, я это всегда знал.

— Да, я могу идти, — сказала девушка чужим, холодным голосом и встала. — Узнайте. Я пойду.

И она пошла вниз по Херсонской к дому, маленькая, прямая, с неподвижной, высоко поднятой головой, как это бывает у слепых или у людей, глядящих далеко-далеко вперед.

Ветер кружил по улице пыль, мусор, солому, обрывки газет.

Николай быстро зашагал назад, к толпе полицейских. По дороге он оглянулся, посмотрел след девушки, приглядел углы свои прямые черные волосы.

А Ксана шла ровно, медленно, одна коса у нее почти расплелась, она не замечала этого.

Только вчера весь вечер она вместе с матерью провела у тюрем за Московскими воротами. Отогнав подальше толпу родных, ожидающих вестей, стражники выводили партию арестованных. Говорили, что их отправляют в Белгород. Никто не верил, ходили слухи, что их уводят в озарги за Вороньей улицей и там расстреливают. Отца меж ними не было. Какую участь готовила ему контрразведка?

Девушка подходила к Вороньей улице, когда ее догнал запыхавшийся Николай. Легкие росники лежали над его верхней губой, где чуть обозначился темный пушок.

Нет, это не был ее отец. Николай узнал фамилию, которая уже была у всех на устах. Майоров. Говорят, чекист. Захватили его на пути к Орлу.

Отец тоже уходил пешком в Орел. И его тоже захватили в пути. Но, к счастью, объявление касалось не отца. А где отец? И кто этот человек? Тяжест в груди все равно не проходила.

Когда Ксана вошла в дом, она увидела мать, сидящую на полу у кровати. Лицом она уткнулась в шершавое сукно одеяла.

— Это не папа! — с порога закричала Ксана. — Мемочка, это не папа! — И громко разрыдалась.

Мать подняла голову, посмотрела на нее блеклыми, заплаканными глазами.

— Все ужасно, Кюшша, все ужасно, — сказала она.

Ксана и Николай стояли у театра. Здесь, у подъезда, днем всегда встречались молодежь, покупали билеты, ожидали друг друга. Но сегодня даже в полдень было пустынно. Люди торопились скрыться в домах, в переулки.

— Будем читать афиши, — сказала Ксана. — А то заметно, что стоим и чего-то ждем. Вероятно, ведь здесь поедут, если собираются... это делать за Херсонскими воротами.

Николай пожимал головой.

— Конечно, провезут через весь город. Для устрашения.

Таракта по мостовой, по направлению к Херсонским воротам проехали подводы с тесом.

По улицам разбегались конные, уныло и страшно стучали подковы по камням пустынной мостовой. Ветер хлопал полотном транспарантов, гнал по городу тучи пыли. Окна домов были закрыты. Случайные прохожие чуть задерживались на перекрестках, оглядывались на гору: не везут ли с Московской улицы...

— Боже мой, что же это такое? — шептала Ксана.

Опущенные глаза Николай был напряженно прищурены, словно он мучительно старался что-то разглядеть внутри, за веками, в самом себе.



— Ксюша, — назвал он ее ласково, как называла мать, — может быть, уйдем?

— Нет, — резко сказала она, — я должна увидеть его. Хочу знать, кого они казнят.

Вдруг все зашевелилось. Казалось, не было людей, но они сразу появились — в окнах, в калитках, в подъездах. Они выглядели испуганно и тут же прятались, а через секунду снова выглядывали. Шепот пробежал по улице: «Везут!»

На обыкновенных извозничьих пролетках ехали горюховые с обнаженными саблями. Одна, две, три пролетки. Рядом скакали верховые.

Ксана рванулась на край тротуара и тут же увидела...

На такой же пролетке меж двумя солдатами с саблями наголо сидел человек с туго связанными руками. Прежде всего Ксана увидела эти руки, непомерно большие, рабочие, неотмывающиеся руки, ладонь к ладони, с криво согнутыми пальцами. Они бросались в глаза, уже ненужные человеку руки, которые могли бы делать еще немало полезных вещей: копать землю, столJARничать, сажать деревья, добывать уголь.

Человек сидел, сгорбясь, лицо его было совершен-

но серого цвета, как шинель, наброшенная на его плечи.

Сзади ехали еще пролетки с солдатами, по бокам скакали конные. Обгоняя процессию, промчалось несколько автомобилей.

Это было в двадцатом веке. В девятнадцатом году двадцатого века. В одном из центральных городов России. Среди белого дня. Публично.

И те, кто это делал, очевидно, считали, что другие такие же люди, как этот человек со связанными рабочими руками, увидя церемонию казни, устроятся и немедленно пойдут служить им, открытым убийцам. Так они считали. Им почему-то не приходило в голову, что если они и имели сторонников среди пролитых голов казачьей и стрелцкой слобод, вроде того рыжего церковного старосты, то и те сейчас с ужасом глядели на происходящее. И многие из них в тот час поняли, на какие разбойные дела их зовут.

— Это мог быть мой отец, — сказала Ксана глухим голосом. — Проводите меня домой, Николай.

Юноша кивнул головой.

Они шли молча по опустевшей улице, полные мыслей, тяжелых, как камни.

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ

За Херсонскими воротами собрался весь цвет белогвардейщины — генерал Кутепов со своей свитой, блестящие офицеры и их дамы, полицейские; придерживая на груди крест, на извознике приехал священник с дьячком. Ждали генерала Май-Маевского.

Простого народу почти не было, кое-какой сброд толпился за рядами солдат, выстроенных на площади. На специально построенном помосте расхаживал палач, в солдатских штанах, красной рубашке и в маске. Несколько солдат стояли готовые, чтобы помочь ему.

Никто ничего не знал про осужденного. Все, что происходило в эти минуты на площади, походило скорей на какой-то глупый маскарад, если бы не было трагической действительностью.

То, что приписывали осужденному, наводило на мысли, что о нем ничего не известно, что, вероятнее всего, он обыкновенный рабочий или красноармеец, такой, каких было тысячи, верных своей Родине, честно служивших ей. Говорили, что он крупный чекист,—это была неправда. Что он прокурор или следователь,—неправда, неправда! Что он известный большевик-коммунист,—все, все неправда! Приписывали ему высокую роль, убийцы рассчитывали вызвать к нему гнев народа. Но народ чудно и затеянно молчал, укрывшись в домах.

Человек стоял и мертвым, серым взглядом окидывая окружающее. С его лба по всему лицу катились капли пота. За всю свою жизнь он прочитал не больше десятка книг, жизнь давала ему мало досуга, он должен был работать своими большими руками. Но в одной из этих книг он, наверно, читал что-то подобное: палач в маске, помост, виселица, разряженная толпа. А может быть, он это видел в кинематографе... Все происходило слишком картинно и надуманно, чтобы быть действительностью: скорей это был страшный сон, кошмар, в центре которого находился он сам и от которого никак не мог проснуться.

И когда палач подошел к нему с петлей, он, не в силах преозмочь оцепенение сна и сам почти играя приснившуюся ему роль, стоя под виселицей, поклонился на все четыре стороны и сказал хриплым, прерывающимся голосом:

— Я ни в чем не виноват перед тобой, русский народ!

Он думал, что все еще спит; бодрствующий, он не стал бы оправдываться.

Его повесили.

Стоя у дверей своего дома, Ксана услышала далекую барабанию дробь и вздрогнула.

— Это там...

Николай промолчал и только с силой прикусил губу.

— Я теперь знаю, что я должна делать,—твердо сказала Ксана,—что должен делать каждый честный человек...

— Да,—быстро откликнулся Николай,—мне кажется, что сегодня я стал очень жестоким. Я не знал, что могу так ненавидеть, ненавидеть...Его губы дрожали.

— Коля, скажите, вы всегда, всю жизнь будете помнить?..

— Клянусь!..—горячо и решительно ответил он.

— И я клянусь,—сказала она и отвернулась, чтобы он не увидел ее глаз, наполненных слезами.

Звуки бодрого военного марша разнеслись по улице, оглушительно лязгали тарелки и бухал барабан. «Доблестные» белые войска, свершив свое дело, возвращались в казармы. На улицах было пусто, за закрытыми окнами недвижно висели спущенные занавески.

С нег шел и шел, заваливая мостовые и тротуары, шапками нависая на деревьях, на фонарях, тяжелыми козырьками спускаясь с крыш. Гребни сугробов поднимались к окнам. Люди не успевали протоптывать тропки от своей двери, ветер сейчас же заметал следы.

На улице по наезженной колее целый день скрипели сани, фыркали и хрпели лошади, отряхивая облепивший морды иней.

Из домов, где стояли денкинские штабы, где размещались солдаты и офицеры, выносили ящики, тюки, корзины, нагружали ими розвальни. Тарахтели автомобили, с чемоданами и картонками отъезжали генералы, штабские, дамы, закутанные в шали и меха. Денкиши сутулились возле отъезжающих, что-то уязывали, подавали, укладывали.

Белые отступали.

Ксана со старшей сестрой Лелей металась по городу. Где отец? Что с ним? Девушки часами стояли у тюрьмы, надеясь хоть что-нибудь узнать; бежали по засыпанному снегом переулком, разыскивали родственников арестованных, которые находились в тюрьме вместе с их отцом. Пытались спрашивать в контрразведке, в следственной комиссии; их выгоняли, издевались, бранили.

Кто-то надумил их поговорить с актером, тем самым, который служил в контрразведке. Они дождались его на улице. Актер был вежлив. Он козырнул, спросил фамилию.

— Зайдемте,—показал он подбородком на здание, где помещалась контрразведка,—попробую узнать.

Зашли. Актер поговорил с каким-то прапорщиком, взяв у него бумаги, стал просматривать. Тот стоял ожидая. Видно, актер занимал большой пост в контрразведке.

— В списке двадцати восьми нет,—вернул он бумаги прапорщику.—Дайте другие списки.

Тот уже сам просмотрел и, подавая, сказал: — Но вчерашнем тоже нет. Может быть, в последнем?

Прапорщик отошел к дальнему столу и что-то стал объяснять сидевшему там военному.

Тем временем актер небрежно полистал второй список и, изгибая почесывая мизинцем бровь, сказал девочкам:

— Вот видите, в списке тридцати шести тоже нет.

— А что это за списки?—задохнувшись, спросила Ксана.

В городе говорили: позавчера расстреляли двадцать восемь человек, вчера—тридцать шесть...

Актер посмотрел внимательными глазами на Ксану, потом остовенил взгляд на Леле—она была старше—и, вежливо улыбнувшись, сказал:

— Это те, которых отправили в Белгород.

Прапорщик принес несколько смитых вместе листов и молча отдал их актеру.

Тот взглянул на первую страницу, и его брови сразу взлетели вверх. Он медленно произнес:

— Вот. Есть. В этом списке.

Он чуть поклонился и хотел уйти.

— Скажите,—разом закричала Ксана и Леля,—где же отец? Что с ним будет?

Актер приостановился, задумчиво склонил в сторону глаза.

— Их увозят в Белгород...— Он чуть подумал.— Больше, к сожалению, ничего не могу сказать.

Чуть наклонив голову и грустно улынувшись, он отошел с сознанием, что вот он, поручик контрразведки, такой красивый и благородный, не погнушался дать справку дочерям коммуниста, говорил с ними, сохраняя приличия и хорошие манеры, и, более того, был чутко, не сказав, что их отца расстреляли сегодня в ночь.

Он пошел к выходу, озабоченный лишь тем, как бы какой-нибудь прохвост из контрразведки не захватил сани с меховой полстью, которые он приказал денщикам спрятать во дворе, в сарае, чтобы вечером отбыть на них из покинутого войсками города.

У выхода его окружила шумная группа офицеров в новых скрипящих ремнях, с новыми кобурами и нагайками на кистях рук.

Ксана и Леля проскользнули мимо, с ужасом думая, что этими нагайками они избивают арестованных.

Куда идти дальше? Что делать? Неужели конец?

Пошли к тюрьме. Передачу уже не принимали; женщины, дети толпой стояли у ворот и, осмелев от отчаяния, кричали охране:

— Выпустите их, изверги! Завтра красные придут. За все ответите!

Часовых не было видно. А тюремная охрана молчала. Еще вчера здесь не позволили бы так кричать, людей бы выталкивали, стреляли бы в них. Но теперь белые уходили. Тюремные надзиратели, в большинстве местные жители, сидели за закрытыми воротами и молчали.

Смеркалось. Стаи воронья с криком кружили и кружили над городом.

Ксана и Леля возвращались домой.

Утапывая до черноты чистый снег, по улице шли потрепанные денкинские, корниловские полки, ехали казаки.

Длинной змеей среди сугробов вилась эта вереница солдат, уходящих за Херсонские ворота, те самые, у которых несколько месяцев назад их встречал хлебом-солью рыжий церковный староста.

Девушки стояли на тротуаре, пережидая, когда можно будет перейти улицу.

— Смотрите! — ахнула Леля и толкнула Ксану.— Борис!

Дыхание у Ксаны остановилось.

Среди понурого, разбитого белоохранительского войска шагала небольшая часть — рота офицеров с мальчишескими, почти детскими лицами — гимназисты, полстывшие на погоны, на высокие слова о белой России. Некоторые были в новеньком мешковатом обмундировании, другие в ученических шинелях, с прямыми, плохо прилегающими погонами; всем своим видом они старались показать выправку и отвагу.

Ксана сразу увидела Бориса. Кровь шумно стала биться в уши, в виски. Он тоже увидел ее. Глаза его сузились, они что-то говорили, волнуящее, злое, и был в них вызов, а может быть, страх и отчаяние.

«Боже мой, что же это я! — сказала себе Ксана.— Вот он уходит с денкинцами! А я-то про него думала... Нет, ничего я не думала. Конечно, он уходит с денкинцами! Этого надо было ожидать! Это естественно! Нет, что я, глупая! Я этого не думала. Не ожидала. Нет, нет! Он мне казался лучше. А он вот какой! Пусть уходит! Пусть уходит! Боже мой, да что же это я! Ведь мне все-таки больно, больно».

Ксана не могла бы объяснить, что за отношения были между ними. Борис был много старше, он

окончил гимназию и собирался ехать в Москву учиться. Ксана столкнулась с ним в каком-то кружке в Доме юношества, и с первой минуты он заинтересовал ее. Борис представлялся ей необыкновенно умным, тонким человеком. Всегда окруженный сверстниками, он сначала почти не замечал Ксаны, хотя ей казалось, что все, что он делает и говорит,— это для нее, что каким-то боковым зрением он ее видит, чувствует, и каждое его слово, каждый поступок рассчитан на то, чтобы его слышала и видела Ксана. Несколько раз они перебарывались словами о сплетнях, которые шли в городском театре, об актере, любимце молодежи, пользовавшемся шумным успехом.

Один раз днем в городском саду, когда Ксана сидела на скамейке у театра и ждала подружку Миру, он подошел к ней и сел рядом. Они говорили о чем-то пустом и незначительном, но так страшно замирало сердце Ксаны, так дрожало все в ней, что она не выдержала, вскопчила, чтобы уйти. Он попытался удержать ее за руку, но пальцы его дрогнули, он словно испугался чего-то и отпустил ее. Ксана увидела вдруг тяжелые, потемневшие его глаза и быстро убежала.

Каждый раз, встречаясь потом в Доме юношества, они, едва кивнув друг другу, смущенно проходили мимо, словно меж ними была какая-то тайна. Николай не любил Бориса и говорил о нем Ксане как о человеке с темной душой, способном на недоброе, опасное.

И вот так оказалось.

Офицерская рота уже прошла, а Ксана не могла побороть в себе странного чувства — и сожаления о чем-то и ужаса. Все, что происходило при денкинцах: казни, расстрелы, грабежи, — все это теперь было связано с Борисом.

«Боже мой, — думала она, — такое горе вокруг, такая страшная жизнь, а я думаю об этом неуженком мне человеке!» — И она старалась думать о Николае, словно искала у него защиты; в нем было все лучшее — добро, ясность, чистота.

Леля молча ушла вперед. Ксана плелась за ней. По улицам разбегались группы конных, спрашивали астречных, где живут коммунисты, спешили на прощание пограбить, побесчинствовать. Люди шаркались от них, прятались в ворота.

Домашняя встретила мать, смотрела в их лица распухшими, страдальческими глазами, ничего не спрашивала.

Не зажигая копилки (надо было беречь конопляное масло, в котором горел фитилек), Ксана сидела у окна, пока темнел не залила улицу. Мать сидела рядом и молчала. В соседней комнате спали младшие дети. Леля тоже ушла в свою маленькую комнату и уснула.

Внезапно кто-то постучал в окно. Мать вышла в коридор открытой и через несколько минут, тяжело дыша, с испуганным лицом вбежала в комнату.

— Дети! — закричала она, задыхаясь.— Отец! — И бросилась ему на шею, едва он вошел.

Он был в белом и босой. Снег лежал на его голые и открытой груди. Он крико и жалко улыбался, слезы стояли в его глазах.

Ночью тюремщики подняли смертников с нар и, не давая одеться, торопливо погнали вниз по лестницам; во дворе их ожидали денкинские палачи. Каждую ночь в последнее время они приходили сюда творить расправу.

Но в городе уже зашлепали выстрелы: красные прорывались со всех сторон. Оставшиеся еще де-

нижкины выскакивали из домов, убежали дворами, переулками, пустырями.

Мгновенно опустел и тюремный двор, палачи пустились наутек. Тюремщики — местные жители, — боясь возмездия крестных, открыли камеры, ворота и сами разбежались по домам.

Через весь город отец шел по сугробам, прижимаясь к домам, боясь, как бы какой-нибудь задержавшийся белогвардеец не разрядил в него свой револьвер.

Заперли двери. Растирали отцу грудь и обмерзшие ноги. Радовались, что белых гонят, что идет Красная Армия, вспоминали пережитое, улыбались друг другу и плакали. Говорили и говорили.

Кто-то громко забарабанил прикладом в рамы и двери. Маленький домик дрожал.

Испуганные, вскочили и заметались — отец, мать, дети.

Из тюрьмы? Хватились? Арестовали? Обыски? Что делать? Не открывать? Может быть еще хуже.

Мать открыла и отступила.

Вошли несколько казачьих офицеров в башлыках, с нагайками, с револьверами в руках и два солдата с ружьями. Потребовали света. Пришлось зажечь кухонную лампочку, где сберегалось немного керосина.

Не разговаривая, офицеры полезли в шкафы, в сундуки, доставали вещи, снимали с вешалок пальто, платья, относили на подводу. Просто гребили.

— Что вы делаете? Что вы делаете? — заплакала мать. — Вы же видите, какая бедность в доме!

Офицеры с угрозами отмахивались плетками и сквернословили. Солдаты лезли по ящикам в кухню, забрались на чердак.

И вот все вещи вынесены, в доме не осталось ни одежды, ни обуви.

Вдруг грабители обратили внимание на отца. Окружили, грозя револьверами.

— Почему не уходишь с нами? Красный! Заберем и расстреляем.

Мать бросилась к ним, рыдая, умоляла:

— Оставьте! Не мучьте нас! У нас дети.

Стали требовать денег. Денег не было. Денег давно не было. Жили в нужде, апроголоды.

— Тогда молись богу! — ревел черноусый в башлыке и приставил дуло револьвера к виску отца. Чубатый направил револьвер с другой стороны.

Мать закрыла собой отца, оттесняя его всем телом назад, в отчаянии закричала:

— Стреляйте тогда и в меня!

Ксана не выдержала, стала впереди, распростерла руки:

— В меня стреляйте, оставьте отца!

Из маленькой, темной комнаты закричала, не понимая себя, Леля:

— Есть, есть деньги! Возьмите!

Она вспомнила, что в ее заветной шкатулочке хранится пять царских серебряных рублей. Их уже давно не было в обращении, этих денег, и она берегла их вместе с венальной фатой матери и фотографии ей бабушки.

Соскочив с постели в одной рубашке, семнадцатилетняя девушка, не думая о себе, рылась в шляпной картонке, где хранились ее сокровища.

Один из бандитов схватил со стола лампочку и шагнул в комнату Лели. Но черноусый, отталкивая его, ворвался к Леле и захлопнул за собой дверь.

Оперевшая мать, Ксана бросилась к двери, кто-то из солдат вытнул ее нагайкой.

Отец тяжело охнул, неожиданно ударил по лампочке и отшатнулся. Брызнуло стекло. Свет погас. Чубатый, что держал револьвер у виска отца, вы-

стрелил уже в темноте. В тесной комнате началось странная, бессловесная суета и толкотня.

— Леля! Лелечка! — в ужасе позвала Ксана и, всем телом расталкивая ищущих выхода солдат, втиснулась в комнату сестры. Мимо нее метнулась Леля, которая стояла, прижавшись, в уголочке у самой двери, пока бандит в поисках ее шарил по комнате.

Натыкаясь на кого-то, ощутив на секунду поддерживающую руку отца, Ксана побежала за сестрой в кухню, рванула крючок с двери, и Леля бросилась через двор по сугробам в сад.

А в квартире в темноте ничего нельзя было разоблажить. Грабители суетливо толкались, не находя выхода, стреляли вверх, очевидно, боясь перестрелять друг друга.

Мать распахнула дверь, и наконец вся банда выскочила на улицу. Слышно было, как они погнались на подводу.

Ксана, плача, бегала по саду, звала:

— Леля, Лелечка! Ушли!

Закоченевшая, дрожащая от холода и страха, как была в одной рубашке, Леля стояла в снегу.

Наконец все собралось. Заперли двери. Зажгли свечилинчик. Оглядели друг друга. Живы! Измученные, уставшие, сели, прижавшись, все на одной кровати. Плакали, молчали, не могли сдержать дрожжи. Пар дыхания стоял в холодном воздухе. До рассвета не гас огоньки.

На пороге валялся обреченный венок.

Было уже почти светло, когда кто-то тихо-тихо постучал в окно. Ксана прижалась к стеклу. Кто это мог быть? Она всмотрелась. Неужели Николай?

Накинув не позабывшийся грабителям старый кухонный халат, Ксана выбежала.

— Коля! — прошептала она, всем сердцем ощущая, что среди этих бедствий и тьмы есть дорогой и верный ей человек.

— Красные вошли! — сказал, улыбаясь, Николай. — Белых больше нет, Ксана... Он сжал ее руки.

— Да! — пожимала головой Ксана, боясь говорить, чтоб не разрядиться от всех потрясений этой страшной ночи.

— Я ухажу с передовыми частями, Ксана. Будем теперь их птать и гнать... Он помолчал. — Я не знаю, увидимся ли еще... И когда? — Он опять помолчал. Ксана прислонилась к калитке. Ее била дрожь.

— Ксана, — сказал он каким-то другим, тихим голосом. — На прощание я хочу тебе сказать... У меня в жизни всегда было самое дорогое — это Россия. Теперь это вдвойне — Россия и революция. Я за них готов... Вот... И еще мать... И... вы, Ксана. Наскогда. Что бы ни было... Голос его прервался. Он снял фуражку и опустил лицо. Потом взял ее руку и прижался к ней щекой, лбом, губами.

Ксана не пришла в голову поцеловать его. Душа ее была переполнена болью, слезы заливали лицо, и она вытирала их полую старого материнского кухонного халата.

ГЛАВА III

НОЧЬ

Плезид идет медленно-медленно. Потрескивают в пещурке дрова. С двух сторон в теплушке нары, там спят люди.

Завернувшись в шинель, уткнув в розовую подушку лысую голову в веничке редких светлых во-

лос, спит комиссар труппы Адоньев. Весь вечер он напевал приятным баритоном: «Гори, гори, моя звезда, звезда любви светлая...» Глаза его мечтательно смотрели через головы слушателей в маленькое окошечко над верхней нарой, потом он замолчал и, не поужинав, улегся спать.

Это он, Адоньев, в Курске пришел к Ксане и спросил:

— Вы играли в клубе Ленина?

— Да,— удивленно ответила Ксана, прикрывая дверь в комнату, где лежал в тифу отец.

Адоньев был весь в снегу и внес с собой новую волну морозного воздуха, а в квартире и так было не тепло, из-за рта вырывался пар и долго стоял в воздухе. Отец стонал, срываясь в бреду с постели, куда-то хотел бежать.

Мать сидела возле него, смотрела вокруг бледно-голубыми заплаканными глазами, тихонько качала головой в такт своим мыслям. Все голодали, денег в доме не было. Разоренный город был нищ, как и они. Что могла сказать мать Ксане? Требовать? Жалобно просить, чтоб не уезжала? Да разве Ксана послушает? Многие уходили с Красной Армией... «Да, может быть, это и лучше,— думала мать.— Пусть едет, у каждого сейчас своя судьба».

Клуб Ленина! Боже, как давно это было! Мир, где она, Ксана, жила главной стороной своей души. Она приходила туда после школы. Здесь читали стихи, репетировали пьесы. Здесь она играла Марину во «Власти тьмы», репетировала Аксую в «Лесен». А Мира, верная подруга, молча сидела в зале и слушала ее, а потом подробно рассказывала, как играла Ксана. Ей все нравилось. А столько было неудачного, смешного... Однажды Ксана вышла на сцену читать стихи. Зал был полон красноармейцев. И вдруг где-то посредине она забыла текст. Два раза начинала, но не могла вспомнить и в позором убежала со сцены. А в другой раз она, выходя на сцену, упала. Все смеялись, она одна плакала. Потом прибежала Мира и тоже плакала. Но было так много и прекрасного, от чего радостно дрожало что-то в душе. Она как-то читала свои собственные стихи, ой аплодировали и кричали «еще». И после «Власти тьмы» ее вызывали, и она не знала, куда деваться от волнения и восторга, и не выходила, пока режиссер не вывел ее на сцену.

В клуб Ленина— это было еще в восемнадцатом году— пришли однажды мальчики из восьмого класса их школы, с ними был Николай. И они все ждали ее после спектакля и подарили цветы. А Николай с тех пор стал всегда встречать ее у школы и провозить, куда бы она ни шла...

А Галина Николаевна, режиссер, когда к ней приходили за кулисы знакомые, всегда показывала им Ксану и говорила о ней: «Это наша самая юная артистка, еще только в шестом классе учится».— И шептала им, лукаво глядя на Ксану: «Способная девочка».

А потом город захватили белые, и не стало ничего: ни клуба Ленина, ни школы. Школа была, только ее, Ксану, исключили, потому что отец сидел в тюрьме. А в клубе Ленина стояли денкинские солдаты.

На другой день после возвращения красных Ксана побегала посмотреть, что там, в клубе Ленина. Боже, как грязно и разорено все было! В окнах вместо стекол торчала фанера, в зале на полу валялись кучи грязной соломы, стулья были поломаны. Занавес, видимо, обрывали с силой, сверху на проволоке еще болтались ключи зеленого бархата.

Конечно, клуб Ленина восстановят, и снова будут репетиции и спектакли, но когда? Город так разбит, разрушен, такая нищета кругом...

И вдруг является человек и спрашивает:

— Вы играли в клубе Ленина? Я комиссар труппы. Мы надеемся, что вы войдете в труппу и поедете с нами на фронт. Вас зовут Ксана?

— Да!— только и могла ответить она от захлестнувшего ее волнения.

— Ну так вот, Ксана, складывая свои вещички, что там тебе нужно с собой взять,— и поехали,— сказал Адоньев уже другим тоном.— Много не бери. Двух смен белья. Шинель дадим и обмундирование. Одним словом, все будет как надо. Ну, а делаться придется все: и спектакли играть и за ранеными ходить, да мало ли что. Не бойшься на фронт-то ехать? Сколько тебе лет?

— Шестнадцать,— ответила Ксана.— Я не боюсь. Чего же мне бояться?

Она не боялась. Она только с тоской думала, что отец лежит в тифу, мама измучена, трудно будет Леле. Лея только на год старше ее, доучиваться ей тоже не пришлось, надо работать, помогать семье. А еще есть двое младших— сестра Люся и маленький братишка Володя. Ему всего шесть лет, у него обмороженные синие руки. В сильные морозы он стоял в очереди за хлебом и обморозил. Володя— главный добытчик топлива в семье. Ночью он ходит по садам и выламывает из заборов доски. Доски трещат, и кто-то из тычи ругается, спешит на этот треск, а Володя бежит по сугробам и тащит своими синими ручками украденную доску. А другого топлива нет. Все так делаем.

...В тот день, когда пришла подвода и когда Адоньев усадил Ксану и поставил ее корзинку, Володя выбежал на улицу и стоял на снегу, пока подвода не скрылась из глаз. На голубоватом лице его были пупырышки от холода, и из коротких рукавов курточки выглядывали обмороженные руки...

Нет, нет, не надо об этом. Ксана гонит эти воспоминания.

...Поезд идет совсем тихо. По ночам банды разбирают пути. Днем Ксана видела сгоревшие остовы вагонов, это было у какого-то моста, где круты и высокие откосы.

Ксана еще час дежурить, потом ее сменит Зойка. Это черноволосая, черноглазая бойкая девушка, над ней все любят подтрунивать. «Зойкина коммуна»— это она, Зойка, и ее трое друзей. Зойка— актриса, а они— рабочие сцены, декораторы и одновременно актеры на выходные роли: Толя, Коля и Тарасов. Их почему-то так зовут— двоих по именам, а старшего из них по фамилии. Они же основная боевая сила в труппе. Мальчики, как верные рыцари, заботятся о Зойке, устраивают ее, получают, добывают продукты, готовят пищу— они питаются вместе, а Зойка— веселая лентяйка— хохочет, командует ими да поет. Каждое утро она будит всю труппу своим басом: «Жили двенадцать разбойников, был атаман Кудеяр...» «Кудеяр, Кудеяр, Кудеяр».— дискантом быстро подхватывал Толя, будя трезволия в колокола. Так с этой песней и вставали.

Поезд резко, с грохотом останавливается. Что случилось? Ксана прислушивается. Дверь открыл нельзя: будет виден огонь пещушки. Снаружи слышны голоса, но ничего тревожного нет, значит, будить никого не надо. Паровоз несколько раз дергает, не может сдвинуть состав, наконец громыхают буфера, поезд пошел.

Ксана снова усаживается у пещушки, кладет рядом обрез. Она уже знает, как с ним обращаться, днем мальчики из «Зойкиной коммуны» учат. У всех винтовки. Ей не хватало, и дали обрез. А из него стрелять трудней.

Ксана подкладывает шепок в пещушку, оглядывает



теплушку. Все мирно спят, похрапывают. В углу стоит винтовка.

И ей делается тревожно: какой необычной жизнью она живет! Впереди неизвестность, фронт, здесь эти жутковатые ночи с далекими выстрелами, теплушка, котелки с кашей. И эти люди, такие разные, и все, как одна семья.

Когда Ксану впервые в тот вечер привез комиссар Адоньев в какое-то помещение перед погрузкой в поезд, она заволновалась, больно защемило сердце.

На узлах, чемоданах и тюках сидели артисты, и все — старые и молодые, мужчины и женщины — в солдатских ватных штанах, шинелях, каждый держал возле себя винтовку. Кто-то, прикурнув среди вещей, спал. Ксана узнала режиссера городского театра Скворцова, его жену актрису Емельянову, с крупными чертами болезненного, бледного лица. Они сидели на полу и курили махорку.

Женщина лет тридцати, в белой шелковой кофточке и ватных штанах, держа в зубах мундштук с самокруткой, заплетала короткие светлые косы. К ней-то и подошел Адоньев.

— Бери под опеку, Надюша, видишь, какого птенчика привел.

Надя хлопнула Ксану по плечу, весело сказала: — Здравствуй, дочка.— И кинула Адоньеву: — Одеть ее надо, а то что за штатский вид?

— Сейчас и оденем.

Костюмерша Дуса принесла шинель, брюки, гимнастерку, валенки, и вместе с Надей они почти на глазах у всех переодели Ксану.

— Ты не пугайся, — шутила Надя, — здесь ко всему привыкать надо. Вот махорка в кисете, кури. По-

том тебе косы обрежем. На фронте, знаешь, бечерья нужно... А то тифы гуляют... Сейчас можно поспать. Когда еще грузиться будем! — И она развернула и расстелила на чемоданах роскошное атласное одеяло.

— А я одеяла не взяла, — сконфуженно сказала Ксана. — Да у нас лишнего нет, все денкиницы забрали.

— Ерунда, — отозвалась Надя. — Как-нибудь поделимся. Будем жить коммуной. Ладно? Кто захочет, к нам привахтуется.

— Может, она есть хочет? — спросил старый, тучный актер Романос. — У меня сало есть.

— Давайте сало, — сказала Надя и, перешагнув через спящих, взяла у него кусок.

Тарасов, человек с грубо вырезанными чертами лица, взял котелок и молча пошел за кипятком.

Ксану накормили коллективно и уложили спать на роскошное одеяло.

Так началась ее жизнь в труппе. В теплушке мужчины разместились на нижних нарах, женщины — на верхних. Только «Зойкина коммуна» не стала разлучаться, так они и спали рядом — трое верных ребят и их командирша Зойка, запеленатая в свое одеяло.

Эта простота нравов напугала тогда Ксану, ей казалось, что люди здесь все испорченные, прошедшие огонь и воду, все они курят, почти не стесняются друг друга и разговаривают как-то слишком откровенно и просто. Ксане тогда казалось, что и она порывалась со всей своей прежней жизнью и тоже станет испорченной, разбитной девишкой, и дома, узнав об этом, будут ужасаться и плакать. Но теперь уже она сама смеялась над своими страхами и опасениями; она поняла людей, окружающих ее и опасивших ей семью. Товарищество — вот что связывало всех, товарищество и верность долгу. А

что касается нравов, она привыкла к ним так же, как и к кочевой жизни.

Днем шли репетиции. Здесь все было по-другому, не так, как в клубе Ленина. Там Галина Николаевна разбирала каждую фразу, учила вдыхаться (в смысле ее, делила роль на куски, объясняла взаимоотношения действующих лиц).

Здесь читали по тетрадке или репетировали под супера целое действие. Потом Сковорцов делал все замечания. Иногда скажет: «Вы не в образе». Ксана не знает, что это значит, спросить неловко: здесь не студии, а актеры.

Ксана мечтает сыграть какую-то прекрасную роль. Может быть, «Чайку»?

«Люди, лвы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, лапки... словом, все жизни, все жизни...» — шепчет печальный круг, угасли...» Что в ней, в этой фразе? Как ее понять? Как понять, что хотел сказать автор этой пьесы в пьесе? Бедный Треплев! И как понять эту молодую женщину? Она любима. Но думает о другом. У нее прозрачные глаза. Так кажется Ксане. Надо играть ее с прозрачными глазами.

А может быть, сыграть другую роль, тоже прекрасную? Ксана мысленно читает: «Чул! Смеются. А я стою и чуть не плачу с горя... Прав пригожий Лель. Беги туда, где любят...»

Ночью, когда все спит, под стук колес мысленно читает Ксана наизусть один за другим любимые монологи.

С нар поднимается Сковорцов, тень его высокой фигуры мечется по теплушке.

— Замерз,— говорит он.— Идите ложитесь, я повою.

— Как! Разве можно с поста? Что вы, Алексей Степанович! — удивляется Ксана.— Днем нас одному учат, а ночью всегда кто-нибудь предлагает подменить.

Сковорцов зевает.

— Ну, сидите,— говорит он, потирая руки над печуркой.

Ночь. Идет поезд. В шелку видно: снег и тьма. Лежит вокруг огромная страна Россия, ни огня ни звука.

А в теплушке уютно. Тихо. И вдруг что-то сыплется, сухое, как камни, быстро-быстро сыплется: та-та-та-та-та...

Ксана вскакивает. Да ведь это пулемет! Поезд ускорил ход, потом сразу с лягом стал. Слышен шум, крики.

— Вставайте, вставайте!

И вот уже все на ногах. Ксана заливает печурку. Малышки из «Зойкиной коммуны», актер Крамской, худой, длинный мужчина, с вогнутым, словно мешок, профилем внутри, хватают винтовки, отодвигают дверь и соскальзывают в тьму.

В теплушке сразу становится холодно. Дрожь бежит по телу.

— Остальным не выходить! — командует Адоньев и сам прыгает вниз.

Где-то топочут и ржут лошади. Кто-то кричит громко и страшно. И опять — та-та-та-та-та...

Узкоглазая женщина с монгольскими скулами, с русским курносим лицом и французской фамилией, актриса Клава Понсет злобно жмется и ахает:

— Батюшки мои, как жутко! Вот она, война!

Становится тише. Кто-то несколько раз стреляет из винтовки. И слышно, как Толя Дмитриев кричит: — Дай ему из винта! Дай ему! У меня палец...

Вместе с другими Ксана выглядывает из теплушки. В темноте негромко зовет Адоньев:

— Кто там есть? Давайте сюда бинты.

Толя Дмитриев лезет в теплушку. Пулей ему задело палец, он закурил его грязным платком.

Ксана ищет коробку с бинтами и йодом и не может найти. А ведь сказано, чтоб всегда стояла у двери.

Надя Ласская, находчивая, ловкая, торопливо роется в своей корзинке, что-то вытаскивает, рвет, рвет на полосы. Сует комом полос Ксане, и они вдвоем прыгают вниз и бегут вдоль вагонов.

Группа людей тащит кого-то, подсаживает в теплушку.

— Вот бинты! — кричит Надя.

Все расхопываются, думают, что пришли сестры милосердия.

На снегу лежит человек. Надя быстро с чьей-то помощью — она все умеет! — срывает с человека шинель, рубаху и тут же у вагона перевязывает белую юбку у тьме груди. Ксана поддерживает раненого, а он все тяжелее, все тяжелее у нее на руках, уже нет силы держать его, руки все в крови. Мужчины приподнимают раненого, укрывают шинелью и атаскивают в вагон.

Надя и Ксана перевязывают другого. Третьего. Бинтов больше нет.

— По вагонам! — кричат в темноте.

Люди разбегаются. Сзади кто-то подталкивает Ксану в чужую теплушку. Она слышит голос Нади, ее успели поднять почти на ходу поезда в другой вагон.

Дверь теплушки захлопнута. Зажигают фитилек в бутылке. Здесь такие же нары, на них солдаты. На полу на соломе укладывают раненых. Какой-то солдат, совсем молодойник, бьется и скатывается с соломы на грязный пол. Гимнастерка его в крови. Бинтов нет. Пожилой солдат в рваной барашковой шапке достает из сумочки мятую рубаху, дрожащими руками дает ее Ксане.

— На, перевязки его, сестрица.

— Что его перевязывать! — глухо и сердито бросает кто-то из темноты. — Кончается он. В живот раненный.

Ксана мечется, не зная, как подступиться к корчащемуся в муках человеку. Она макает край рубахи в ведре, где плавает лед, и вытирает ему лицо. Раненый не дается, уткнулся лицом в пол. Ксана старается повернуть его лицом вверх, мягкие, холодные руки его бессильно переваливаются на сторону. Он глотает воздух. Рядом стонут и просят пить.

Ксана никак не может разорвать рубаху. Тот же красноармеец в барашковой шапке помогает ей. Его руки все так же дрожат, когда он приподнимает раненого, чтобы Ксана могла перевязать. Она перевязывает неловко, кое-как, понимая, что делает это плохо, неправильно, и никакой пользы от такой перевязки нет. Ее охватывает отчаяние и стыд. Раненый захлебывается, что-то булькает в его горле, потом он затихает и лежит сполножно, будто и вправду помогала ему перевязка.

У Ксаны чуть отступает от сердца: наверное, ему все-таки стало легче. Но тот пожилой солдат встает с корточек во весь рост и снимает свою рваную шапку.

И тогда, поняв, что произошло, Ксана громко, не стыдясь, стонет и плачет.

— Молоденькая,— силно говорит кто-то на нарах, — не выдавай еще смерти-то.

— Ладно, будет тебе выть! — кричит другой голос, зло и грубо.

Ксана умоляет, слезы бегут по ее лицу, она вытирает их липкими ладонями, но, ощутив острый

запах крови, плещет из ведра воду на руки и оmy-
вает лицо.

Поезд мерно постукивает. Раненые стонут. Они
лежат рядом с мертвыми.

Щели в вагонах начинают светиться, наступает утро.
За вагонами лежит большая страна Россия, поля,
покрытые снегом, голые леса, серые, нищие дерев-
ни. Там голод, холод, тифы.

До фронта еще далеко.

ГЛАВА IV

АНГЕЛЫ

Хозяйка большой избы, где остановилась почти
половина трупы, накормила всех молочной
пшенной кашей. Так пышно развешено в мо-
локе пшено, так сладко пахло маслом, что всем ка-
залось, будто никогда ничего вкуснее не едали.

С тех пор как артисты покинули теплушку и та-
щились обозами, во всех деревнях, где останавли-
вались на ночь или на несколько часов, хозяева
бедовали, что солдаты все изчисто съели, хлеба
куски не оставили. «Тай ничего немає», — горько
сетовали крестьянки, и уж то хорошо было, если
могли они поставить на стол чугунок неочищенной
картошки или пустых щей. А малыши — крестьян-
ские дети — и сами были рады заглянуть в скудный
красноармейский котелок.

А здесь на столе, кроме каши, красовались бе-
лые пышные «пшеничницы», хлеб, куски застывшего
жареного сала.

Актёры уплетали ужин, перемигивались и похва-
ливали.

Хозяйка добавляла и приговаривала:

— А нигде вас так вкусно не накормят, как в
моей хате. Чи не правда?

Адоньев поел раньше всех и вышел прозедать
остальных: как-то они устроились, накормлены ли?
Наверное, мало потренили эту деревню в войну,
если здесь так сытно. Пусть поедят люди.

Скоро он вернулся с вестовым из политотдела
дивизии, тот только что прибыл с приказом трупы
есть дальше, до другого пункта.

Как ни ворчали актёры, как ни устали лошади, а
приказ надо было выполнять. Снова втаскивали на
подводы снятые сундуки с театральными имуществом,
запаковывали свои корзинки и чемоданы. Не-
которые пытались было прикурнуть на подводах, но
лошадёй надо было беречь, пошли пешком.

Выехали, когда на небо уже выплыла луна, чи-
стая, холодная, необычно большая. Сильно морозило.
Над обозом стоял пар, казалось, что извисили
облака.

Пустые белые поля уходили за горизонт. Снег
сверкал миллиардами блесков, как будто в него на-
сыпали битого стекла.

Наконец показался лесок. Он лежал справа, чер-
ный, сумрачный; с другой стороны все так же бе-
лела гладь. За леском потонули кресты погоста.
Неожиданным в безлозидной снежной пустоте каза-
лось это деревянное кладбище. Но в глубине за
кладбищем мелькнуло несколько бледных огоньков,
видимо, там было село.

Всем хотелось скорей свернуть к избам, забрать-
ся на печь или, укрывшись шинелью, заснуть на со-

ломе, которую постеляют на полу. Но нет, надо было
есть дальше.

Едва добрались до назначенного места, многие,
зайдя в первую попавшуюся избу, уснули тут же на
лавках, не раздеваясь: сон сморил людей.

Ксана так хотела спать, что даже по избе шла с
закрытыми глазами, и очулась, только услышав чей-
то жалостливый голос:

— И куда ж такой малой хлопчик с вами? Мать,
небось, глаза выплакала. Чи сбежало дите из дому?

Ксана сразу поняла, что это о ней, ее часто в де-
ревнях принимали за мальчика, она и постриже-
на была коротко, с трудом найденная по ее разме-
ру кепка прикрывала пышные белокурые прядки.

Не снимая кепки, она полезла на печь. А хозяйка
продолжала удивляться.

— Чи уже свет клином сошелся? Бабу старую,
или, извиняйте, женщину, зачем с собой возите? —
показала она на старого актёра Романова.

Ксана фыркнула. Бритый располневший старик, с
покрашевшим от мороза лицом, укутанный длин-
ными шарфами, был действительно похож на ста-
рую женщину или на толстого ксэндза.

— Артисты мы. Поняла, мать? Артисты, — объяс-
нял ей Тарасов, — спектакли будем играть, ну, то
есть представления давать.

— А-а! — закивала головой женщина. — Фокусы,
значит, будете показывать. У нас тут табор стоял,
ох, лоако же цыгены предствэляли! И ведьмадь у
них был.

— Медведь, медведь, мать, — добродушно,
сквозь дрему поправил ее Скворцов.

— Та нй! — сердито запротестовала женщина. —
Медведь-то! — заверь лесной, а ведьмадь — он хозиян:
хочет казнит, хочет милует.

Убедить ее никто не захотел. Изю всех углоа
сплышлось уже сонное сопение, кто-то всхрапывал.

— А вечерять чи не будете? — удивилась слово-
охотливая и гостеприимная хозяйка. Видать, и здесь
жило недурно.

Ей никто не ответил.

На печи было жарко. Там уже спали Дуся и Надя
Ласская. Ксана сняла сапоги, ремень и сразу как
провалилась. Дуся спросонок динула ее локтем, но
Ксана уже не смогла шевельнуться...

— Ксюта, Ксюта, — тихо шептал кто-то, — про-
снись, дочка, очень нужно. Тихо, тихо, молчи! Про-
снись, Ксана!

Ксана открыла глаза, и сна как не было. Над
ней склонился комиссар Адоньев. Он стоял на ла-
вке, и голова его возвышалась над печью.

— Слышишь, Ксана. Повторять некогда. Дело
серьезное.

— Ну? — встрепенулась Ксана.

— Чи-ш! — погрозил Адоньев. — Скоренько встань,
оденься, обуйся, пойдешь до того села, где по-
гост, поминишь? Одним духом надо бежать, поняла?
На, револьвер возьми! В карман спрячь, на всякий
случай.

Ничего не спрашивая, Ксана быстро оделась. У
нее не попадал зуб на зуб. Казалось, что в избе
сразу стало холодно.

— Добежишь — комиссара спросишь, точно не
знаю, какая там часть стоит. Скажешь, тихо только,
чтоб другие не слышали: у нас в амбарах танки
стоят с пулеметами, чуть сеном прикрыты. Амбары
на замках, но ребята углядели. На чердаках по из-
бам — мужики. Маховцы ли, «зеленые» ли — не
знаю. Скажи: наши хлопцы на керсулах стоят. Вы-

стро. Побежишь по за избами, в тени, а то луна большая. Поняла?

— Да,— прошептала Ксана.

— А из нашей избы выйдем, сделай вид, вроде по нужде. За тобой следить не будут, тебѣ за дите приняи, им себя выдавать тоже не хочется. Не чают, как мы отсюда уйдем. Пароль в нашем селе — курок, отзвѣя — Киев, запомнила? А мне тут надо быть. Если что, будем держать их. Пускай скорей людей присылают. Сила у нас небольшая.

Ксана вышла во двор, громко позвала. Пошла за сараи.

Молочно-белая луна, казалось, еще выросла. Она плыла медленно, спокойно, в ярком свете ее четко обрисовывались каждый куст, каждая соломинка на дороге. Снег скрипел так громко, что Ксана не слышала ничего, кроме этого скрипа. Прячась в тени изб, медленно вышла за деревню в поле. Тут уж кругом лежала белая снежная скатерть. Ксана поехала прямо по дороге, асей спиной чувствуя за собой затаившуюся деревню. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, это оно так скрипит: крики, крики, крики...

Чтобы сдержать растущий страх, она остановилась, передохнула и заставила себя пойти медленно.

«Заметили бы — убили,— подумала она.— Им и в голову не пришло, что артисты что-то узнали».

Почему-то ей вспомнились волки, которые зимой нередко выходят стаями. Она глядявалась в белые снежные поля, оглянулась на деревню, но в морозной мгле ее уже было плохо видно. «Только бы никого не встретить»,— подумала Ксана.— Погост недалеко. А за ним и та деревня». Волки не выходили у нее из головы.

И вдруг далеко впереди она увидела что-то темное, несколько темных точек, они приближались так быстро, как человек идти не может. Волки!

Они были еще далеко, но впереди уже завыдался погост. Не помня себя, Ксана бросилась вперед, чтобы успеть забежать на погост, словно там, среди могил, она могла укрыться от волков.

Она перескочила через неогороженный холмик и сразу провалилась в снег по пояс. Видно, там была яма.

Все так громко скрипело и трещало вокруг — и снег, и сердце, и какая-то ржавая жесть, и еще что-то, чего нельзя было понять и что вдруг обернулось ясным размашистым конским топотом и голосами.

— Сюда побег! Заходи с той стороны!

— Может, собака! — откликнулся другой голос.

— Не. Человек. В шинели. Без ружья.

Ксана вжалась в снег и застыла. «Они! Бандиты!» — подумала и сама не заметила, как выхватила револьвер, сжала в руке.

«Подойдут — буду стрелять».

— Ну, что тут! — словно ударил ее знакомый хриплый голос человека, который только подышал. Слышно было, как плыла и тяжело дышала под ним лошадь.

Боже мой, да ведь это Суржак, комиссар дивизионной школы Суржак! Простой, грубоватый рубашка с себельными шрамами на лице, Суржак, который так старался быть вежливым и воспитанным при встрече с актерами и говорил так мало и односложно, боясь выпалить привычные для него крепко прощенные слова.

— Товарищ Суржак! — закричала Ксана, барахтаясь в снегу.— Товарищ Суржак, это я, Ксана, из группы.

— Как пошла сюда? — захрипел Суржак.— Подняла ее в седло,— приказал он ординарцу.

Ксана отмахнулась от спрыгнувшего с коня солдата.

— Я думала, волки,— стараясь сдержать дыхание, не своим голосом объяснила Ксана.— Мне надо вам сказать очень важное, я поэтому и вам и шла.

Она оглядела трех красноармейцев. Те тронули лошадей и отыехали на несколько шагов. Ксана быстро передала Суржаку все, что велел Адоньев.

— Так. Все ясно,— сказал Суржак и махнул конным.— Давай, Башмаков, езжай сейчас в это село,— он показал за погост, где раньше виднелись огоньки, а сейчас было темно,— перескажи Крушенке, чтоб быстро собрался, взял человек пять хлопцев — и прямо к Адоньеву. Я уж там буду. Перескажи: в амбарах танки с пулеметами. Ну, марш, аллюр три креста!

Конный сорвался с места и по белому полю, взмывая вокруг себя снежную пыль, помчался в село.

— А ты, Семен, бери ее в седло и вози обратно, к нам. Устрой там, пусть хоть в мою избу. Сена навали, пусть артистка отдыхает. Рысью! — скомандовал он и, запорхав Ксану снегом, вместе с красноармейцем поскакал по лунной дороге в ту деревню, где ждал Адоньев.

А Ксана ехала за спинной ординарца куда-то в неизвестное село, где стояла дивизионная школа. Все в ней еще билось и горело, и она не могла спокойно продумать, что ей делать и правильно ли, что ее везут в чужое село отдыхать.

Ехали долго, ей даже стало казаться, что все это — Адоньев и танчики — было давным-давно, а теперь все спокойно, никаких танков нет и люди вокруг мирно спят.

Показалось наконец темное село.

— Ладно будет! — спросил ординарец.

Ксана не поняла и переспросила.

— Доберешься теперь,— объяснил он,— в любую хату иди грейся. Тут недалеко. А мне надо комиссара догонять. Как он без меня будет?

— Конечно, конечно,— согласилась Ксана.— Я дойду.

Она неловко соскочила с лошади. Ординарец, не задерживаясь и не оглядываясь, поскакал обратно — догонять Суржака.

Ксана потопталась на месте, поглядела на темные хаты, потом обернулась к удаляющемуся красноармейцу, и ей вдруг стало обидно, что она здесь осталась в безопасном месте, в то время, как все ее товарищи будут, очевидно, участвовать в важном и серьезном деле. «И зачем я сюда приехала!» — пожалела она.— Надо было ехать с Суржаком.

Минутой подумав, она медленно зашагала обратно. «Как же я глупо поступила!» — корила она себя.— Когда-то теперь дойду? И, полная решимости, она прибавила шаг и почти побежала по дороге, по которой только что галопом удалились ее провожатый.

Она даже не вспомнила о волках. Ничто сейчас не страшило ее. Она бежала и бежала и только старалась наладить дыхание, чтобы можно было бежать долго. Подняла воротник и дышала в сукно, потому что морозило все сильнее и воздух стал резким и колючим. Но когда все-таки задыхнулась, она приостановилась и пошла твердым, ровным шагом, как в строю. Поле качалось перед ней и странно поворачивалось, приподнимая то один край, то другой. Она даже постояла немного, чтоб не упасть. «Усталая», — поняла Ксана и вспомнила, что почти весь день пришлось идти пешком и прошлую ночь тоже почти не спала.

Она снова шла и шла, и ей показалось, что по сторонам взлетают ячели, вверх-вниз, ух ты! Как на ярмарке. Но нет, это она сама качается — вверх-вниз. Сердце замирает. Вверх-вниз. Да ведь она спит, идет и спит.

Ксана потрясла головой, проснулась. Вот же и погост. Теперь близко.

Несколько далеких выстрелов разбудили тишину. Ксана постояла, прислушалась. Да что такое? Или ей кажется? Громко скрипя полозьями, навстречу едет обоз. Быстро едет. Кто же это? Может, те, махновцы или «зеленые», убегают? Она шагнула через могилу и спряталась за приземистым крестом. Неужели бандиты? Верно, заметят. Все ближе, ближе обоз. Какие-то люди бегут сбоку. Ксана затаяла дыхание. Вот уже слышно, как екают селезенки у лошадей, как фыркают и дышат лошади. Кто-то громко разговаривает. Мужские голоса. Нет, это поют...

«Жили двенадцать разбойников...»

— Зойка! — закричала Ксана и выбежала на дорогу. — Зойка! Надя!

Сбежались люди. Да, это свои! Подводы замедлили ход, стали. Подбежал Адоньев.

— Ксютка! — сказал он. — Садись. Устала, небось. — Почему вы уезжаете? — закричала Ксана. — Что там было?

— Суржак приказал труппе немедленно выехать. Туда прискакали конные. Только наши хлопцы из «Зойкиной коммуны» остались. Они там понадобятся.

— Хорошо, — согласилась Ксана, садясь на подводу и приваливаясь к какому-то вещам.

Подводы тронулись, и снежное поле опять закачало и поплыло. Адоньев легко бежал рядом с подводами и что-то рассказывал.

— А кто ж там в сараях? — спросила Ксана. — Бандиты?

— Кажется, «ангелы», — сказал, отставая, Адоньев. — Много их тут всяких: и «ангелы», и «черти», «зеленые», махновцы...

— Ангелы? — тихо засмеялась Ксана, представляя себе прачущихся под стрехами сарая маленьких крылатых ангелочков и проваливаясь в сон. Она и во сне еще смеялась, а снежное поле бежало рядом, качало и баюкало ее.

ГЛАВА V

ТЕАТР

Небольшой обоз везет декорации, два сундука с костюмами да не бог знает какое барахляшко артистов. Артисты, в валенках и шинелях с поднятыми воротниками, по глаза закутанные в шарфы, толпятся по дороге, перекинутся, пританцовывают. Иногда кого-то валят в сугроб, визжат, хохочут. И опять идут, чуть согорбась, высоко подняв плечи, то и дело отряхивая наледь с воротников.

Скрипит снег. Кругом белым-бело. Солнце сплелт глаза.

Длинная колонна пехоты догоняет обоз и долго тянется рядом.

Надя Лаская присаживается на одну из подвод и, опустив воротник и распрямившись, будто ей стало тепло, запевает:

Эх, полным-полным-полна коробочка,
Есть в шей ситец и парча...

Красноармейцы позорачивают головы, улыбаются молодой артистке. Им тоже как будто стало и теплее и веселее.

Старик Романов, нахохлившись, бурчит что-то, он недоволен:

— Разве это искусство? Профанация. Выступать надо со сцены, торжественно, с подготовленным репертуаром. Выходишь — и зал смолкает. С треплетом ждет. А это что? Несolidно. Непрофессионально. Любительство!

— На таком морозе петь, — поддерживает его Маруся Емельянова, — можно голос сорвать, охрипнуть. А потом кто спектакль будет играть?

Но несколько лихих солдатских голосов присоединяются к Наде, еще и, вот уже поет крепкий солдатский хор, почти вся колонна, бойко, со свистом, с молодецким удалством.

Голос Нади теряется в этой веселой метелице голосов.

— Все-таки я их немножко подбодрила. Адоньев издала кивает головой Наде и подмаргивает:

— Молодец, Надюша! Колонна быстрым шагом уходит вперед, песня разливается по белым полям...

Вечером труппа дает спектакль. Большой амбар быстро превращается в клуб, несколько красноармейцев да мальчишки из «Зойкиной коммуны» сколачивают сцену, устанавливают декорации.

А зритель уже полон зал, держа в руках винтовки, топчут ногами, первые ряды присели на корточки.

Белый пар висит в воздухе, оседает на стенах амбара.

Знаес кое-как задернут, за ним переодеваются артисты. На сцене зажжены керосиновые лампы, от них тепло.

Спектакль играют два раза подряд. Часть красноармейцев посматривает, а со спектакля прямым путем отправляется на недельный фронт.

Сосем молодой человек, заикаясь от волнения, говорит им напутственную речь, беспрерывно рубя воздух рукою, согнутою острым углом.

Зал заполняется новыми зрителями. Они также строго стоят рядами, опираясь на винтовки, и по их лицам нельзя понять, слушают они или перебирают перед боем в мыслях свои дела, родных, любимых.

Близко бахают орудия. Спектакль продолжается. Кто-нибудь из артистов тревожно оглянет товарищей на сцене, зрителей и, успокоившись, продолжат играть. А зрители стоят недвижно, словно не слышат оружейной стрельбы.

В зал входит командир, в романовском полушубке, в смушковой шапке и, громким голосом покрывая артистов, дает команду выйти и строиться. Погромыхивая винтовками, солдаты быстро покидают зал. Спектакль прекращается.

В клетушку за сценой приходит наподида Равичев, он случайно оказался здесь. Равичев небольшого роста, с умным, тонким лицом.

— Репертуар, репертуар нужен, — говорит он режиссеру, делая скупые жесты рукой. Ксана невольно следит за его рукой, на ней — шесть пальцев.

Равичев обходит всех артистов, знакомится.

— Молодцы, честное слово! Просто не ожидал. Вот кончится война, построим вам театр, нашим хорошим костюмам, закажем декорации художни-

кам. А писатели насочиняют для вас пьес, музыканты напишут романсы — хорошие, советские, вот хотя бы... Он смолкает, прислушивается секунду к дальней музыке орудий и продолжает: — Вот хотя бы про этот морозный вечер, про этих солдат, что вас так слушали, про эти бои... Будет такое время, увидите!

Все счастливы. У Нади сияют глаза.

— Вот, Петр Михайлович, — говорит она Романову, — а вы меня все браните.

Рабичев, улыбаясь, слушает. Прищуренными глазами он всматривается во что-то на воротничке Маруси Емельяновой, снимает пальцами, бросает на пол и растрачивает сапогом.

— Это беда! — говорит он. — Следите за собой, товарищи, тиф гуляет по деревням... Ну, а теперь марш-марш!

Утром предстоит концерт в бригаде вблизи перодской. Вся труппа любит ездить в эту бригаду: командир ее славится гостеприимством — он всегда устраивает угощение артистам.

Ксания и Надя отправляются вперед квартирьерами: надо подготовить помещение для труппы.

День ясный, морозный. Вперед зеркально сверкающая даль. Белое-белое небо.

Маленькая лошадка с закурчавшейся от инея шерстью легко везет крестьянские розвальни.

На душе у артистов светло и хорошо. Они говорят о вчерашнем спектакле, о будущем театре, о пьесах, о Рабичеве, о знакомых политотделцах...

У самой деревни их догоняет конный развед. На некоторых конниках дубленные полушубки, на одном развезается бурка, в руках у них блестящие пики, сбрую болтают в ножнах сабли — боевые хлопцы! Они замедляют бег лошадей, машут руками Надя, ее знают и любят за песни. В деревню розвальни выезжают с почетным эскортом.

Надя сосканивает с розвальной, вбегает на первое попавшееся крыльцо.

Что вы головы повесили, соколинки.

Что ваш путь сегодня не быстрееюнь... —

начинает она без всякого аккомпанемента. И как-то особенно хорошо звучит сейчас ее голос, раздается несется в морозном воздухе, и сама она сейчас хороша со своими белокурыми кудрями, с худым горбоносым профилем, статная и быстрая.

Внимательно, сосредоточенно слушают ее конники, сидят в седлах, не шелохнувшись.

Тихо в деревне. Из соседних изб робко выглядывают крестьянки, дети, старики. Надя поет и поет. Уже пропеты и романсы и лихие цыганские.

А кавалеристы не унимаются.

— Давай, давай еще, артистка! За ради бога! — просят они.

Неде становится весело. Она сбрасывает шинель на перила и напоследок отплывает на крыльце — благо, на ней синяя шелковая юбка, но валенки, валенки! — отплывает какое-то подобие испанского танца. Она целкает пальцами вместо кастаньет и подпевает себе на непонятном испанском — испанском ли? — языке.

Конники хохочут и аплодируют.

Ксания смущена этим танцем, но ей тоже весело, и она смеется вместе со всеми.

И вдруг внимание зрителей — а число их уже выросло вдвое — переключается на Ксану.

— А шо ж тая молодонька ничего не робит? Не умие, чи шо? — раздается громкий тенор.

Другие голоса поддерживают его.

Ксания готова провалиться сквозь землю. Конечно же, она не умеет ни петь, ни плясать. Если бы роль сыграть, это — другое дело.

А зрители кричат, требуют:

— Давай, ерстка, пой!

Надя подкашляется:

— Прорекламуй что-нибудь. Ты же знаешь массу стихов.

— Давай декламируй, — требовательно повторяет ее слова устатый конник и взмахивает рукой, будто собирается дирижировать.

Ксания кажется, что у нее в голове рассыпаются блестящие разноцветные брызги, она волнуется и ничего не может вспомнить.

— Я не помню ничего, — говорит она, задыхаясь и краснея, — честное слово, я... я боюсь...

— Не бойся! — весело утешает ее задорный мальчишеский голос.

Какие-то строчки быстро-быстро мелькают в голове Ксании, но ни одну она не может поймать, остановить, вспомнить начало. Да что же это! Ведь читала же она стихи и в школе и в клубе Ленина. Надо взять себя в руки. Конечно, непривычно сразу да еще так близко, лицом к лицу с этим зрителем. Но хоть бы что-нибудь вспомнилась!..

Это — божие пропятие.

Это ужас — быть, как все... —

мелькает из Бальтового. Нет, нет, это совсем не то...

...Будьте добры, причешите мне уши, —

строка Маяковского. Ну совсем нехватай! «Божье мое, что же это!» — волнуется Ксания.

Напряжение не дает ей ничего осмыслить, она видит лица — требовательные, насмешливые, сердитые, веселые.

И неожиданно начинает читать стихи Фруга:

Три бледных тени чередой

Стучатся робко в двери рай...

«Не то, не то...» — мучатся в ее голове мысли, но остановиться уже невозможно.

...Открыл, святой ключарь, открыл,

С мольбой тихою взывал.

— Ешшо бы! — весело и несмешливо роняет бо-родатый казак.

Раздаются смехи. Кто-то кричит: «Тихо вы!»

— Не бойся! — раздается тот же мальчишеский голос, который ей уже кричал эти слова, но сейчас он говорит серьезно, подбадривает ее.

У Ксании падает в груди сердце, по спине бежит холодок, но она громко и четко продолжает:

...Но вопрошающий вдали

Они внимают голос:

«Кто вы,

...Во тьме грядущие с земли

Под эти...»

Ксания взгляд упал на белокурого чубатого конника, который сидел, свесив на одну сторону седла, и поглядывал на нее с какой-то затравочной-иронической усмешкой. Кровь ударила ей в лицо, она сразу забыла текст.

...Во тьме грядущие с земли, —

повторила она механически,

Под эти... под эти... радостные...

«Господи, как дальше? Как дальше?» — мелькало в мозгу.

Под эти радостные кровы, —

выпалила вдруг она, чувствуя, что сказала не то.

— «Кровля», — громко поправила устатый кавалерист.

— «Кровля», — с ужасом, покорно повторила Ксания. Но тут же воскликнула:

— Нет!..

Под эти благостные кровы...

Смех шел по толпе.

— Кровля! — еще раз поправила устатый.

...Кем были вы? В какой борьбе,
Какие подвиги совершали? —

громко и быстро закричала Ксана, чтобы не дать времени усатому перебить ее.

Усатый обижено и шумно стал поворачивать коня. — Шо? Не нравится? — закричал ему вслед бородастый. — Какие подвиги совершали?

Шум и смех разрастались. Слезы брызнули из глаз Ксаны.

— Ничего, читай, складно выходит! — ревел конник с сердитым обмороченным лицом.

Но усатый уже выехал из толпы, нарушив порядок, кто-то последовал за ним. Все расстроилось.

Ксана бросилась в избу, проталкиваясь сквозь толпу хозяев, вышедших посмотреть, что здесь происходит. Мужики и бабы, не улыбаясь, осуждающе смотрели на Ксану и Надю.

Конники развезались, бородастый спешился и пошел след за артистками в дом, утешая их и прося прощения за товарищью, «бо шо они, скаженные, понимают, им бы трапека, то они понимают, а шо длинкатное, умственное, сучьи дети, на то у них смелки нетме».

Наде с трудом удалось выпроводить его.

Ксана сидела за печью и горько плакала.

Надя одна побежала по деревне, нашла хаты для актеров, пометила малом ворота.

ГЛАВА VI

ВСТРЕЧА ВО ТЬМЕ

Ах, как тяжело было Ксане играть в тот вечер! Она не могла забыть хохочущих конников и того позора, что испытала. Ей казалось, что теперь все красноармейцы уже знают и говорят об этом ужасном уличном концерте, о ее неудачном выступлении и смеются над ней. Она вышла на сцену с отчаянием в душе и начала свою роль, едва понимая, что говорит.

Было холодно, полутемно, пар дыхания заволакивал свет керосиновой лампы. Спектакль «Борьба за волю», самый неинтересный из репертуара труппы, шел вяло и скучно, зрители кашляли, дагали ногами, входили, выходили.

Во время спектакля стало известно, что положение на передовой тревожное.

Комиссар бригады сам пришел за кулисы и сущением предложил играть без антрактов и даже, если возможно, сократить спектакль. Он шелнул несколько слов Адоньеву, и тот распорядился, чтобы подводы труппы стояли готовые у театра. Об ужине не было и речи.

Ксана ходила по сцене, как неживая. Она ненавидела и проклинала сама себя за то, что не может повернуть ход своих мыслей, что перед ее глазами все время стоит эта ужасная картина: она перед толпой конников, растерянная, неумелая. Все конечно, казалось ей, она больше не может быть актрисой, она ничего не умеет.

И даже когда вдруг недалеко затарахтел пулемет, Ксана не взволновалась, не прислушалась, словно теперь уже ничто не имело значения.

В зале раздалась команда комбрига, красноармейцы поспешно стали выходить. Видно, нужна была немедленная подмога.

Мужчины торопливо разбирали декорации, складывали их на подводы, женщины хватали реквизит,

лампы, все, что было на сцене и что надо было сохранить для следующих спектаклей, уносили и складывали в большой раскрытый сундук, стоящий на сцене. Над ним уже хлопотала Дуса Новаковская, размещая внутри небогатое имущество труппы.

Ксана вместе со всеми вышла на улицу.

Было темно, шумно и тревожно. Испуганно ржали лошади, скрипели повозки, с разных сторон кого-то звали, сердито отдавали приказания и бранились.

Совсем близко с оглушительным грохотом разорвался снаряд. И сразу из этого грохота вырос полный страха и страдания вопль не то человека, не то животного.

Женщины бросились в темноту на этот вопль. Трудно было что-нибудь разобрать. Натякаясь на людей, на повозки, на лошадей, Ксана наконец разглядела санитаров или просто солдат, которые тащили раненых. Она и сама наткнулась на раненого; тихо аэвизгивая, он пытался ползти и падал. Ксана закричала, призывая на помощь. Раненый стонал и корчился у ее ног, она опустилась на колени и за-слонила его собой, чтобы кто-нибудь из мучущихся людей не раздвинул его. Рядом еще кто-то стонал. Ксана схватила за полу шинели пробежавшего красноармейца, остановила и с трудом упростила помощь. Они вместе подняли и потащили раненого к повозкам труппы.

— Ну куда, куда тащите? — плачущим голосом закричал кто-то из артистов. — Не видите, что ли, друг на друге уже лежат без всякой помощи; санчасть поищите.

— Где я буду ее искать? — разъяренно набросился на него красноармеец. — Сам ищи! У меня кони стоят... — И, не досказав, он приткнул раненого к другим, не обращая внимания на стоны и крики, и скрылся в темноте.

Какой-то командир негромко и деловито стал отдавать распоряжения, чтобы рассортировать скопление людей и транспорта. Около него уже суевились Адоньев, надо было узнать, что делать с ранеными. Часть из них бойцы почти бегом перенесли на подводы санчасти, которая оказалась неподалеку, остальных артисты должны были доставить в ближайший тыл.

Тем временем Ксана опять побежала туда, где стреляли, суевились люди и, как ей казалось, еще оставили на земле раненых.

Путаясь в лабиринте заборов, хат, она очутилась в каком-то дворе. Весь шум и света шли в стороне. Она рванулась назад. Мимо нее промчался человек в полушубке. Тяжело перескочив через плетень, он испуганно оглядывался и, не целясь, стрелял назад. Он почти толкнул Ксану, не заметив ее, и с удивлением она увидела знакомое лицо. Этого грузного черноволосого человека она как будто встречала с подвизками, но имени его не знала. Ей только запомнилось, что это самозабвенный, громогласный мужчина, всегда доброту одетый.

В первую минуту Ксана подумала, что он заблудился и надо ему показать, куда идти, но тут же поняла, что этот человек хочет скрыться подальше от боя, от опасного места. Мурашки побежали по ее телу. Возможно ли это? Может, он спешил наперерез врагу? Может, у него какое-то задание? Да нет же! Он просто бежал. Ужасаясь, Ксана растерянно помчалась обратно, не сгибаясь, не прячась от пуль. Какой-то солдат толкнул ее и, отчаянно ругаясь, стал устанавливать пулемет прямо на деревенской улице. Ксана вдруг услышала крики своих, ее звали все: Надя, Скворцова, Маруся, Адоньев, Клава, — все звали ее, видимо, надо было уезжать.

Она бросилась на голоса, которые отодвигались и отодвигались от нее все дальше, вновь возникали и терялись в шуме.

Задышавшись от бега, Ксана стала их догонять, пробиваясь через мешанину людей, повозок, грузовых автомобилей.

Наконец она почти настигла их, почти бежала вместе с ними, не видя их в толпе и тьме, но чувствуя, что они здесь, близко. Она слышала, как кто-то из мужчин чертыхнулся и как Клава Понсет рвалась назад, чтобы помочь раненным, и твердый мужской голос объяснял ей, что там осталась санитарная часть и что артисты обязаны выполнять приказ.

Толпа постепенно рассевалась во тьме. Артисты со своим обозом уходили по бездорожью, по почковатому мерзлому полю, чуть присыпанному снегом, с ледком в ложбинках. Неподдалеку чернел лес. Скрипели и грохотали на мерзлой земле подводы на колесах, стонали раненные.

Позади оставался шум боя, выстрелы, взрывы, ржание лошадей, крики. Там дрались красноармейцы, которые недавно смотрели спектакль.

Свернули в лес. Стрельба то отдалась и слышалась глухо, то временами смолкала. Деревья стояли высокие, ровные и таинственные, как колонны. Снег лежал нетронутый, чистый, от него шел голубоватый свет, как будто это было не на самом деле, а в каком-то сказочном спектакле. У Ксаны вдруг отожвелили ноги, она едва передвигала ими. День казался бесконечно длинным и трудным: так много всего было в этот день. И сейчас история с выступлением перед конниками показалась мелкой и глупой нелепостью. Вокруг было большое и страшное — бой, смерть, человеческая отага, и кровь, и трусость, свои и враги, и театр, и безвольная красота ночи, и голубой снег. Все было огромным и важным и проплывало, как в очарованном сне.

Шли молча, спотыкаясь, держась руками за подводы, которые с трудом находили дорогу и пробивались меж деревьями. Небо стало чуть светлеть. Просветы, едва наметавшиеся впереди, обозначили конец леса.

На небольшой полянке Адоньев остановил обоз, тихо созвал людей. Надо было послать кого-то разведать, куда идти, что там, за лесом.

Тарасов и Дмитриев отправились вперед. Несколько человек шли следом неподалеку, на всякий случай, если что случится с разведчиками. С ними пошла и Ксана. Старались идти тихо, не хрустя сучьями и снегом, не разговаривая.

Совсем близко за лесом в сером предутреннем сумраке завиделась украинская деревня с белыми хатами и палисадниками.

Тарасов и Толя стояли на опушке, прячась за деревьями, и наблюдали, не появится ли кто. Свои здесь или чужие?

Ксана издала мысленно топорила своих товарищей: «Ну что же стоите? Пусть один из вас идет в деревню. Там тихо, все спят. Что вы можете узнать издалека? Ах, если бы мне... Я быстро бы дошла до деревни, постучала в первое же окно и спросила бы у крестьян...»

Неожиданно в одной из хат открылась дверь, показалась баба с корытцем в одной руке и двумя пустыми ведрами в другой. Она поглядела на небо, зевнула, постояла, послушала и поплелась к колодцу.

Тарасов сделал знак Дмитриеву, чтоб он стоял на месте, а сам быстро пошел навстречу бабе. Она увидела его и совсем не по-настоящему, а так, как

играют плохие актрисы, присела, бросила ведра и корытско, развела руками и вдруг побежала назад без оглядки.

— Мать, стой! — негромко позвал Тарасов.

Дмитриев вынырнул из-за деревьев и побежал перехватить женщину, но она взвизгнула и исчезла в избе.

Ксана, волнуясь, заторопилась к опушке. Она увидела, как Тарасов решительно двинулся вперед, на миг обернулся к Дмитриеву и помахал ему рукой, чтоб тот стоял на месте.

И Ксана разом поняла все.

Под расслабнувшейся шинелью Тарасова блеснули нашивками полицейский мундир. Борода и усы выдавали солидного, опытного городского, которого играл Тарасов в «Борьбе за волю». Он не успел переодеться и разгримироваться и забыл об этом.

Толя Дмитриев фыркнул, прикрыл рот рукой.

— Она полицейского испугалась! — издала крикнула Ксана, толкая от радости ногами.

Тарасов сообразил. На ходу он сбросил шинель, скинул с себя прямо на снег мундир полицейского, и в одной красноармейской рубашке, срывая на ходу перик и бороду, открыто побежал к избе, в которой скрывалась баба.

Все зашевелились и, уже не прячась за деревьями, смотрели вперед. Ксана и Толя Дмитриев бросились подбирать мундир, парик.

Адоньев повернул в лес к подводам и, махая рукой, закричал:

— Эй, кто там, товарищи, выводи подводы, в деревне свои!

ГЛАВА VII

ВЬЮГА

После двухдневной стоянки выехали к вечеру, когда уже начался поземка. У хат, у плетней она наматала новые пухлые сугробы и тут же, пока полозья саней не успели примять их, вздымала, кружила и развела по ветру.

При выезде из села со свирепой силой рванул вихрь, на улице завывало, загудело, как в большой трубе. Вьюга усилилась. Лошадей сразу облепило снегом.

— Надо бы переждать, — нерешительно сказал Сковорода, шагая своими длинными ногами рядом с обозом.

— Доедем. Недалеко, — уверил Адоньев и бросился вприпрыжку за санями, стараясь полущее натянута одеяло на и так укутанную с головой Клаву Понсет.

— Доедем! — звонко откликнулась со своих саней вся «Зойкина коммуна».

Подводчики быстрее погнали лошадей, пешие покакивали на сани, обоз заскользил по снежной дороге.

Настроение у всех было приподнятое. Только что, перед выездом из села, артисты сидели в большом классе деревенской школы, на полу, устланном соломой, и топили кем-то поставленную времянку. Было тепло, вкусно пахло мажоркой. Железная печурка накалилась докрасна, любители поджаривали на ней сухари и громко хрустели ими.

С минуты на минуту ждали приказа о выезде.

Из штаба, стоявшего в близком селе, пришла мо-лодежь; они всегда навещали артистов, когда ока-

зыблись близко, особенно Надю и Ксану. С морозца уселось погреться. Надя хлопнула в ладоши, азартно, с цыганской удалой задела:

Эх, расползлся серый козь мой, расползлся,
Эх, расползлся, да хорошился мой...

И сразу как будто ударили в бубны, стало шумно, весело. И пошли песни одна за другой.

В углу спокойно всхрапывал старик Романов, укрытый с головой шинелью. Возле него сидел Толя Дмитриев, зашивал драгтой венок и тихо, под нос мурлыкал татарский напев.

Маруся Емельянова, несмотря на голоса и шум, вела со Скорцовым лишь им одним понятный разговор. В нем заключались какие-то воспоминания, намеки, поучительные истины, упреки, формулы разных житейских правил. И хотя Маруся говорила рассудительно и сдержанно, в ее голосе проскальзывали трагические нотки, на бледном лице выступил румянец. Скорцов тщетно старался перевести разговор на шепот.

Надеясь, что в этой обстановке на него никто из обратит внимания, высокий блондин Савва Толстов, штабист, неотрывно искоса смотрел на Ксану и, встречая ее взгляд, сильно, до пота краснел. Ксана делала вид, что не замечает этого, но костюмерша Дуся Новоказовская все время подталкивала Ксану и шептала ей, чтобы она поглядела на Савву. Все это слышали и смеялись, смеялась и Дуся, ее простое чистое лицо становилось розовым, тонким; она прикрывала его руками, на них красиво ложилась скобка ее пепельных подстриженных волос.

Клава Понсет в уголке шепталась с Адоньевым, остальные люди не входили в поле зрения Клавы. Только с Ксаной и Надей она иногда любила поговорить о поэтическом или еще, как она выражалась, о трансцендентальном, а проще говоря, о снах, поверьях, предчувствиях, обо всем непонятном. Остальное ей было скучно.

А Жойке всегда было весело. И здесь она лезла по полу, собирая для пещки солому, шагала через всех, измятая, растрепанная, с соломинками в своих черных пышных кудрях, и вместе со всеми пела.

...И вот уже школа с ее жаркой пещкой позади. Быстро мчится обоз по снежному полю. Ничего вокруг не видно: кружится, метет вьюга, жутковато воет.

Артисты громко перекликаются с саней.

— Ого-го-го-го!

— Кто на последней! Следи за обозом!

— На-а-а-а!

— Смотрите по сторонам, чтоб волки...

— Я ту-у-у!

— Мар-ру-у... — заносит вьюга слова, леденеют они, ломаются надвое, разбиваются вдребезги.

Плотный пар летит над обозом, оседает белым махровым узором на лицах, на воротниках. Тяжело вздыхают лошади.

Ну же и пляшет в полях метель! То в одну сторону заметет, то в другую, кверху взвивается, по земле стелется, буינו пляшет, не дай бог с ней в поле повстречаться: разиграет до смерти.

Всем и жутко и весело. Даже спокойный Сорокин взбудоражен вьюгой, он долго окликал кого-то, укал филином, теперь громко декламирует стихи, сидя один на санях.

Ксана аттлаывается в белую муть, — если долго так глядеть, кружится голова. Длинные шлейфы метут своим кружевом землю. Влетит шлейф кверху, и кажется, что не земля чернеет внизу, а вода: кипит огромное озеро, бушуют на нем пенные волны. Глаз не оторвать.

И Ксане тоже хочется что-то кричать в эту белую кипень, и махать руками, и петь. До чего же зачаровывает и дурманит эта вьюжная ночь! Радостно Ксане и страшно до жутки. Она отбрасывает ковер, которым они с Надей укрыты, сползает на край сани и вместе с вьюгой бормочет, поет и кричит, будто закликает, будто заговаривает:

Войте, волки,
Войте, вьюги,
Гуше, муть!
Заплетите, звезды, туго
Млечный Путь!
Лягай зубьями,
Костлявый
Дед-Буран,
Вой, волчиха,
От кровных
Черных рая,
У обугленных амбаров
Плещет тень,
Слон стоит у погоревших
Деревьев.
К слуху мертвому припала
С криком мать.
Вудут вьюги хоронить
И горевать,
Хороводом, звездным хором
Вигурт луны.
Все преграды, все аборы
Сожжены.
Ветер знамя огневое
Рвет из рук.
Волчья стая стала, воя,
В полукруг,
Люди, люди! В стаю — градом
Из саней!
Будем биться, будем драться
До конца...

Надя хохотала.

— Колдунья! — кричала она. — Наша Ксана колдунья! — И пела что-то быстрее, цыганские: 3-гей! Тары-бары, тары-бары, Ка-то-га...

С соседних саней тоже прорывались песни и то-нули в снегах.

Возница вдруг оглянулся и свистнул что есть мочи долгим свистом — мороз по коже! И этот свист словно напомнил о чем-то, словно насторожил: такое ли еще может быть!

Сразу же стало затихать. И скоро только скрипели полозья да выл ветер. Будто и не было этого дурманного веселья. Только вдруг прорывался тоненький голосок Толи Дмитриева — он тянул свою татарскую песенку без слов.

— Заворачивайся в ковер, — сказала Надя, — замержнись. И что это ты колдовала?

— Сама не знаю, — вдруг ответила Ксана. — Это такие стихи у меня сочинились. Даже устала.

Она завернулась в ковер и улеглась. Сани раскачивались на скользящей дороге — влево-вправо, влево-вправо; Ксану сначала это пугало, потом стало успокаивать.

Надя натянула на себя одеяло, поджала колени к подбородку и тоже задремала...

Ксана открыла глаза и никак не могла понять, где она. Было светло и бело вокруг. Тишина стояла удивительная. На молочном небе лежал бледно-розовый ответ.

Прямо над Ксаной свешивались тяжелые еловыя лапы с толстыми горбиками чистого белого снега. Она повернулась, под ней закрипел снег. Что это? Где она? С трудом высободилась из тяжелого ковра. Встала.

Наезженная и уже приспанная снегом дорога. Бескрайняя снежная равнина с одной стороны, с другой — лес. Ни души кругом. Она одна.

«Господи! Да как же это случилось?» Страх овладел Ксаной. Видно, во сне выкатился из саней, обоз ушел. Она лежала здесь на снегу и спала. А если бы вдруг волки?

Ксана побежала по дороге, только сейчас почувствовала, как она замерзла, как холодно спине и как страшно ей. Но тут же вернулась. Нельзя же оставлять ковер. Это — имущество труппы. Она попыталась нести его, но было невероятно тяжело. А из лесу каждый миг могли показаться волки. Их много в лесах. И люди. Какие люди? Враги?

Ксана торопливо раскатала ковер и поволокла его по дороге. Страх, страх, один страх владел сейчас ею. Она бежала, с трудом тащила ковер и до боли в глазах и ушах вглядывалась в поле, в лес и вслушивалась. Иногда мерещилась черная точка вдали, дыхание ее останавливалось. От напряжения у нее свело шею и плечи. «Не добегу, не добегу, — думала она, — сердце разорвется. Что делать?»

Задышась, она остановилась; нет, не может она дотащить ковер. Без этого проклятого ковра она добежала бы до деревни. Ее охватило такое сильное волнение, что она не могла ничего сообразить, металась возле ковра, оглядывала дорогу, лес, снова хваталась за ковер.

В отчаянии Ксана села на ковер и застонала. Собственный голос, прозвучавший в тишине, привел ее в себя. Она заставила себя встать, оглядеться, отверла лицо руками и громко сказала:

— Трус!

Она не сказала «трусиха», это было бы не так оскорбительно; ей надо было обидеть себя сильно, чтоб опомниться.

Потом она стала командовать собой:

— Спокойно стоять, отдышаться! Так! Раз-два, левой!

— Взять ковер и не спеша тащить его. Отдыхать, когда устанешь!

— О волках не думать! Дура!

А в голову между тем лезли разные мысли. Надя, наверно, уже заметила и что-то предпринимает... Может быть, все-таки оставить ковер и потом приехать за ним?... Глупости! Труппа уже уехала за двадцать верст. Еще надо искать ее, когда же возиться с ковром? Вот тебе веселье, вот тебе колдовство! И никто не заметил, как она упала с саней...

Вдруг ей стало смешно. Как это она умудрилась упасть и не заметить. Крепко спала. Вот так спала!

Ксана громко смеялась. Смеялась до слез. Вот так спала!

Все! Хаатит! Ничего смешного! Просто глупо. Спокойно тащить ковер. Не спешить! Хорошо дышать!

Она шла, согнувшись, двумя руками волокла по снегу ковер, скользла и спотыкаясь, останавливаясь, чтоб передохнуть и вытереть пот с лица, — он заливал ей глаза. Иногда ей казалось, что она сейчас похожа на лошадь, и она опять потихоньку смеялась. Потом она как-то приспособилась и шла ровно и

долго, не глядя по сторонам, стараясь ни о чем не думать и только удивлялась голубому, розовому, зеленому, фиолетовому сверканию снега. Словно в снегу были разбросаны осколки зеркала.

Этому пути не было конца. Стоило поднять лицо — и впереди по-прежнему виднелась белая равнина. Только она чуть порозовела. Ни деревни, ни хаты, ни человека.

Ксана чувствовала, что дух ее слабеет. Еще немного, и отчаяние снова овладеет ею. Она так старалась держать себя в руках, но это не может долго длиться. Ей же страшно, страшно! Вдруг волки! Они выходят по утрам. Вдруг здесь банды. Кулаки, которые скрывают в лесах лошадей и сами прячутся от войны. Да она уже и устала, вся мокрая от пота, и лицо болит, она все время отирает глаза рукавицей. И просто она уже не может удерживать слез. Она горько плачет.

Опять сверкают осколки. Их все больше. Скрипит снег. Шуршит тяжелый, отарганный, проклятый ковер. Тихо и тихо кругом. Лес, лес с одной стороны, с другой — поле. Хорошо, что нет выгои.

Вот это неожиданность! Оказывается, дорога раздвигается. Хоть и намело снега, но все же видно: одна так и идет прямо, другая сворачивает в лес.

Ксана долго стоит у лесной дороги. Она широкая, свежая, не так давно здесь проехала. Может быть, сюда свернуть? Ведь впереди на прямой дороге ничего не видно: лес и поле.

Отчаяние ведет Ксану. Она сворачивает в лес. Но здесь еще страшнее: лес с двух сторон. Нет, надо вернуться, вернуться! Назад, скорей назад! Пока развернешь этот чертов ковер! Но стои! Что-то виднеется впереди. Хата! Хата! Еще хата!

Ксана плачет и хохочет громко, не стыдясь. Деревня! Какая бы ни была, но здесь люди!

Она бежит и тянет за собой ковер. Она даже не чувствует, тяжел он или нет.

Деревня. Тихо. Люди спят. Но еще издали Ксана видит сани с везицами. Обоз! Обоз! Лошади, очевидно, в сараях. Люди в хатах.

Ксана, задышавшись, подтаскивает ковер к саням. Вот она даже находит свои сани. Те самые, с которых свалилась. Кое-как заваливает на них ковер. Отирает пот с лица. Черт знает, что с ней было! Как это могло случиться! Но теперь все хорошо, все прекрасно! И она сама молодец, дотащила все-таки. Не такая уж трусиха. Не такая... Надо таперь войти в какую-нибудь хату и лечь спать. В любую хату. Тихонько войти и лечь спать. Никто, наверно, в темноте и не заметил, что произошло. Тем лучше! А Надя? Видно, задремала, проснулась уже в деревне. И решила, наверно, что Ксана зашла в первую попавшуюся хату и свалилась от усталости.

Очень хорошо! Тем лучше. Спи, милая Надюша! Ничего не случилось. И ковер на месте, и я сейчас буду спать на печке. Или на лавке. Ничего особенного не случилось...

(Продолжение следует.)





ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО ЖИЗНИ

В № 6 «Юности» за 1962 год была опубликована статья академика М. Алпатова «О живописи импрессионистов». Она явилась ответом на письма наших читателей, в которых содержались просьбы рассказать о французских художниках-импрессионистах. Но получилось так, что статья М. Алпатова вызвала новый поток писем, новую волну вопросов. Читатели просили уже подробнее рассказать о таком сложном и значительном явлении мирового искусства, как живопись импрессионистов.

Известно, что сторонники абстракционизма и формализма ведут атаки на реализм. Они вслестни пытаются доказать, что это метод узкий, ограничивающий возможности художников, исчерпанный до конца.

Но понятие реализма — понятие сложное, богатое и живое. Подлинный реализм использует достижения многих прогрессивных течений в живописи. Нашей живописи близки и дороги традиции и старых фламандцев, и русских передвижников, и французских импрессионистов.

В одном из выступлений, посвященных критике модернизма и абстракционизма, в статье художника Б. Иогансона, справедливо говорилось о единстве и близости этих традиций. Почему, спрашивал Б. Иогансон, нужно расхваливать модернизм, «когда существуют величайшие произведения мирового искусства, когда существуют замечательные произведения и импрессионистов и постимпрессионистов в лице Сезанна, когда существуют традиции наши, русские?»

Это сближение закономерно. Импрессионизм, как и всякое подлинное искусство, создавал радостный и гармоничный мир («живописцем счастья» назвал Ренуара А. В. Луначарский), был полон уважения и сочувствия к простому человеку, наконец, был громадным шагом и реализму от ложного классицизма и приукрашивания действительности: он показывал реальное солнце, реальное небо, рисовал жизнь как она есть.

Конечно, импрессионизму была свойственна известная ограниченность — социальная и тематическая, но не случайно именно филистерствующие буржуа встретили живописи импрессионистов в штыки, как явление демократическое для своего времени.

Обо всем этом рассказывают публикуемые нами главы из готовящейся и печати новой книги писателя Л. Волынского «Зеленое дерево жизни», посвященной французской живописи конца XIX — начала XX века, Л. Волынский — автор известной читателям «Юности» книги о русских художниках-передвижниках «Лицо времени», напечатанной в №№ 1, 2 и 3 «Юности» за 1961 год.

ГЛАВА I

НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО

Не помню, в какой именно из пятидесяти трех гитлеровских могил были погребены эти шесть картин. Помню лишь, как они стояли, уже возвращенные к жизни, вместе с другими в двухэтажном пустынном зале в Пильнице, загородной резиденции саксонских королей.

Из Дрездена в Пильниц ведет неширокая лесная дорога, живописная и чуть таинственная, как все лесные дороги Саксонии. Должно быть, в дворцовом парке летом по-прежнему цветут крупные темно-багровые розы, сухо поскрипывает под ногами гравий дорожек, уютно шелестят листвою каштаны и старые липы. И по-прежнему тихая Эльба лениво плещется у шершавых гранитных ступеней, уходящих от восточного фасада вниз, в зеленоватую глубину реки.

В мае 1945 года это место было выбрано командованием фронта для сосредоточения спасенных картин Дрезденской галереи. У въездных ворот круглосуточно стоял караульный. Батальонные полуротки и трехтонки на малой скорости въезжали во внутренний двор, и наши саперы бережно вносили картины в просторный зал с колоннами, где работали специалисты, прилетавшие из Москвы и Ленинграда.

Картины здесь прежде всего «раздевали», вынимая из лепных позолоченных рам. Их осматривали неторопливо и тщательно, накладывая предохраняющие наклейки на поврежденные сыростью места. Их готовили в дальний путь, на длительное лечение — в Москву; оттуда им суждено было вернуться обратно через десять лет здоровыми и невредимыми.

У каждого любящего живопись человека найдется, наверное, одна или несколько особенно любимых картин, с которыми чувствуешь себя как бы сроднившимся. Для меня такими стали многие картины Дрезденской галереи, быть может, именно потому, что я встретился с ними не в мирной тиши музеев, а в последнем дыму войны, в минированных тоннелях, полузаполненных штылями и, наконец, в этом большом двухсветном зале, где они стояли вдоль стен — запысто, без пышных золоченых одежд, белые бинтами-наклейками, как солдаты после боя.

Вот такими, стоящими в тех рядах, и запомнились шесть картин, с которых начался мой рассказ. Шесть картин из более чем полутора тысяч возвращенных к жизни. Шесть имен: Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван-Гог...

Никто тогда в Пильнице не удивлялся, что они стоят в одном строю с холстами Рембрандта, Веласкеса, Рафаэля, Тициана, Риберы. Удивительно было другое: как могли они уцелеть?

В 1853 году Наполеон III («Наполеон Малый», как окрестил его Виктор Гюго) в приступе бессильной ярости ударил хлыстом по картине Гюстава Курбе «Купальщицы». Спустя восемьдесят с лишним лет бесноватый ефрейтор изгнал из музея Германии продолжателей дела Курбе — тех, кого принято называть французскими импрессионистами.

Что же, собственно, привело в такую ярость диктаторов, коронованного и некоронованного? Что опасного увидел «Наполеон Малый» в картине Курбе? Чем грозили «Третьей империи» пейзажи Моне, Писсарро, Сислея, Сезанна, Ван-Гога, портреты кисти Ренуара, Эдуарда Мане, холсты Поля Гогена или пастели Эдгара Дега?

Пройдите по залам Эрмитажа или московского Музея имени Пушкина, окиньте взглядом картины этих живописцев. Вы увидите поля, луга, реки Франции, улицы и площади ее городов, весну, осень, солнце, дымку тумана, блеск моря, цветы, сияние человеческой улыбки. Вы увидите искусство человеческое, простое, веселое, иногда задумчивое, но никак не угрожающее. «Куда уж безобиднее!» — быть может, подумаете вы.

Но в том-то и дело, что «безобидного» искусства нет и не может быть. Нет и не может быть искусства вне общественной жизни, вне столкновений добра и зла, вне борьбы, потому что искусство само по себе есть борьба, и каждый художник, хочет он того или не хочет, занимается в этой борьбе свое место — по ту или иную сторону баррикад.

Эта простая мысль — необходимое звено в цепи моих размышлений, точно так же, как само творче-

ство замечательных живописцев, о которых я хочу рассказать, есть необходимое звено в неразрывной цепи человеческой культуры. В той драгоценной цепи, звенья которой куют все народы земли.

РОЖДЕНИЕ СЛОВА

Весной 1874 года группа художников, чьи картины вот уже много лет отвергались официальным Салоном, устроила собственную выставку в центре Парижа, на углу бульвара Капуцинок и улицы Дону. Инициаторами устройства выставки были семь малоизвестных тогда живописцев. Вот их имена: Клод Моне, Огюст Ренуар, Камилл Писсарро, Альфред Сислей, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Берт Моризо.

Это были люди зрелого возраста (старшему, Писсарро, шел 44-й год, младшей, Моризо, — 33-й) и очень разные по своему характеру. Очень разные, но в то же время объединенные ненавистью к фальши официального искусства и решимостью искать правду, невзирая на трудности.

За плечами у этих людей лежали долгие годы борьбы в одиночку, долгие годы упорного труда и лишений. Большинство из них (не считая Дега и Моризо) были настолько бедны, что нередко нуждались в куске хлеба. У них не было денег, чтобы снять помещение для выставки. Благо разбогатевший фотограф Надар предоставил им бесплатно свою галерею-мастерскую на бульваре Капуцинок.

Поначалу родилась идея так и назвать возникшую группу — «Капуцинка» (настурция). Это придумал Дега, предлагая использовать цветков настурции в виде эмблемы на афишах выставок. Но предложение не было принято. Большинство группы опасалось названий, которые могли быть неверно истолкованы или применены ко всем как общая кличка. Тем не менее за названием-кликчей дело не стало. Двери галереи Надара открылись 15 апреля, и уже через десять дней в сатирическом листке «Шаривари» появилась статья журналиста Луи Леруа под заглавием «Выставка импрессионистов».

Слово «импрессионизм» стало с течением времени ходовым, общепринятым, хоть и не всегда понятным (и далеко не всегда применяемым верно). Тогда, в 1874 году, это было даже не слово, а словечко, избретенное понаторевшим в насмешках журналистом, чтобы больнее уязвить художников.

Непосредственным поводом к «изобретению» послужило название одной из картин, показанных на выставке.

Это был пейзаж Клода Моне, написанный за два года до выставки, когда художник жил в Гавре. Пейзаж был написан из окна гостиницы, обращенной фасадом к порту.

Если вы наблюдали туманным утром восход солнца над рекой или морем, то наверняка обратили внимание на впечатляющий живописный эффект, когда поднимающийся над горизонтом четко очерченный багровый шар висит в молочном-сизой дымке, бросая на воду алые отсветы. Должно быть, зрелище Гаврского порта, увиденное Клодом Моне в такой час, произвело на него сильное впечатление: лес корабельных мачт, ступенчатые контуры портовых кранов, черные лодки, зыбкий туман... Чтобы написать такое с натуры, сохраняя свежесть впечатления, надо было работать необычайно быстро — смелой, не знающей колебаний рукой. Так и был написан этот пейзаж — будто единым дыханием.

Когда у Моне спросили, как назвать картину в каталоге выставки, он ответил: «Впечатление». Эдмон Ренуар (брат Огюста, художника), занимавшийся составлением каталога, прибавил еще два слова — «Восход солнца». Таким и осталось название этой картины («Impression. Soleil Levant») — название, давшее повод насмешнику Леруа пустить в обращение новое слово.

Если попытаться подобрать русское соответствие этому слову, то можно сказать, что Леруа назвал новую группу «впечатленцами». Этим определением до сих пор пользуются и доброжелатели и недруги. Из дальнейшего, я думаю, вы поймете, насколько закономерно такое определение. Пока же вернемся к первой совместной выставке — к апрелю 1874 года.

Надо сказать, что Луи Леруа был не одинок в своих издевательских нападках. «Чрезвычайно комическая выставка»... «Страшная мазня»... «Сумасбродство»... такими выражениями пестрели статьи в газетах и журналах.

Так говорили о картинах, многие из которых украшают теперь лучшие галереи мира.

Когда будете в московском Музее имени А. С. Пушкина, посмотрите пейзаж Камилла Писсаро «Пашня». Небольшой пейзаж с живо написанным серебристым небом, кофейно-коричневой землей, с буровой, переливающейся листвою на ветках полугаких деревьев, с чуть пробивающейся зеленью на взгорке. Не много, пожалуй, найдется картин, где так поэтично, свежо и так колдовски просто было бы передано безмолвие пробуждающейся природы. Этот пейзаж был представлен на той самой выставке, о которой идет речь, и вот что писал о нем все тот же Луи Леруа, сочинивший свою статью в виде диалога с неким Жозефом Винсентом, художником-пейзажистом:

«...спокойно, с самым невинным видом я подвел его к «Вспыхающему полю» господина Писсаро. При виде этого поразительного пейзажа бедняга подумал, что стекла его очков загрязнились. Он тщательно протер их и снова водрузил на нос.

— Клянусь Мишланоми! — воскликнул он. — Что это такое?

— Вы же видите... Белый иней на глубоко вспаханных бороздах.

— Это вы называете бороздами? Это вы называете инеем? Да ведь это поскребки с палитры, брошенные на грязный холст! Тут ничего не разберешь. Где хвост, где голова, где верх, где низ, где перед, где зад».

...Такие примеры «коллективной слепоты» сами по себе знаменательны. Но для того, чтобы по-настоящему вникнуть в причины всеобщего непонимания, надо вернуться к тому времени, когда Моне, Писсаро и их друзья еще только начинали свой трудный и славный путь.

ГЛАВА II

«САЛОН ОТВЕРЖЕННЫХ»

В 1863 году почти одновременно произошли события, как будто вовсе не связанные между собой и тем не менее имеющие глубокую внутреннюю связь.

В Петербурге взбунтовались учащиеся императорской Академии художеств: они отказались писать

конкурсную картину на мифологический сюжет. В столице Франции произошли волнения среди художников, вызванные действиями жюри ежегодной весенней выставки — так называемого парижского Салона (жюри на этот раз отклонило около семидесяти процентов представленных картин).

В официальной газете «Монитор» появилось следующее сообщение:

«До императора дошли многочисленные жалобы по поводу того, что ряд произведений искусства был отвергнут жюри выставки. Его величество, желая предоставить широкой публике самой судить о законности этих жалоб, решил, что отвергнутые произведения искусства будут выставлены в другой части Дворца промышленности. Выставка эта будет добровольной, и художники, не пожелавшим принять в ней участие, достаточно лишь сообщить администрации, и она немедленно вернет им работы...»

Многие приняли неожиданное сообщение с удивлением и радостью. Но люди проницательные не удивлялись и не спешили радоваться.

Выставку, о которой шла речь, официально называли «Дополнительной выставкой экспонентов, признанных слишком слабыми для участия в конкурсе награжденных». Она открылась 15 мая и вскоре получила из уст посетителей куда более краткое и выразительное название: «Салон отверженных».

Многие опасения, связанные с этой выставкой, сбылись. «Наполеон Малый» понимал, что делает. Как и следовало предполагать, живописцы робкие и покорные отказались участвовать, поняв содержащийся в сообщении намек и опасаясь испортить отношения с всепильным жюри и Академией. Что же касается строптивых и решительных, то они были отданы на посмеище пафод до скандалов толпы парижских буржуа, вкусы которой «Наполеон Малый» знал очень хорошо.

Если аристократическая знать Франции была воспитана на классическом идеале, то новоявленная денежная знать оказалась куда менее изысканной в своих вкусах. Парижские буржуа восхищались слащавыми полотнами, где, по словам Эжена Делакруа, не было ни крупицы правды, правды, идущей от души. «Чувствительные» истории, религиозные и ложнопатриотические сцены, хорошие обнаженные натурщицы — вот что было тогда в цене и в ходу. Выдающийся живописец Франции Энгр презрительно называл Салон лаской, где вместо искусства царит коммерция.

Хотелось бы напомнить, что распространенное понятие «салонный» (то есть поверхностно-эффектный) возникло именно на почве парижского Салона, где серьезное и глубокое искусство было не в почете.

Особенную ярость публики и газет вызывал холст, числившийся в каталоге под названием «Кулани», Это и была ставшая впоследствии знаменитой картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве».

Теперь, когда эта картина висит в Лувре среди других прекрасных произведений живописи, трудно представить себе, какой скандал она вызвала при своем появлении. Наполеон III назвал ее «неприличной». Газеты и публика не замедлили присоединиться к этой оценке.

Конечно, сюжет картины был несколько необычен и мог привести в замешательство лицедеев; гот как язвительно писал тогда английский критик Хэммон в «Квартальном обзоре» изысканий искусств:

«Я не могу умолчать о примечательной картине реалистической школы, которая перенесла замысел Джорджоне в современную французскую жизнь. Джорджоне удачно задала солский пейзаж; там

¹ Живописец-классицист.

мужчины были одеты, дамы же нет, но сомнительная мораль картины испугалась ее превосходным цветом... Теперь какой-то жалкий француз перевел это на язык современного французского реализма, увеличил размер и заменил ужасными современными французскими костюмами изящные венецианские. Да, вот они расположились под деревьями, — главная героиня совершенно раздевается... вторая женщина в рубашке выходит из маленького ручейка, струящегося рядом, и два француз в фетровых шляпах сидят на очень зеленой траве с выражением глупого блаженства на лицах. Есть там и другие картины подобного же рода, которые приводят к заключению, что нагота, изображенная вульгарными людьми, неизбежно выглядит непристойной.

Как известно, лицемеры всех времен и народов склонны видеть лишь то, что хотят увидеть. Ханжам и моралистам 1863 года почему-то не казалась непристойной соблазнительная «Венера» Александра Кабanel, выставленная в официальном Салоне. Молодой Эмиль Золя, горячо вступившийся за картину Мане, справедливо отметил, что в Лувре имеется очень много холстов, где изображены нагие и одетые люди: никого это, однако, не корбило, не возмущало. Люди, восхищенные ахавские перед «Сельским концертом» Джорджоне, готовы были уничтожить Эдуарда Мане — вот довольно определенное доказательство того, что дело тут было не в сюжете, а в решительной новизне самой живописи.

В строках мистера Хамертон ясно сквозит недовольство «реалистической школой», «ужасными современными костюмами», «кошачьей зеленой трезостью». В картине Эдуарда Мане все было поощенной общественному вкусу: дерзость замысла, смелость кисти, отказ от гладкого академического письма, смелость красок...

То, чего не могла и не желала увидеть публика, очень хорошо поняли молодые художники. Эдуард Мане, осмеянный в «Салоне отверженных», стал центром притяжения всех бурлящих и бунтующих сил, в то время как бездарный Кабanel, чья слазавая «Венера» была куплена самим императором, получил ленточку Почетного легиона и звание академика.



К сожалению, в наших музеях очень мало картин Эдуарда Мане. Два холста из Музея имени А. С. Пушкина могут быть скорее названы этюдами: хотя в них видны присущая Мане легкость кисти, блистательная точность мазка и прозрачность красок, они все же не дают представления о выдающейся роли, какую сыграл этот художник в современном искусстве.

О таком живописце трудно рассказывать словами. И тем не менее рассказать необходимо.

Когда Мане писал «Завтрак на траве», ему было тридцать лет с небольшим. Как ни странно, он считался учеником салонного живописца Кутюра, в мастерской которого провел шесть лет. В то время трудно было рассчитывать пробиться к известности, минуя Школу изящных искусств; ведь именно здесь решались судьбы художников: медали, Римская премия, приобретение картин государством... Эдуард Мане отдал шесть лет школе, надеясь пройти по этим ступеням, но надежды не оправдались. Он не получил ни медалей, ни Римской премии, дающей право на поездку в Италию.

Мане ушел из Школы изящных искусств, благо в Париже существовало немало других мест, где можно было поучиться. Были многочисленные «академии» (так назывались мастерские, где желающие могли за небольшую плату работать под наблюдением опытного мастера, а то и без наблюдения). Были Лувр и Люксембургский музей, где молодые художники копировали полюбившиеся картины, аникая в тайны мастерства. Были, наконец, десятки кафе, где по вечерам встречались художники, писатели, поэты и журналисты.

Атмосфера свободы и непринужденности, царившая в этих кафе, помогала живому общению. Здесь сталкивались мнения, до конца выяснялись взгляды, рождались дружеские связи. Здесь искали и находили единомышленников, а может ли быть что-либо важнее для молодежи, вступающей на путь борьбы?

Одним из таких мест был «Кабанок мучеников», где звучали пылкие речи в защиту прав молодого поколения строить новое искусство, посвященное правде.

Но Эдуард Мане покинул сторонники чересчур горячих собраний: он все еще надеялся на официальный успех и остерегался компрометировать себя в компании явных бунтарей.

Он упорно работал. Изучал живопись Веласкеса, Гойи. Наконец в 1861 году ему повезло: две его картины оказались принятыми в Салон, и одна из них — «Испанский гитарист» — имела такой успех, что была даже перевешена с задворков на центральное место и удостоилась почетного упоминания.

Вперед, однако, маячил скандал с «Завтраком на траве». Мане суждено было испытать всю шаткость официального успеха.

После «Салона отверженных» он должен был понять, что в одиночку бороться невозможно. Но противоречивость характера не раз мешала ему твердо определить свое место в борьбе.

Сын богатых родителей, честолюбивый и своиразный, он никогда не мог избавиться до конца от пренебрежения людьми другого социального круга и порою отталкивал искренно тянувшихся к нему. В то же время талант, ум и живая страстность мысли заставляли забывать о его недостатках.

Многое в нем удивляло. Ищущий новых путей в искусстве, он в то же время настороженно относился к тем, кто решительно ломал традиции. Ненавидящий фальшь салонной живописи, он вместе с тем откровенно завидовал Карлосу Дюрану, получавшему за салонные картинки награды и почести.

При всем том именно Эдуарду Мане суждено было стать центром, вокруг которого собирались новые силы.

В 1863 году он написал картину, которая снова сделалась предметом скандала и яростных нападков. Это была «Олимпия», выставленная в Салоне 1865 года, а теперь хранящаяся в Лувре.

После волнений 1863 года «Наполеон Малый» вынужден был пойти на некоторые уступки, облегчающие доступ в Салон. Жюри стало чуть снисходительнее, но критика — нисколько. Перед новой картиной Мане толпились возмущенные зрители, а газеты называли ее нелепой пародией.

На цветной вкладке публикуются репродукции картин французских художников-импрессионистов, о которых идет речь в книге Л. Волынского «Зеленое дерево жизни».

Как и «Завтрак на траве», «Олимпия» была по своему сюжету будто бы и не нова. Композиция картины откровенно напоминала тиданскую «Венеру». И снова — как в случае с «Завтраком на траве» — «классичность» сюжета была словно призвана именно для того, чтобы подчеркнуть своеобразно земliness и сделать еще ошущеннее содержащуюся в картине новизну.

Результатом всего было то, что на месте античной богини любви оказался, как выражались тогда, «блудливый прачка» (Батиниоль — квартал Монмартра, где находилась мастерская Мане). Разъяренные критики, прозвав так «Олимпию», желали выразить крайнее порицание художнику, посмевшему изобразить париканку из простонародья, как принято было изображать лишь обитателей мифического Олимпа.

Исполком веков Венера почиталась как идеал красоты. Смысл новой картины Эдуарда Мане был ясен до прозрачности. Нерождался новый эстетический идеал, и художник открыто призывал искать красоту не в далеком прошлом, а в сегодняшней жизни.

Вот с чем никак не могли смириться просвещенные мещане. Кажется, ни одна картина не вызвала такой ненависти и насмешек. Всеобщий скандал, назвавшийся с «Завтрака на траве», достиг здесь вершины. На художника ополчились едва ли не все газеты, от него отворачивались знакомые. Один из «искусственных» критиков писал в журнале «Ла Пресс»: «Публика толпится, как в море, перед смердящей «Олимпией» господина Мане».

Не много нашлось в Париже людей, сумевших оценить «Олимпию» и понять, что своей картиной художник призывает взглянуть на «вечно прекрасное» глазами современного человека. Среди этих немногих был Эмиль Золя, написавший в газете «Эвэнман», что «место господину Мане в Лувре уже обещено». Понадобилось, однако, более тридцати лет, чтобы это пророчество сбылось.

Между тем сам художник чувствовал себя преисполненным под ударами и насмешками, сыпавшимися на него со всех сторон, и решил на время уехать. Его давно привлекала Испания, и он отправился туда, но вопреки намерениям пробыл там всего две недели. И, как ни странно, не написал по возвращении ни одной картины, посвященной Испании (хотя испанская тема издавна привлекала его). Вскоре стало ясно, что он привез горячее стремление запечатлеть современную жизнь своей родины с такой же правдивостью, с какой запечатлели ее великие живописцы Испании — Веласкес и Гойя.

СОЗВУЧИЕ

Когда Эдуард Мане шел на открытие Салона, где была выставлена «Олимпия», несколько попавшихся настречу знакомых горячо хвалили его морские пейзажи. Мане принял это за глупую шутку (морских пейзажей он пока еще не писал), но, войдя в зал, убедился, что шутки тут не было.

По принятым правилам, картины художников развешивались в алфавитном порядке, и Мане увидел, что по соседству с его «Олимпией» висят две картины — действительно морские пейзажи, — подписанные «Моне».

Самолюбный до ребячливости, он стал жаловаться друзьям, что его поздразняют только за не принадлежащие ему работы. Он усматривал в этом насмешку. Возможно, раздражение помешало ему разглядеть, каковы были эти работы.

Но многие другие разглядели: в газетах появилось несколько самых лестных отзывов о живописце, вчера еще никому не известном.

Такое начало может показаться необыкновенно благополучным, если не знаешь, что предшествовало этому дню и что последовало за ним.

Клод Моне, которому тогда было двадцать пять лет, родился в Париже, но провел ранние годы в Гавре, портовом городе у устья Сены, где его отец владел бакалейной лавкой.

Еще в школьные годы он прославился своими карикатурами, которые рисовал на тетрадных обложках. Его известность в городе стала так велика, что владеец единственной окантовочной лавки-мастерской, где продавались также и краски, предоставил свою витрину для его работ. Вместе с карикатурами Клода там нередко появлялись морские пейзажи некоего Эжена Будена.

Два пейзажа этого живописца («Пляж в Трувиле» и «Рыбачьи лодки на берегу») можно увидеть теперь в Музее имени А. С. Пушкина.

Но тогда тридцатилетний Буден вряд ли мог думать, что его картины окажутся со временем не только в Лувре, но и в лучших музеях других стран. Это был простой, бесхитростный человек, влюбленный в природу и живопись. Когда ему было двадцать лет, он открыл в Гавре окантовочную лавку и обслуживал художников, приезжавших на лето к морю. Однажды его работы увидели и похвалил Милле, живописец в крестьянских башмаках, тогда еще неизвестный и сам перебивавшийся с воды на хлеб заказными портретами.

Клод Буден поделился с ним заветной мечтой — заняться живописью всерьез, — Милле предостерег его насчет превратностей жизни художника. Но Буден не отступился от замысла, распрощался с лавкой и уехал в Париж учиться.

Ему удалось получить от муниципалитета Гавра трехгодичную стипендию. «Отцам городов» лестно было иметь собственного «стипендиата изящных искусств». Однако Буден не оправдал их надежд. Он не привез из Парижа ни медаль, ни званий — ничего, кроме твердой убежденности, что искусство пейзажа нуждается в обновлении, что на смену холодно-величественным ландшафтам, бывшим тогда в цене и почете, должен прийти пейзаж простых человеческих чувств.

Эжен Буден обратил внимание на карикатуры семнадцатилетнего Клода и стал уговаривать его работать серьезнее. «Занимайтесь, учитесь видеть, писать и рисовать...» говорил он ему. — Море и небо, животные, люди и деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со всеми их красотою... такие, как они есть, окруженные воздухом и светом...»

Родители Клода были не на шутку обеспокоены дружбой сына с таким непутевым человеком, каким слыл в Гавре Буден, бросивший торговлю ради искусства. Когда Клод объявил о своем желании стать художником и попросил разрешения повезть в Париж учиться, они призадумались. С одной стороны, их пугала неизвестность такой карьеры (пример был налицо), а с другой — прельщала возможность успеха и славы. В конце концов последнее взяло верх, и отец написал в муниципальный совет прошение — дать сыну стипендию. Но «отцы города», обжегшись на Будене, на этот раз отказались, ссылаясь на неестественные склонности Моне к карикатуре. Как видно, им не очень улыбалась перспектива увидеть себя в изображении обученного в Париже карикатуриста.

Теперь Клоду предстояло рассчитывать главным

образом на свои силы. Впоследствии мы увидим, что это значило, какой ценой доставалась ему возможность работать и как отличалась его солнечная живопись от горестной жизни, какую ему предстояло прожить.



Девятнадцатилетний Моне приехал в Париж весной 1859 года и, разумеется, тотчас отправился в недавно открывшийся Салон, где ему понравились картины «барбизонцев»: Теодора Руссо, Диза, Добиньи, Тройона. Эти художники вот уже более двух десятков лет работали в деревушке Барбизон, на окраине леса Фонтенбло. В общении с нетронутой природой они надеялись освободить живопись от заученных приемов, вернуть ей искренность и простоту.

У каждого из этих трудолюбивых и честных людей была своя излюбленная тема: одни предпочитали густую чащу леса, тенистые тропинки, другим были милее освещенные солнцем поляны, берега реки или луга со стогами сена. Каждый стремился «остаться самим собой», но вместе с тем больше у них одно объединяющее стремление: не писать и не рисовать ничего, кроме того, что сам видишь и знаешь, что сам пережил.

Клоду Моне особенно понравились пейзажи Тройона с пасущимися животными. (Прежде, он сразу отмечает, что тени на картинах Тройона кажутся ему слишком темными, непрозрачными.) К этому живописцу у него было письмо от Будена, и он зашел к нему с двумя своими работами, чтобы посоветоваться.

Тройон рекомендовал ему основательнее заняться рисунком, делать копии в Лувре, писать с натуры — словом, подготовиться хорошенько к экзаменам в Школу изящных искусств. Но Клод осторожно отнесся к совету; по своей неспособности подчиняться кому-либо он остерегался Школы.

Гораздо лучше он чувствовал себя за столиками монмартрских кафе, среди свободных и жарких споров. Тут он оценил справедливость слов Будена о том, что «искусство не создается в одиночку, в провинциальном захолустье, без критики, без возможности сравнения, без твердого убеждения». Тут он нашел первых друзей, которые, возможно, и привели его в одну из многочисленных «академий», помещавшуюся в мрачном старом доме у моста Сен-Мишеля.

Эту «академию» содержал бывший натурщик Сюис; здесь можно было за очень скромную плату рисовать и писать живую натуру. Многие пейзажисты изучали таким образом анатомию человеческого тела. Здесь когда-то работал Курбе; ученики Школы изящных искусств тоже, бывало, приходили сюда порисовать на свободе, вдали от придирчивого ока застенчивых профессоров.

Здесь Клод и познакомился с тридцатилетним высоким человеком, лысеньким, с библейской черной бородой, крупными чертами лица и печальными большими глазами. Звали этого человека Камилл Писсаро; он был уроженцем далекого Сен-Томе, скалистого островка вблизи Пуэрто-Рико, и вот уже пять лет жил в Париже, впрочем, проводя большую часть времени в окрестностях. Он успев уже побыть учеником Школы изящных искусств и переменить там несколько мастерских, прежде чем убедился, что Школа не даст ему того, что он ищет. Ему нравились живопись Курбе и особенно поэтические, мягкие пейзажи Камилла Коро; он мечтал прибавить

к их искусству нечто новое и свое, помногу работая с натуры.

В апреле 1860 года он пригласил Клода поработать вместе за городом, неподалеку от Парижа. Тот охотно согласился; ему нравился этот спокойный человек, никогда не подчеркивающий разницы в годах или знаниях и относившийся к Клоду как к равному, с неизменным дружеским расположением.

Но поработать вместе awhile не довелось: Клоду Моне исполнилось двадцать, его ждала армия.

В то время во Франции призыв на военную службу решался жеребьевкой. Вытянувший «несчастливый» номер обязан был отслужить семь лет. Правда, за деньги можно было купить «заместителя» из счастливых. Отец Клода и намерен был сделать так, но лишь при условии, что непутевый сын одумается и поступит все-таки в Школу изящных искусств. Клод решительно отказался.

Служба в армии не пугала его, и он, вытянув «несчастливый» номер, попросился в Алжир. Впоследствии он рассказывал: «Я провела в Алжире два полных чарующих года. Непрестанно я видел что-то новое; в минуты досуга я пытался воспроизвести все, что видел. Вы не можете себе представить, до какой степени я увеличил свои познания и как сильно выиграло от этого мое видение. Вначале я не мог до конца осознать это. Впечатления света и цвета, которые я там получил, классифицировались лишь позже; а них заключалось зерно моих будущих исследований».

Может показаться, что последние слова принадлежат скорее ученому, чем художнику. Но в том-то и было отличное нарождающегося течения: впервые в истории искусство шло на сближение с наукой, стремилось вооружиться точным знанием тех законов, которые до того времени постигались лишь инстинктом гения, разрозненными усилиями поколений.



В 1841 году писательница Жорж Санд издала в Париже книжку «Впечатления и воспоминания». Там она рассказывала, как однажды Делакруа в беседе с ней и Шопеном стал сравнивать музыку и живопись, звук и цвет. «Гармония в музыке, — говорил он, — основана не только на отдельном аккорде, но и на соотношениях аккордов между собой, на их взаимосвязи и логической последовательности, — короче, на всем том, что я в конечном счете назвал бы слуховыми рефлексамися. То же самое относится и к живописи».

Тут Делакруа взял голубую диванную подушечку, положил ее на красный ковер и продемонстрировал присутствующим «закон рефлексов». Подушечка словно бы плавилась в аломе. Под ее краями ковер отсвечивал синим тоном, переходившим в фиолетовый.

«Если я положу на холст два самых ярких и притом самых контрастных цвета, — продолжал Делакруа, — то мне достаточно связать их соответствующим рефлексом, и тотчас же возникнет гармония. В цвете есть еще не исследованные тайны, есть неведомые тона, рождающиеся из взаимодействия красок и не имеющие определенного названия; их вы не найдете готовыми ни на одной палитре... В природе нет черного цвета; также и в живописи не может быть участков мертвых, нейтральных. Каждый предмет в контакте с другим дает и получает отблеск цвета...»

Шопен, внимательно слушавший, сказал: «Все это очень интересно, и для меня совсем ново, но тут уж едва ли не пахнет алхимией...»

«Нет,— резко возразил Делакруа,— здесь чистая химия!»

Не раз в часы озарений искусству случалось практически опережать науку. Быть может, если бы ученые внимательно взглядели в холсты Леонардо, Тициана или Веласкеса, некоторые законы взаимодействия света и цвета в природе были бы сформулированы гораздо раньше. Гениальное предвидение Делакруа было подтверждено впоследствии научными исследованиями.

Но между предвидением и подтверждением лежал еще трудный опыт. Если наука с каждым годом или десятилетием получала все более совершенные инструменты и приборы для своих опытов, то в руках у художника с незапамятных, едва ли не с первых времен оставался все тот же тщательно подобранный пучок щетинок или шерстенок, называемый кистью. В его распоряжении оставались все те же краски, все те же семь цветов радуги, менялись лишь одно (и самое главное)— менялся вместе со временем взгляд живописца, не знающий покоя взгляд художника, всегда готовый искать новую прелесть в мире, открытым его разуму, его чувствам.



Клод Моне тяжело заболел в Алжире и был отослан во Францию на полгод для поправки. Он провел эти месяцы дома. Видя, как увлеченно он работает, эти наконец понял, что никакая сила не заставит сына оставить кисть и краски. Так как врачи считали возвращение Клода в Африку чрезвычайно опасным для его здоровья, отец решил «выкупить» его, но опять-таки при условии, что Клод обучается и будет учиться серьезно. «Я хочу видеть тебя в мастерской под руководством известного художника», говорил отец.— Если ты снова станешь независимым, я прекращу высылать тебе деньги.

Это был достаточно сильный довод, и Клоду пришлось согласиться хотя бы для того, чтобы получить возможность уехать. Он вынужден был согласиться и на то, что в Париже его наставником будет некий Тульмус, дальний родственник, пруссакающий салонный живописец, о чьих картинах один из критиков довольно метко сказал: «Это прелестно, очаровательно, красочно, изысканно и тошнотворно».

В Париже Тульмус направил Клода в мастерскую одного из преподавателей Школы изящных искусств, Глейра, и вот как описывает сам Клод встречу с будущим учителем:

«Ворча, сел я за мольберт в студии, переполненной учениками, которыми руководил этот прославленный художник. Первую неделю я работал самым добросовестным образом и с воодушевлением, не уступавшим прилежанию, сделал этюд обнаженного натурщика. Обычно Глейр исправлял эти этюды по понедельникам. На следующей неделе он подошел ко мне, сел и, основательно устроившись на моем стуле, внимательно рассмотрел мою работу. Затем повернулся с удовлетворенным видом, склонил набок свою важную голову и сказал мне: «Неплохо! Совсем неплохо сделана эта вещь, но слишком точно передан характер модели. Перед вами коренастый человек, вы и рисуете его коренастым. У него огромные ноги, вы передаете их такими, как они есть. Все это очень уродливо. Запомните, молодой человек: когда рисуете фигуру, всегда нужно думать об античности...»

Не правда ли, как это разительно похоже на слова, звучавшие в классах Петербургской Академии накануне знаменитого «бунта четырнадцати»? Там ведь то-

же, как говорил Максимов, учили «выкраивать Ахиллеса быстрого из какого-нибудь твереского мужичка»...

Для Клода первое же замечание Глейра было ушатом холодной воды. Тем временем тот паршал к другому ученику, тоже старавшему всю неделю как можно правдивее изобразить натурщика. Видимо, эта работа с первого взгляда показалась Глейру настолько слабой, что он лишь спросил: «Вы, несомненно, ради забавы занимаетесь живописью?»

«Разумеется»,— ответил ученик.— Если бы меня не забавляло это дело, я не стал бы им заниматься...»

Ученик этот был годом младше Клода Моне, его звали Пьер-Огюст Ренуар; в его ответе на было ни тени шутки, ни капли скрытой иронии— ничего, кроме простодушной правды.

Когда у него через пятьдесят семь лет спросили, почему он, большой, с привязанной к иссохшей руке кистью, продолжает работать так настойчиво, не пропуская ни одного дня, он ответил: «Потому что живопись— это не только удовольствие, но и долг. А когда у человека нет ни удовольствия, ни долга, зачем ему тогда жизнь?» Он дал этот исчерпывающий ответ за три дня до смерти, пришедшей к нему, когда он сидел за мольбертом в своей мастерской.

Но тогда, в ателье Глейра, живопись действительно была для него пока еще чистым удовольствием, радостной потребностью. Чувство долга пришло позднее, когда он осознал свое место среди других.

Моне и Ренуар подружились. Вскоре к ним присоединились еще два ученика, чьими работами Глейр также был не слишком доволен: молодой англичанин Альфред Сислей и двадцатилетний сын зажиточных родителей Фредерик Базил, приехавший в Париж изучать медицину и увлекшийся живописью.

Старшим среди четверки был Моне— не столько годами, сколько опытом. Дружба с Буденом, знакомство с Писсерро, два года в Алжире, жаркие споры в «Кабачке мучеников»— все это направляло его на определенный путь, а теперь он старался увлечь за собой и новых друзей. Весной Моне вытиснул их из Парижа в Шей, деревушку неподалеку от Берг-зона, где все они писали с натуры. Летом Клод поехал с Базилем к морю, в родную Нормандию.

Именно в это время он и написал те два морских пейзажа, которые висели в Салоне по соседству с «Олимпиадой» и послужили поводом для недоразумения. Если бы Эдуард Мане посмотрел их внимательно, он, возможно, понял бы, что созвучными тут были не только подписи на картинах. Созвучию было стремление— увидеть мир по-новому.

Но Мане был чересчур подавлен скандалом, разгоревшимся вокруг «Олимпиады», и, как говорили, отказался даже познакомиться с Моне.



Между тем двадцатипятилетний Клод был настолько увлечен смелостью Эдуарда Мане, что решил написать картину, созвучную по сюжету знаменитому «Завтраку на траве». Об этой картине стоит рассказать подробно еще и потому, что ее можно увидеть в московском Музее имени А. С. Пушкина.

Впрочем, если уж быть точным, то надо сказать, что в музее теперь висит не сама картина (она погибла), а лишь эскиз к ней. Но об этом впереди.

Клод Моне не только восхищался смелостью «Завтрака на траве». Он хотел показать, что намерен пойти гораздо дальше Эдуарда Мане. Взял тот же сюжет (вернее, то же название), Клод решил написать всю картину на воздухе при естественном освещении,

как сцену реальной жизни, как воскресный пикник современников-парижан.

Подобно Гюставу Курбе, писавшему своих земляков-крестьян, как писали прежде античных героев — в полный рост и едва ли не в натуральную величину, Моне взял для своей картины большую холст и отправился в Шайи выбирать подходящее место; вскоре он вызвал туда Базиля, и тот позировал для нескольких фигур (вы можете узнать его, посмотрев крайнюю фигуру слева — в шляпе с красной лентой, а длину его ног можете оценить по человеку в жилете, лежащему справа под деревом).

Но Клод остался недоволен картиной. Ее краски казались ему глухими, тени были темны и непрозрачны, свет солнца белесоват... Работать дальше стало невозможно: не было денег. Клод вынужден был снять огромный холст с подрамка. Скатав картину в трубку, он оставил ее в залог хозяйню гостиницы, с которым так и не смог расплатиться. Тот сунул ее в сарай, где картина вскоре заплеснела и покорибилась. (Впоследствии она была разрезана на три части, из которых одна хранится в Лувре.)

Неудачи, кажется, лишь подстегивали художника; перед отъездом в Париж он в несколько дней написал большой портрет, сделал еще одну попытку решить поставленную себе задачу. Он написал этот портрет под открытым небом; девушку в полосатом серо-зеленом платье и отороченном мехом жакете, что позировала ему, звали Камиллой. Вскоре она стала его женой и почти четырнадцать лет делила с ним и невзгоды и редкие радости, которые ему так неотходно дарила судьба.

СВЕТ И ТЕНЬ

Рассказывают, что однажды Эдуард Мане остановился с друзьями у витрины, где был выставлен для продажи написанный целиком с натуры пейзаж Клода Моне «Сад инфанты». «Посмотрите только на этого молодого человека, который работает в пленере!» — воскликнул Эдуард Мане. — Разве старые мастера думали о подобных вещах?»

Не знаю, насколько точны в данном случае очевидцы (есть несколько версий этого рассказа: одни относят сказанное к «Саду инфанты», другие — к «Завтраку на траве»). Так или иначе, приведенные слова очень верно передают самую суть расхождений во взглядах, которые существовали тогда.

Недалеко было время, когда Эдуард Мане стал увлеченно работать «на пленере» (то есть на открытом воздухе), и не только оценил преимуществом такой работы, но и оставил неповторимые по свежести образцы пейзажной живописи. Но тогда это казалось даже ему (и не только ему) неоправданным нарушением традиции.

И все же Клод Мане был не одинок в своих исканиях. Ренуар и Сислей проводили недели в лодке, двигаясь вдоль берегов Сены и безустanno работая с натуры. Писсаро бродил с этюдником по окрестностям Барбизона. Сам Клод уехал на лето в Виль д'Авре, где обычно жил Коро. Там он писал большую картину «Женщины в саду», хранящуюся теперь в Лувре. В ней он хотел добиться того, чего не удалось достичь в «Завтраке на траве».

Клод работал на воздухе, под открытым небом. Он хотел во что бы то ни стало сохранить в картине ощущение чистоты утреннего света; когда солнце, было, меркло за набегающим облачком, он прерывал работу. Однажды Курбе застал его в такую минуту и спросил, почему он не работает. «Жду сол-

нца», — ответил Моне. Курбе пожал плечами: «Вы могли бы пока писать пейзаж заднего плана».

Действительно, задний план картины погружен в глубокую тень. Но Курбе, вероятно, не принимал в расчет того, о чем настоятельно думал Моне: ведь тень есть порождение света, определенного света, и меняется вместе со светом, меняет свою окраску и силу. Тень и свет связаны между собой точно так же, как свет и цвет.

Уловить эту связь — вот к чему он стремился. Вот почему он упорно отказывался работать в мастерской, как принято было тогда. Он вырвал в саду канаву, куда опускал картину, когда ему надо было дотянуться до ее верхней части. Курбе изрядно забавлялся, глядя на все это. Хотя он и любил Клода, подобное упорство казалось ему чудачеством.

Но Клод верил твердо, что идет по правильному пути. Он писал «на пленере», пока не вынужден был снова бежать из Виль д'Авре от кредиторов, как бежал из Шайи. В Гавре, куда он переехал осенью, его положение не улучшилось. Дело дошло до того, что в декабре он просил Базиля прислать ему из Парижа сохранившиеся там картины, чтобы сослужить их и использовать холст для новых работ.

Немногом лучше было положение одинокашников Клода. Работы Сислей, Писсаро и Ренуара тоже оказались не принятыми в Салон. Золя писал своему другу: «Все на свете отвергнуты, юри закрыло двери перед каждым, кто ищет новых путей».

Отчаявшиеся художники составили петицию, прося снова открыть «Салон отверженных»; но времена позаного либерализма кончились, петиция была составлена без последствий.

Это был год новой Всемирной выставки, и Эдуард Мане, получивший недавно богатое наследство, решил повторить то, что сделал двенадцать лет тому назад Курбе: он построил собственный павильон, чтобы иметь возможность показать свои работы.

Специально для этой цели Мане написал «Казнь императора Максимилиана». То был горячий отклик на события, только что разыгравшиеся в далекой Мексике. Картину, где с открытым сочувствием был показан эпизод борьбы за независимость, не допустили на выставку...



В 1869 году Мане стал появляться по вечерам в маленьком кафе Гербуа на улице Клиши. Вместе с ним здесь бывал его близкий друг Эмиль Золя. Сюда приходил еще один друг Мане — небольшого роста, стройный, с коротко подстриженной бородкой и быстрым взглядом насмешливых глаз. Звали этого человека Эдгар Дега, он был двумя годами младше Эдуарда Мане и подружился с ним еще в то время, когда оба копировали в Лувре.

Со временем в кафе Гербуа стали все чаще появляться Ренуар, Сислей, Писсаро и Моне. Изредка сюда приходил и угрюмый тридцатилетний бородатый провинциальный южнофранцузским акцентом — земляк и школьный товарищ Эмиля Золя, Поль Сезанн. Высокий, костлявый, неуклюжий, он молча здоровался по очереди с присутствующими, а перед Мане останавливался, небрежным движением подтягивал испачканные красками штаны и произносил нарочито грубым голосом: «Не подаю вам руки, господин Мане, я уже восемь дней не умывался». Затем он усаживался где-нибудь в углу и молча слушал.

А послушать здесь было что. Кафе Гербуа (как в свое время «Кабачок мучеников») стало местом

оживленнейших дискуссий. Горячность споров доходила здесь до такого накала, что однажды дело закончилось дуэлью в Сен-Жерменском лесу между Мане и писателем Дюранти. Золя был одним из секундантов, а другой секунданти, Поль Алексис, рассказывал, что Мане и Дюранти (оба не умевшие фехтовать) бросились друг на друга с таким ожесточением, что их шпаги превратились в пару шпаторов.

Впрочем, как свидетельствует Алексис, «я тот же вечер они снова стали лучшими в мире друзья». А заведователем кафе Гербуа, обрадованные и успокоенные, сочинили в их честь триолет...».

Но как бы ни различались мнения, склонности, характеры (я различил, как вы увидите, даже немалое), стремление объединиться оказалось сильнее. Каждый чувствовал себя тверже среди друзей. Все вместе понимали, что только единство действий может помочь пробиться сквозь глухую стену враждебности.

В кафе Гербуа обсуждалось все, что занимало умы художников,—от самых высоких проблем искусства до самых будничных вопросов: как жить, где найти покупателей для своих картин. Здесь спорили об отношении к Салону—пытаться или не пытаться впрямь посылать туда картины. Здесь обдумывались планы устройства совместной выставки. Но едва ли не главным предметом обсуждения был вопрос о том, каков же должен быть язык новой живописи.

Взаимоотношения цвета, света и тени—вот центральный пункт, в котором сталкивались мнения.

Для живописцев академической школы различие между освещенными и затененными частями предмета было, если можно так выразиться, понятным количественным. «Локальный» (определенный, данный) цвет, переходя в тень, становился более темным, вот и все (каждый может упрощенно представить себе это, «потшувая» с помощью одноцветного карандаша куб, цилиндр или шар). Но уже Делакруа с полной ясностью указал, что тень получает дополнительную окраску от находящихся рядом предметов (вспомните пример с ковром и подушкой).

То, что кажется нам теперь вполне естественным и само собой разумеющимся (быть может, именно благодаря новой живописи), добывалось художниками по крупицам, ценой настоящей крови. Чтобы изучить на опыте волнующий вопрос, Моне, Сислею и Писсарро стали писать зимние пейзажи. Они увидели сами и показали другим, что тени на снегу вовсе не серо-жоричневые, как принято было думать. В морозный ясный полдень тени были прозрачно-синие, а перед закатом оранжевые и розово-фиолетовые.

Один и тот же предмет в течение дня менял окраску под воздействием света и состояния атмосферы.

...Однажды кто-то из недоброжелателей, рассматривая этюд Делакруа со скачущими всадниками, спросил иронически, что, собственно, хотел изобразить художник в поднятой руке одного из скачущих.

— Я хотел изобразить блеск сабли,—ответил Делакруа. Вероятно, это был наиболее точный ответ из всех возможных.

Не знаю, известны ли были эти слова Клоду Моне, Сислею или Писсарро, когда они бродили с этюдниками по лесам и полям в поисках новой живописной правды. Так или иначе, они шли по дороге, предсказанной Эженом Делакруа, Камиллом Коро, Буденом и всеми теми, кто ставил свежесть впечатления выше заученных приемов.

Среди завсегдатаев кафе Гербуа не было единства мнений насчет работы «на пленэре». Мане и Дега по-прежнему предпочитали писать в мастерской, хотя бы потому, что таков был освященный веками обычай. Ренуар колебался. Он так же, как Дега и Мане, был влюблен в замечательные мастерские прошлого и смолodu увлеченно копировал в Луэре Губенса, Фрагонара и Ватто. Но в то же время он охотно пробовал и другие приемы.

Он не хотел связывать себя какой-либо определенной системой и готов был присоединиться к любой затее, которая сулила возможность испытать что-либо новое. Он плывал с Альфредом Сислеем в лодке вдоль берегов Сены, работал с друзьями в лесу Фонтенбло. Теперь Моне снова звал его провести лето на лоне природы и порабатывать вместе.

Положение самого Клода в то время было ничуть не лучше, чем в прежние годы. Напротив, оно даже ухудшилось. Весной юири Салона снова отвергло его работы. У него не было ни денег, ни холста, ни красок—ничего, кроме всегдашнего и ничем не одолжимого желания работать лицом к лицу с природой.

Он поселился с Камиллой в Буживале, неподалеку от Виль д'Авре, с которым у него были связаны достаточно неприятные воспоминания. Отсюда он писал в Париж Базиллю: «Ренуар приносит нам из дому хлеб, чтобы мы не умерли с голоду. Неделя без хлеба, без огня в очаге, без света—это ужасно...»

Самому Ренуару тоже приходилось несладко. Поселившись с женой неподалеку, он задолжал местным лавочникам и признавался все тому же добросердечному Базиллю («с трудом раздобыл марку на письмо»): «Мы едим не каждый день, но, несмотря на это, я счастлив, потому что когда дело касается работы, Моне—превосходная компания...»

Обо всем этом нельзя не вспомнить, глядя на картину Огюста Ренуара «Купание на Сене», хранящуюся теперь в Музее имени Пушкина. Легко ли представить, что эта юношески жизнерадостная сцена написана именно тем беспросветно голодным летом?

История искусства не так уж бедна примерами невзгод, выпадавших на долю художников. Вспомните нищету последних лет Рембрандта, постоянную нужду Федора Васильева, трагический конец Ван-Гога и многих других. Там горести жизни накладывали свой отпечаток на творчество: трагические, тревожные и грустные темы в картинах этих живописцев звучали отголоском личных тревог и трагедий.

Но во все времена вы не найдете, пожалуй, такого густка невзгод, такой постоянной нужды, такая преследовала друзей из кафе Гербуа (по крайней мере большинство из них). Почему же так радостно, так безмятежно-солнечно их искусство?

То, что представляется на первый взгляд непостижимой загадкой, может оказаться ключом к разгадке; надо лишь поглубже взглянуть в характеры и судьбы, в жизнь, время и творческий подвиг этих людей.



В сентябре Клод делился с Базилем: «Есть у меня мечта—картина «Лягушатники». Я сделал для нее несколько плохих этюдов... Ренуар, который провел здесь два месяца, тоже хочет писать такую же картину».

«Лягушатники» в Буживале называли место купания на Сене, вблизи летнего ресторана Фурнез—то самое место, что изображено на картине Ренуара, о которой шла речь выше. Другая художники приходили сюда с этюдниками едва ли не ежедневно;

парусные лодки, купальщики, пестрая толпа на берегу под деревьями — все вместе порождало немало ярких впечатлений. Но, кажется, более всего привлекала друзей сама река, отражавшая в себе небо, зелень, облака, паруса и людей.

Течущая вода смазывала и как бы растворяла контуры предметов, оставляя глазу лишь изменчивую игру красок. И если снег в зимних пейзажах помог живописцам увидеть прозрачность и окраску теней, то теперь наблюдение за струящимися отражениями, за смесью набегающих и сливающихся цветowych пятен подтверждало их убежденность, что неизменного цвета в природе нет, что окраска любого предмета обусловлена не только его собственным цветом, а и цветом соседних предметов и даже, если можно так выразиться, цветом самого воздуха.

Казалось бы, говорить об окраске воздуха трудно: он прозрачен, и только. А между тем каждый из нас может сказать о воздухе снежных зимних сумерек, что он синий. В обложный осенний день воздух кажется серым, а если летний закат застанет вас на опушке леса, то вы увидите над полем или лугом сияние янтарно-желтого воздуха меж темных стволов деревьев. Все это имеет свое научное объяснение; каждый школьник теперь отлично знает, отчего небо голубое. Но речь тут идет не о законах физики, а о законах искусства.

Камилла Писсаро не зря говорил: «Я никогда не сомневался, что являлось основой пути, которым мы инстинктивно шли. Это было изображение воздуха».

Разумеется, его слова надо понимать не в буквальном смысле. «Изобразить воздух» — это значит уловить глазом художника влияние атмосферных условий на окраску предметов. Уловить и запечатлеть живую изменчивость света и цвета — все то, что делает природу неисчерпаемо разнообразной.

Для того, чтобы научиться передавать все это, надо было не только отточить свое зрение, но и овладеть новой техникой живописи. И тут неоценимую пользу принесли недели, проведенные на берегу рек.

Когда пишешь воду — струящуюся, текущую, изменчивую, — то и кисть твоя должна быть необычайно подвижна. Она должна не отвешать от глаза, видящего неустанную смену цветowych пятен, рефлексов и солнечных бликов. Работая в Буйкавале, Моне и Ренуар учились передавать живую игру света и цвета подвижным, легким мазком.

Работа «на пленере» исподволь увлекала и Эдуарда Моне. Даже Эдгар Дега, продолжая утверждать, что глупое дело художника — изучать старых мастеров, провел несколько месяцев на берегу моря, где писал этюды настолью.

Между тем в Париже все шло своим чередом. В Салоне 1870 года шумный успех выпал на долю самых вульгарных полотен. Пошлины, вроде Тулуза-Лотрека, процветали. Эдуарда Моне по-прежнему осмеивали, а картины Клода Моне были в очередной раз отвергнуты.

Никто, однако, не мог предполагать, что это был последний Салон империи «Наполеона Мелого».

ГЛАВА III

ВОЙНА И МИР

Франко-прусская война, грянувшая летом 1870 года, разметала во все стороны друзей из кафе Гербуа. Фредерик Базиль записался в полк зуавов, которым поручили самые опасные задания. Ре-

нуар был зачислен в кирасиры и отправлен в Бордо обезбжать лошадей. Моне отослал семью в безопасное место, а сам остался в Париже, как и Дега, записавшийся в артиллерию (хоть он и говорил, что ни разу в жизни не слышал, как стреляет пушка).

Клод Моне, не поддежавший призыву, оказался с Камиллой в Гавре, а Сезанн — в Марселе. Альфред Сислей должен был, как британский подданный, отправиться в Лондон.

Тем временем прогизавшая империя трещала по швам. Французская армия, неподготовленная и руководимая бездарностями, терпела поражение за поражением. Разразилась Седанская катастрофа. Второго сентября Наполеон III сдился в плен; армия капитулировала. Всего сорок семь дней потребовалось, чтобы Вторая империя развалилась окончательно. Парижские рабочие провозгласили республику.

Между тем правительство национальной обороны, предпочитая оккупацию революции, открыло пруссакам дорогу на Париж.

Семнадцатого сентября началась осада города. Правительство переместилось в Бордо. Население спаслось бегством, напуганные заверстами неприятеля, Камилла Писсаро (он жил с семьей в Луве-сьене, неподалеку от Парижа) вынужден был бежать сначала в Бретань, а оттуда в Лондон, бросив на произвол судьбы свои картины, а также и картины Моне, которые тот оставил ему на сохранение. Сам Клод, простиавшись с женой и ребенком в Гавре, сел на один из пароходов, увозящих тысячи беженцев в Англию.

Тем временем пруссаки начали артиллерийский обстрел Парижа. Орудия грохотали день и ночь. Население страдало от холода, голода, эпидемий. Люди ели кошек, собак и крыс. Наконец 28 января 1871 года обессиленный город капитулировал. Бесславная война окончилась позорным перемирием.

Третью Францию была оккупирована. Победители грабили страну с прусской грубостью. На дорогах и в деревнях звучали выстрелы партизан-франтиров. В конце февраля Тьер подписал с Бисмарком договор, по которому Франция уступила Германии Эльзас и Лотарингию, обязавшись задобавок уплатить пять миллиардов франков контрибуции — за счет рабочих, которым пришлось потуже затянуть пояс.

Но парижские рабочие не хотели терпеть ни оккупантов на земле Франции, ни собственных продажных министров и генералов. Еще в день подписания позорного договора они на руках втащили на Мон-мартр пушки, купленные в складчину; они объединились, создав Национальную гвардию, готовую драться и умереть за свободу (одним из штабных офицеров Национальной гвардии был Эдуард Моне).

Восемнадцатого марта в ответ на попытку Тьера отнять оружие у гвардейцев началось восстание — первая в мире пролетарская революция, оставшаяся в истории под названием Парижской коммуны.

Правительство Тьера бежало в Версаль. Власть перешла к Центральному комитету Национальной гвардии. Все министерства были распущены. В Париже были объявлены всеобщие выборы. Среди восьмидесяти избранных членов совета Коммуны оказался и пятидесятидвулетний Гюстав Курбе.

Парижская коммуна решительно ломала и перестраивала прогнившую государственную машину. Академия и Школа изящных искусств были объявлены ликвидированными; все медали и другие награды, присуждаемые Салоном, отменены. Курбе стал президентом новой федерации художников. Камилла Коро, Оноре Домье и Эдуард Моне вошли в комитет, назначенный Коммуной, чтобы заменить прежнюю «административную по делам изящных искусств».

Тем временем версальское правительство Тьера (в союзе с пруссаками) стягивало к Парижу войска. Началась новая осада. Двадцать первого мая версальцы ворвались в революционную столицу через ворота Сен-Клу. Коммунары защищали грудью каждый вершок мостовых. Целую неделю они дрались на баррикадах, где оставили тридцать тысяч убитыми. Десятки тысяч были взяты версальцами в плен и расстреляны или посланы в Кайенну и Новую Каледонию. Отстремили последние выстрелы на кладбище Пер-Лашез. Двадцать восьмого мая 1871 года Парижская коммуна перестала существовать.

«Ужас и отчаяние продолжают царить в Париже,— писал через некоторое время в Лондон Камиллу Писарро один из его парижских друзей.— Ничего подобного еще не бывало... У меня есть только одно желание — уехать, бежать на несколько месяцев... Париж пуст и опустеет еще больше... Что же касается живописцев и художников, то можно подумать, что их вообще никогда не было в Париже».

Из других писем Писарро узнал еще немало грустных вещей. Фредерик Базил был убит в сражении при Бон-ла-Роланде. Эдгар Дега, потрясенный гибелью своего близкого друга, скульптора Кюзовье, казался едва ли не свихнувшимся. Гюстав Курбе был арестован и отдан под суд. Его обвинили в свержении Вандомской колонны, хотя было известно, что разрушить этот символ самовластия Коммуна постановила 12 апреля, а Курбе был избран в члены совета Коммуны лишь 16 апреля. Тем не менее он был признан виновным. Приговор отличался необыкновенным цинизмом: большой художник, отбывший несколько месяцев тюремного заключения, должен был оплатить восстановление колонны ценой всего своего имущества. Его картины были проданы с молотка, а сам он изгнан в Швейцарию, где и умер через пять лет.

Клод Моне был среди немногих, кто не отвернулся от Курбе в те дни, когда большинство друзей потерялось забыть о нем. Едва возвратясь из военных странствий, он разыскал Курбе в больнице, где тот ожидал приговора, и простился с ним навсегда.

Возвратившись в Париж и другие; встречив друзей в кафе Гербуа возобновились. Жизнь шла своим чередом; не было ни баррикад, ни крови на серой брусчатке мостовых. Была только память — исклеванные пулями сизые стены, рассказы очевидцев, да еще два-три рисунка Эдуарда Мане, запечатлевшие жестокую расправу Третьей республики с бойцами Парижской коммуны.



О судьбе оставленных в Луувесенне картин Писарро узнал еще в Лондоне. Пруссак устроили в доме, где он жил, мясную лавку. Хозяйка дома писала ему, что «эти господа» использовали большинство картин как подстилку, вытирая о них ноги.

Из пятисот оставленных там холстов уцелело всего около сорока. Погибли плоды почти семнадцатилетнего труда. Но Писарро не принадлежал к людям, способным сломиться под такими ударами.

Это был удивительный, редкостный человек. Порой мне кажется, что я его знал и видел, что слышал его голос — быть может, потому, что этот спокойный, мудрый голос так ясно звучит в его полотнах.

«Сильнее всего, прежде всего я люблю простоту и доброту, особенно доброту», — сказал однажды Стендаль. Он, я думаю, не мог бы не полюбить Камилла Писарро, если бы жил в одно время с ним.

Камилл Писарро был старшим среди друзей. В нем не было ни юной непосредственности Ренуара, ни горделивого своеправия Клода Моне, ни блестящей

язвительности Эдуарда Мане. В нем соединились мудрость патриарха с терпением пахара, идущего за плугом, мужество борца с великодушным человеком, готового нести помощь каждому, кто в ней нуждается.

Двадцать пять лет было ему, когда он покинул Англиские острова и отправился в Париж, чтобы посвятить себя искусству. Его ждала длинная цепь невзгод и лишений. Бывало, неделями он бегал от одного торговца к другому, пытаясь продать хоть что-нибудь из своих работ, чтобы прокормить семью. Один из таких торговцев, «папаша Мартин», говорил всем и каждому, что Писарро никогда не выберется на дорогу, если будет продолжать писать в своем «тяжелом, обыденном стиле».

Но даже самая крайняя нужда не могла заставить Писарро свернуть с избранного пути. То, что «папаша Мартин» называл «тяжелым, обыденным стилем», было глубоко осознанной целью художника.

Камилл Писарро был демократом по самому существу своей натуры, по своей природе, характеру и взглядам на жизнь. Бесконечно терпеливый, он не терпел лишь одного: неправды, зла, социальной несправедливости. Нередко он клонил споры в кафе Гербуа в сторону наиболее острых вопросов жизни, хотя там это и не было принято, — иначе он не мог. Живопись была для него одной из многих форм борьбы за лучшее будущее обездоленного человека.

Людям, склонным к поверхностным суждениям, картины Камилла Писарро (да и его товарищей) могут показаться очень далекими от социальной борьбы и нравственных вопросов. Тот, кто думает так, не хочет, как видно, выкинуть и понять, в какое время жили эти художники и что именно они противопоставили господствующим акусам.

Слов нет, Писарро не был политиком-революционером. Но на протяжении всей его сознательной жизни (и даже после смерти) его обвиняли, что он «вульгарный и прозаический живописец», лишь за то, что он находил поэзию в обыденности.

Мне кажется, никто из тех, кого принято называть импрессионистами, не был так последователен в своих взглядах и не извлек столько чистой поэзии из обычных и скромных вещей, как это сделал Камилл Писарро.

Когда смотришь «Пашню» в Музее имени Пушкина, то поневоле ищешь взглядом хозяина плуга, того, кто вспахал это поле; кажется, он только что отлучился и вот-вот появится. Трудно объяснить это словами, — тут колдовство красок и чувств. Тут не просто поле, пригорок, небо, деревья; это природа, одушевленная человеком и благодарно отдающая человеку все, что может отдать.

В наших музеях хранится всего лишь пять холстов Писарро — малая, очень малая часть обширного мира, запечатленного этим неутомимым тружеником. Но и эти пять картин (три в Москве и две в Ленинграде) покажут вам, как богата была его скромная живопись и как поэтичен был его взгляд.

Посмотрите «Оперный проезд в Париже». Дождь. Зонты. Вереница карет. Бесцветное небо, мокрая мостовая... Кажется бы, куда уж обыденнее! Но приглядитесь, как все это написано! С какой сдержанностью, благородством и простотой рисует кисть эту полную влажного блеска и живого движения картину! Кажется, сам воздух светится, мерцает миллиардами дождевых капель, и в этом дымчато-серебристом тумане тает глубина улицы, а за ней — не видный, но угадываемый бескрайний, огромный Париж.

Писарро очень любил такие мотивы — улицы или дороги, уходящие от зрителя вдаль, — быть может, потому, что вместе со взглядом туда уходишь и мысль...

(Окончание следует.)



как обнаружилось сейчас, одаренный писатель.

Но главное — все-таки в том, что эта книга — прежде всего разумное о своей профессии и о жизни вообще.

Автору повстречалось быть свидетелем и активным участником событий, поворотных в истории авиации, полных драматизма и великодушных человеческих поступков. «Материала», спрессованного в этой книге, хватило бы на десяток увлекательнейших повестей. Но уму и сердцу особенно много говорит все-таки суждения автора о том, что есть храбрость, что есть везение и невезение, сила и слабость.

Вот вам эпизод, вроде бы обычный для книг о героистике: убийственная погода, испытательный полет на новой, «необезопасенной» машине опасен. Опытному человеку это совершенно ясно. Но есть чувство профессиональной чести, и стальная птица все-таки взмывает в небо, сплошь застланное туманом (это, кстати сказать, подвиг самого автора записок). Но эта сделанная «по всем правилам» волнующая новелла завершается словами: «Беспринципное решение...»

Так автор отвечает на насущный наш читательский вопрос: что есть отвага? Ведь, кроме «безушастия храбрых», есть ум храбрых, знание, дальность, уверенная сила. На подвиг стоит идти только для того, чтобы победить, — так думали и те, кто отдал свои жизни

авиации. Это свидетельствует Мари Галлай. Бедь он был рядом с ними, их риск был и его риском, их чувства были и его чувствами. Да, пожалуй, он и взялся за перо, прежде всего чтобы рассказать о своих товарищах, живых и мертвых, сохранить для людей их имена, их облик, их дела и душевные движения. Галлай не признает за людьми героических профессий — летчиками, моряками, разведчиками — монополию на героизм. Он уверен, что невозможно прожить отвагу не заказанному. Вот он рассказывает о том, как «земные» служащие какого-то заштатного аэродрома отказались дать разрешение на посадку реактивного самолета, попавшего в трудное положение. Это был, по свидетельству Галлай, героический поступок, потому что, случись что-нибудь с новейшей машиной, стоящей миллионы, — и хозяева аэродрома, незаконно принявшие его, пойдут под суд.

Люди на земле понимали, чем рисуют, но не сочли себя вправе уклониться от такого риска — прекрасный пример того самого гражданского мужества, которое порой дороже личного!

Бывают книги, которые никто не мог бы написать, кроме их автора. К этому счастью своему роду книг принадлежит и записки летчика-испытателя Галлай.

Илья ЗВЕРЕВ



Эта книга о таком деле, в котором отвага считается просто необходимым профессиональным качеством, как, скажем, слух в оркестре. «Испытано в небе» — повесть о летчиках-испытателях, изданная в конце минувшего года «Молодой гвардией». Очень существенно, что автор не собирал материал «в гуще жизни», он просто жил в этой самой гуще и был в ней одним из первых. Мари Галлай — Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, кандидат технических наук и,

Василий Шукшин... Для многих любителей литературы это имя пока еще говорит очень мало. А между тем его уже знают миллионы. Да, тут нет описки... Василия Шукшина знают миллионы кинозрителей как одного из талантли-

вых советских артистов, исполнителя главных ролей в фильмах «Два Федора», «Аленка», «Мы — двое мужчин».

Небольшая книжечка Василия Шукшина «Сельские жители» (изд-во «Молодая гвардия», М., 1963), в которую вошло всего

около двух десятков рассказов, красноречиво говорит о том, что в его лице в литературу пришел настоящий писатель. С некоторыми из этих рассказов мы были знакомы по периодике. Привлекли в них искренняя любовь к своим героям, неистребимое чувство юмора, а главное, что отличало и эти и другие вошедшие в книжку рассказы, — постоянный, не высказываемый в прямой авторской речи, а подспудный, проходящий подтекстом тревожный поиск героями смысла жизни, выяснение ими важнейших вопросов человеческого существования.

Можно было бы многое сказать о каждом из рассказов сборника, особенно о таких, как «Степкина любовь», «Игнаха приехал», «Демагоги», «Гришка Малюгин», «Артист Федор Грай», «Степня Разни», «Экса-



мен» и другие. Но предоставим читателю самому испытать радость знакомства и с героями этих рассказов и с писателем.

С. ДМИТРИЕВ



звалась она — «Родительница степей») было много стихов о родной земле, о крестьянской жизни, о собственной нелегкой биографии (трудовое детство, шахта и т. д.). Но стихи эти чаще всего сбивались на пеструю описательность, поражали только глаз и гораздо реже — сердце.

Многие стихи «Бессонницы века» все о том же. Не удивительно, от памяти уйти нельзя, даже если уедешь за тысячи километров. Но поэт теперь многое понял...

Конечно, есть пока в книге и остатки прежней поверхностной красочности и — другая крайность — лирические самоизлияния, порою лишенные серьезного повода. Но лучшее в ней — будь то стихи о военной памяти, о вдовей доле, о труде, в котором есть и тяжесть и радость, — словом, лучшее в книге цельно, органично и потому находит прямой путь к сердцу.

В одном из стихотворений, полемичном и зловом, направленном против тех, кто организует в литературе пустую суету, Цыбин вдруг обращается к друзьям юности:

О кореша мон,
с кем в стени
валил сосну, пил чай крутой,
затем ли шел из вас,
чтоб ныне
не сложить перед суетой?
Судьбой и счастьем с вами
равный,
отдавший вам любовь свою,
единственный ваш суд
и правый
я над собою признаю.

«Шел из вас» — это недвусмысленное утверждение веч-

ного родства. Но не ли тут заносчивости: как-никак «из вас»? Нет, дело тут не в заносчивости, а в гордости за свою роль поэта, в признании того, как она велика и ответственна, — быть голосом тех, кто тебе доверяет, голосом трудовых людей. Поэтому:

«Харис», «прелесть», —
этим словом древние
называли главное
свойство, запечатлевшее
каждую строку великой греческой
поэтессы Сафо. Емкое
слово «харис» — это и пре-



лесть, и радость, и очарование, и даже благодать. Различие между гречанкой Сафо и римлянином Овидием огромно, но почему-то именно «харис!» (во всех оттенках его значения) хочется сказать о «Любовных элегиях», выпущенных Гослитиздатом (Публий Овидий Назон, Апотеги Любовных элегий. Вступительная статья и перевод С. Шервинского. Иллюстра-

ция славяно прямоту таланта, он не уступит и вершка. Есть у таланта от тарана — не может он исподтишка. И радостью полны и горем, рождению весны сродни, приходят эти песни горлом, и сразу видно, чьи они.

Ст. РАССАДИН

ция и оформление художника Ф. Збарского, М., 1963). Они прелестны и благодатны, как благодать всякое истинное искусство. Нельзя читать без радостной улыбки эту книгу юноши, обращенную к юным всех времен и племен. И просто не верится, что тот, кто открыл и подарил элегии Овидия русскому читателю, и сам не юноша, а старый поэт, чей талант высоко уважал и ценил еще Валерий Брюсов. Сердце мальчика, соединенное с силой мастера, показала нам новая работа Сергея Васильевича Шервинского. Среди его переводов с древних языков этот, на мой взгляд, самый лучший.

Интересны и талантливы рисунки Ф. Збарского, представляющие ценный вклад в то, что сделали за последние годы наши графички для воссоздания античности.

Овидий искренне и крепко любил свой век, он не искал идеалов ни в минувших днях, ни в грядущих. Век не замедлил «отплатить» ему за его искренность и любовь, и тем горше и последующая участь автора «Любовных элегий» и его стихи, созданные в ссылке. Но сами «Любовные элегии» остались непревзойденным образцом «полноценного кипения молодости», и мы должны низко поклониться тем, кто позволил и нам припасть к этому вечно кипляему ключу.

С. МАРКИШ



Максим ГЛУХОВ

Из записок монтажника-верхолаза

Простая

Советский народ воспринял как свое, кровное дело грандиозную программу ускоренного развития химической промышленности, выдвинутую декабрьским Пленумом ЦК КПСС. В выполнении этой программы велика роль молодежи, ленинского комсомола. Тысячи и тысячи юных энтузиастов выступают в ряды строителей Большой химии, готовятся к работе на химических предприятиях.

Мы предлагаем вниманию наших читателей страницы из записок, которые в течение нескольких лет вел Максим Глухов, Рабочий одного из заводов Казани, он в 1958 году пошел строить Казанский завод органического синтеза. Смелая профессия монтажника-верхолаза полюбилась Максиму Глухову, полюбили и коллеги.

Работал, Максим поступил заочником на историко-филологический факультет Казанского университета, выступал в местной русской и татарской печати.

Итак, слово имеет Максим Глухов.

Рисунки
А. Леонова.

Площадь перед заводоуправлением бурлит пародом. Куда ни помотришь, всюду радостные лица молодежи — строители и монтажники, которые пришли сюда, чтобы отметить свой праздник — пуск первой очереди Казанского завода органического синтеза. Счастье переполняет людей, и мне их счастье двойное понятно. Как-никак почти пять лет проработал со многими из них рука об руку на строительной площадке этого гиганта. Общее дело объединило нас, далеких и разных, в дружную рабочую семью. Сегодня, когда завод уже отгружает первые партии татарского фенола и ацетона, строители вспоминают добрым словом. Но были и трудные дни: ведь мы делали свои первые самостоятельные шаги в жизни.

Из родного города я нигде не выезжал, хотя и очень хотелось поехать с друзьями на Ангару и Енисей. По ряду причин пришлось остаться. Над первым письмом товарища чуть не плакал от зависти. «Повезло же человеку», — думал я. — В Дивногорске живет и кладет бетон на Красноярской ГЭС».

К счастью, в Казани началась стройка большой химии; для меня и для многих других она стала своеобразной «близкой Сибирью». Не всегда, оказывается, за настоящим делом надо мчаться за тридевять земель.

...Мы стояли гуравой возле наскоро сколоченной прорабской будки. Человек сто собралось



на строительной площадке с путевками горкома комсомола. Мы должны были стать основным костяком рабочего коллектива. Народ был разношерстный: рабочие и работницы, уже потрудившиеся на фабриках и заводах; вчерашние воины; мальчишки и девчонки, только что уставшие из-за школьных парт.

Разделали нас по бригадам. В нашу группу вошли в основном выпускники школ — ребята и девчата лет по семнадцати. Правда, был среди нас парень лет за двадцать, коренастый, с длинными волосами и с такими голубыми глазами, что раз взглянешь, — кажется, навек запомнишь. И специальность у него имелаась. Наша братва смотрела на этого голубоглазого с каким-то особенным уважением: ведь он уже и в армии отслужил! Ваней Бодровым его звали.

Славный парень оказался. Что потруднее, все сам воровина сделать: дескать, мы еще не окрепли. Хотя и нехитрая это штука — лопату держать, но все же с непривычки так наломаешься, мозоли натрешь — в другой раз и смотреть не захочешь на этот дедовский инструмент. А когда бывали перекуры, мы окружали Ваню. Он рассказывал какую-нибудь бальебылицу. Смешно нам, и вроде усталость куда уберет.

— Братцы, идите деньги получать! — однажды возвестил Ваня.

— Деньги!! — как бы удивленно переспросил кто-то.

Большинство из нас никогда в жизни не получало зарплаты, и сообщение Бодрова было приятной неожиданностью. Право, шли мы к кассе как-то несмело. Будто неудобно было: кое-как расписывались в получении — и скорее от окошка.

Зато тратили первую получку кто как умел. Неко-

История

горяе часы новые купили, а потом то и дело поглядывали на циферблат и приставляли к уху. Как поговору, на следующий день почти полбригады пришло в шуршащих белых куртках с замочком (они модными тогда были). Сразу вроде повзрослели все лет на пять. Как-никак самостоятельными стали, и отпала необходимость выпрашивать у старших рублевку на кино. А как радовались наши матери, когда мы неловко клали на стол свою долю зарплаты!



Не забыть первое комсомольское собрание. Проходило оно под открытым небом — на строительной площадке. По сути говоря, стройплощадка той поры — чистое поле, на котором то здесь, то там вбиты колышки и кое-где зияют котлованы под фундаменты будущих корпусов. Была осень. Стоять на поле, открытым семи ветрам, стало зябко. Собрание решили провести на дне свежевырытого котлована. Ни трибуны тебе, ни скамеек.

Тогдашний секретарь комитета комсомола треста Григорий Самойлов, комсомольский работник с дипломом инженера-строителя, был немалого старше нас. И говорил он не особенно красиво. Но вряд ли тогда нужно было красноречив, а то, о чем говорил, понимали все. И выступали много — и по порядку и без всякого порядка.

Расходились шумно. Кто-то недовольно пробурчал: «Ударная стройка называется! Пообедать как следует негде».

Как ни крути, он был прав. В обеденный перерыв мы располагались кто где может, разворачивали свои свертки и ели. Ребята называли в шутку открытое поле рестораном «Дуй, ветерок».



Стройка разворачивалась и вскоре стала принимать подлинное лицо ударной комсомольской. Один за другим сдавали фундаменты под кирпичную кладку. Прибывали бригады монтажников стальных конструкций, электромонтажники, сантехники. Работать с каждым днем становилось интереснее. Людям с профессиями предоставляли работу по специальности.

Нашего Ивана Бодрова определили на полигон, там он стал варить стальные каркасы под ригели. Мы завистливыми глазами провожали его. Многие из нас тоже хотели стать электросварщиками. Иван подбадривал:

— Чего носы повесили? Станете специалистами, да еще какими!

Действительно, через некоторое время стали набирать учеников по разным специальностям. Мы пошли учиться сварочному делу. На первый взгляд казалось, чего проще: прикрепи электрод к держателю — и вари знай, опустив шлем. А у меня нет: то электрод замыкал, то монотонное гудение трансформатора скребло кошкой сердце, то дуга получалась слишком длинной, и металлические шарики из-под электродов раскатывались по массе. Не получается — хоть плачь.

Но учиться было у кого. На стройку с разных кон-

цов страны съезжалось немало высококвалифицированных мастеров «голубого огня». Среди них был и свой «король сварки» — Виктор Яничев, болгарин по национальности. Мы, зеленые, подолгу стояли возле него, стараясь вынюхивать во все секреты мастерства. Виктор Яничев за двадцать лет работы сварщиком научился виртуозно сваривать и «неражывающую», и швы у него получались красивыми при сварке в любом положении, словно сердцем писанные.

Не зря, видно, он участвовал в монтаже заводов в Индии, Афганистане... Но зазнайства в нем не было. В трудные минуты он часто подходил то к одному, то к другому.

— Как варится? Ничего, получится, — говорил Яничев. И сам показывал, как лучше зажечь дугу и как правильно ее поддерживать.

Так понемногу мы осваивали новое дело. Научились накладывать вертикальные швы, а затем стали привыкать и к поперечным. А уж Иван Бодров как нам помогал! Не раз и не два оставался с нами после рабочей смены. Через три месяца ученичества сварил мы катушки (образцы сварки) и сдали в лабораторию на испытание. Грехов особенных не допустили, и нам присвоили третий разряд.



Среди газосварщиков первенство держали местные умельцы. Это и понятно. После открытия богатых месторождений нефти у нас в Татарии стала бурно развиваться нефтегазовая промышленность. Кроме гигантских трубопроводов, которые стали прокладываться от нефтяных районов республики, много было продолжено мелких ответвлений в разные концы. А с тонкостенными трубами дело имеют не электро-, а газосварщики, я уж не говорю про сварку труб из цветных металлов. Тут электросварщику делать нечего, надо уметь владеть горелкой.

Лучше всех это удавалось Андрею Габдрахманову. Он был очень прост в обращении с нами, хотя тогда-

ми в отцы нам годился. Антроп не хуже других работал с электродами, но больше держал в руках горелку.

Он стал нашим отменным другом, даже по воскресеньям приглашал к себе.

— Приходите, моя хозяйка любит гостей. Кто на гармонии захочет поиграть, для тех у меня саратовская есть.

Мы знали, что сам Андрей чудесно наигрывал и татарские и русские мелодии. Но к нему тянулись парни, детство которых тесно связано с деревней, с посиделками,

где трудно обойтись без гармонии. Среди нас был один парень. Селение, где он родился, было, по его словам, исключительно музыкальным. Таип Мухамедов, так его звали, прямо-таки изнывал от неумения играть на гармонии, хотя все в его роду были лучшими гармонистами на селе.



— Антрей, научи,— умоляющим тоном просил он Габдрахмана.

— Что ж, поможем тебе, Талин, будешь монтажником-перехолозом и гармонистом. Пусть девчата слышат такого...



На монтажной площадке бригада слесарей-монтажников Бориса Блинова, поднимая тридцатиметровую этажерку под аппараты, устанавливала ректификационные колонны.

Теперь мне предстояло работать на этом же корпусе цеха гидроперекиси, в комплексной бригаде монтажников Сергея Михайловича Чернышева. Этот коллектив тогда еще только боролся за звание бригады коммунистического труда. Ребята-чернышевы приняли нас в свою семью, предъявив нам жесткие условия.

Сам Сергей Михайлович, крепкий здоровяк, несмотря на свои годы (ему позвол уже шестой десяток), оказался человеком юношеской души.

Мы завидовали его спорности и неутомимому характеру. Дядя Сережа, как его здесь зовут, бригадирствует уже лет тридцать. За эти годы сколько ажурных мостов перекинул он через бурные реки! Сдал первые цехи Ново-Уфимского, Омского нефтеперерабатывающих заводов.

Глядя на его обветренное лицо, мы как-то успокаивались, и высота, где бригада вела работу технологического трубопровода, не так страшна нас.

— Что, робетеете малость? — спросил он, приметив наше замешательство у металлической лестницы, по которой нам надо было лезть на двадцать пятую отметку (так по-монтажному называют площадки на этажерках в зависимости от того, на каком расстоянии расположена она от земли).

— Страшиновато,— признались мы, стараясь прикриты свое смущение. К нашему удивлению, на это дядя Сережа ответил одобрительно:

— Это хорошо, что не лезете сломя голову с первого же раза. Призвали вас врачи пригодными для высотных работ, значит, будете верхолазами. И сколько раз уж поднимаюсь наверх, а все же опасаюсь, как бы чего не вышло. На нашей работе без этого нельзя.

День этот показался мне каким-то особенно торжественным и ответственным. Мы здорово волновались, когда из рук кладовщицы брали брезентовые спецовки и монтажные пояса.

А на высоте все-таки страшиновато. С непривычки не раз сожмется сердце. Иногда покажется, вот-вот закружится голова и полетит кубарем вниз.

Сначала робость овладела и мною, но разве дашь об этом знать другим: засмеют ребята. Но опытные монтажники не смеялись, а только советовали:

— Вниз смотреть не надо. Вот так! Привыкаешь.

Правда, один из молодых слесарей, Колька Атаманов, пробовал подтрунить над новичками.

— Дрейфим, «верхолазы»? — скалил он зубы. — То же же. Раз коленки подгибаются, куда лезете? Сидели бы уж себе на полгоне, каркасити зарилли.

Но дядя Сережа так отбил его, что тот сразу умолк.

Вообще-то верхолазы — славные ребята. Видимо, опасная профессия привила им особенную сплоченность, дружбу. А дружной верхолазы умеют дорожить. И бахвальства от них не услышишь.

А если уж поют:

Не ночегары мы, не плотники,
Но сожалеений горьких нет, как нет,
А мы монтажники высотники
И с высоты нам шлем привет...

— поверьте, они поют свою песню не от похвалы. В жизни умеют они ценить и другие профессии.



Работали рядом с нами девушки-маляры из двадцать третьего управления. Нашим ребятам уж очень нравились они, и особенно две из них. Первую, чуть постарше, звали Зоей Семеновой. Вторую прозвали Альфией-высотницей. Они работали всегда на самой высоте, куда остальные девушки взбираться побоялись. Да что девушкам! Не всякий парень осмелится залезть на самый верх. Зою с Альфией ребята уважали вдвойне. Мы, холостяки, все норовили с ними затеять разговоры. Но девушки умели себя держать. Да и мы ни на минуту не забывали, что девушки рядом. Хотя на работе всякое бывает, а разными словами при них не разбрасывались. Мы часто молча наблюдали за работой девушек.



Ну и мастерицы! Со стороны посмотреть — забавуешься. Удивительно, как легко, будто играючи, дело делают. Ведро с красками для удобства подвешат к колоннам. Движение руки, мазок кистью — и пусть буянит ветер-непогода: краска надежно защитит конструкцию.

Во время работы девушки часто поют. Нет-вет выделан с детства знакомая татарская мелодия. Красивое чистое сопрано рассказывает нам о дивных берегах Мени-реки, о зеленых долах-перелесках, и невольно, отключив шлем, заслушаешься.

— Это она о чем? — спрашивал меня белорус Толя Максимчук. «Астым» значит «друг», это я стал понимать, а остальное пока не разумею. Разъясни, ты ведь татарин.

Я ему пересказывала содержание песни: про любовь поет Альфия.

— Знаю, у разных народов чувства и мысли одинаковые, — говорит Толя.

Кстати, песня — постоянный спутник стройки. Сквозь гуд машин и механизмов почти всегда услышишь чей-нибудь мелодичный голос. Поет сварщик, выбрасывая из-под электрода ливень искр. Поет каменщик, наращивая стены заводских корпусов, поет изоляпровитчик труб... И, скажите, можно ли обойтись без песен там, где сама обстановка поет о созидании! Поднимешься, к примеру, на двадцать пятую или тридцатую отметку, а душа так и прорисится к песне. Поди удержи! Оглянешься крутом — только что птица разве пролетит рядом, а внизу люди, словно муравьи. Заводские корпуса как на ладони, трубопроводы на эстакадах интриги тянутся во все концы. Где уж там думать, какой у тебя голос! Какой ни есть, а запоешь во всю глотку...

Но порой бывало так трудно! Спросите у тех же девчат:

— Не тяжело ли вам, дичинны, в комбинезонах, жухлых от краски, по металлоконструкциям лазать?

— Трудно, — отвечает, — очень трудно. — И, в свою очередь, спросит: — Где легко?



Из южной Башкирии приехал в Казань Анура Загидуллин.

Как бывает всегда при разлуке с родными местами, взгрустнулось неминуемо Ануру. Почему-то перед глазами встала пещера Салавата, куда их водили перед выпускными экзаменами. Учитель рассказывал живущую в народе легенду о народном герое Салавате Юлаеве. Салават в восемнадцать лет стал борцом за людское счастье. Ануру уже за семнадцать, а что сделал? Конечно, неплохо окончил десятилетку. И только. Теперь нужно пристраиваться к ремеслу. Но кем быть?

В Салаватском техникуме училище, куда он приехал с односельчанином Рансом Вахитовым, предложили выбрать: или слесарь по сантехнике, или пожарный в монтажники. О первой профессии Анура кое-что слышал от старшего брата, а о другой представления не имел. Попробуй разобраться, какая из них лучше. Молодое сердце потянуло к неизвестному.

— В монтажники бы хотелось, — робко выдавал он в ответ на пытанный взгляд секретаря приемной комиссии.

Работать на монтаже стальных конструкций оказалось делом не из легких. В этом Анура убедился сам, как только начал проходить производственную практику на одном из строящихся заводов.

«Ну, выбрал себе работу», — иногда думал практикант, усталое шагая с «монтажником». Но все чаще и чаще после смены у него вырывалось: «А все-таки здорово! Сколько сегодня сделано! Скоро и последнюю

секцию смонтируем, а потом...»

В такие минуты юное воображение рисовало необозримую даль и всюду ажурные каркасы заводских корпусов... Тут, пожалуй, не только порыв романтики, но скорее всего вкус к работе.

После училища — монтажная площадка. Но такова судьба строителя: пустыня в ход Салаватский химкомбинат, а первые бригады уже отъезжали на строительство Казанского завода оргсинтеза. Молодой монтажник, уже изрядно подержавший в руках слесарный инструмент, поехал на новостройку.

С техникой он уже не мог расстаться. Если учиться, так на инженера. Днем трудился с нами, а вечерами учился в химико-технологическом институте. Четыре года проработал слесарем-монтажником, прежде чем смысленному парню предложить должность мастера. Что ж, трудом добился.

Я не случайно рассказываю про Анура Загидуллина. На стройке немало молодых бригадиров, мастеров, прорабов, судьбы которых схожи или чем-то напоминают загидуллинскую.



О сень и зима тянулись долго. В тридцатиградусный мороз сварка приостанавливается, иначе все швы все равно переделаются. Тогда все принимаем за подгонку фланцев на аппаратах, завертываем болты, ставим заглушки, испытываем воздухом системы.

Зато весной и летом для монтажника раздолье. Зорово монтаж продвигается! Летом рабочий день уплотняется, курящие не расхаживают на перекуры, работают с папиросами в зубах.

Но и вечера монтажники умеют уплотнять. Правда, летом в школу или институт бежать не надо; по паркам, танцплощадкам для кого же?

Сегодня «сабантуй», и все забыты прочь. На озере Лебяжьем, куда мы приехали всей бригадой (кто с девушками, а кто и с женами), на берегу выбрали отличную лужайку. Антрей прихватил свою саратовскую. Колька Атаманов оказался отменным гитаристом.

Некоторые из нас впервые видели традиционный татарский праздник. Когда на майдаве начались народные игры и спортивные состязания, многим очень понравились татарские обычаи. Наши здоровяки Талип Муфазалов и Анатолий Максимчук вызвались бороться на кушаках. Мы не смогли удержаться от восторженных возгласов, когда наш Талип перекинул через себя двух претендентов на звание батыра.

— По-монтажному его! — кричал дядя Сережа. — Вот так! От имени бригады.

Жаль, что ни Талип, ни Анатолий не стали батырами. Все же их отметили призами. Талипу дали будильник, а Анатолию — почему-то детское одеяло.

— Смотрите, жюри знает, кому что давать. Талип дружит с подушкой. Будильник ему кстати, чтоб по раньне на работу вставал, — под дружный хохот сказал Антрей.

— Ну, а мне одеяло к чему? — спросил Толя.

— А ты думаешь, никто не видит, как ты перед одной девушкой расшаркиваешься? Пригодится одеяло, подожди, — ответил и на это Антрей.

В это день шуткам и смеху не было конца.



Сроки сдачи цехов в эксплуатацию начали поджимать. Уж сколько было народу на стройке, а все не хватало.

Многие бригады без всякой агитации стали жить удлинненным рабочим днем. Были забыты танцы, свадания.

На ходу искали пути к быстрейшему окончанию монтажа сразу нескольких цехов. Молодежная бригада Владимира Мухина первой в Союзе начала устанавливать ректификационные колонны заизолированными до подъема. Когда весной 1963 года Владимир Мухин рассказывал об этом на совещании строителей в Северодонецке, многие заинтересовались новинкой в монтаже. Самы судите, поднимать колонну — надо вокруг нее леса строить, затем материалы наверх таксировать и производить изоляцию. Так очень неудобно, а по-мухинскому куда быстрее и экономичнее.

Искали более рациональные способы монтажа и в нашей бригаде. Железнодорожные платформы подкатили нам партию новых аппаратов для одного из корпусов. Среди них были и емкости с системой труб и приборов весом по двадцать тонн. Разгрузить мы разгрузили, теперь предстояло установить их на высшей отметке корпуса.

Такие машины нам и раньше приходилось поднимать наверх. Но тогда мы сами старались укрупнить



систему, добавляя связанные элементы на земле. Так экономичнее монтировать. Тогда такой способ подсказывала сама обстановка. Обвязка систем только начиналась, да и само здание было не достроено. По расчетам прораба, изготовили мачты, задвигали тросами, и через оттяжки — «взир, помалу!». Быстро мы тогда закончили дело. Управление премировало нас.

Но теперь аппараты запоздали к сроку. Кровельщики на крыше корпуса уже заливали гудроном руберойд. Как-никак, а аппараты должны быть на месте. Поразмусьлив, решили затаскивать через дверные проемы. Целый день провозились с одним аппаратом. Одежда ребят стала мокрой от пота, по лицу бежали соленые ручьи. Перенервничали все, пока наконец аппарат установили на место.

— Нет, хлопцы, так дело не пойдет, — тяжело вздохнув, вымолавила дядя Сережа. — Эдак мы целый месяц провозимся — и задание к сроку не выполним и заработаем на воду. На улице еще девять таких же штукונים ждут. Смотрите, стены обшарпали, перила перегибали. Людской труд ведь это. И я, старый, вас послушал. Не зря говорят: семь раз отмерь... Давайте еще раз подумаем, как лучше.

Предлагали разные варианты. И всякий раз, взвесив все плюсы и минусы, отвергали. Кто-то посоветовал разобрать по частям, ведь аппараты разборные. Думаем: денька два разбирать, столько же затаскивать, а затем собирать — замучаемся.

— Такой номер не пойдет, — сказал дядя Сережа. — Думайте, молодежь, чего языки проглотили!

— А если краном...? — робко начал Толька Максимчук, но тут же его прервал Коляка Атаманов.

— Ха! Краном. А куда поднимь им? Кровельщикам на покраску? Хе-хе...

— Постой, ты! «Хе-хе!» Дело предлагает парень, — ухватился за мысль дядя Сережа. — Пусть кровельщики... Как это сразу не додумались?! Говорили им: чуть подождать надо с кровлей. На время нужно попросить строителей отсюда. Разберем несколько плит и через проем в крыше краном «смайлнуем». — Он весело прищелкнул пальцами, благодарно потрепал по плечу Тольку. — Молодец, ластящийся монтажником растешь! — сказал он Максимчику и добавил: — Самое большее — дня три потребует. Раза в два дешевле обойдется.

В самом деле, установку аппаратов мы закончили раньше срока. Предложение Максимчука здорово нам помогло. С тех пор мы активнее стали в спорах.

Ко второму году работы на монтаже многим из нас повисли разряды по специальностям, и зарабатывали мы сносно. Нашей бригаде одной из первых присвоили звание коллектива коммунистического труда.

До сих пор у нас было столько же праздников, как и у всех. Теперь в календаре для нас отведен еще один красный день — День строителя. Знать, умеет ценить народ трудные профессии. Одна из древнейших и вечно молодая профессия строителя зародилась и живет среди людей как неотъемлемое условие самой жизни. И, считай, всякая работа строителя — памятник человеку-творцу. Что бы они ни строили — все на благо людей делается.

Мы к празднику старались приурочить все свои трудовые достижения. Как правило, успехи были, не то какой же тебе праздник! И эти успехи отмечали в День строителя всегда вместе. К этому обычно присоединялись события в личной жизни кого-нибудь из нас. Кого в армию надо провонить, кого встретить, а то кто-нибудь задумает жениться. А свадеб у нас немало сыграно. Ведь большинство из нас до этого

был холостяками. Этим вечером мы по-своему благословляли на любовь-дружбу Анатолия Максимчука и Зою Семенову, ту самую, которая маляром на «эти жерях» работала.

Анатолий и Зоя начали трудовую дорогу на этой стройке. Оба жили в молодежных общежитиях, и у них не было в Казани родных. Воспитывались в детдомах, и судьба их не बदолала. Мы хотели, чтоб молодые были по-настоящему счастливы, и веряли, что так будет. Сварщики в честь свадьбы напавшим металлом на балке: «На этой высоте скрестились пути-дороги двух наших современников — Толи и Зои. Они хотят мира. 1962 год».

В клубе строителей собрались все знакомые Зои и Толи, представители из управления. Посажеными родителями стали наш дядя Сережа и Анастасия Петровна Дубинина, старший маляр стройки. Люди они много повидавшие, так что все честь по чести делалось. И хлеб-соль, и тосты, и требовали от молодоже-

нов «подсластить» налитое в бокалы... А когда они целовались, многие ребята тяжело вздыхали. Кто знает, может, у них в уме было самим жениться на прелестной Зое... Председатель нашего стройкома Казым Латыпович Газизов вручал поборщикам ключи от новой квартиры. Мы все аплодировали хорошему подарку, который приготовил застройщиком.

Так еще одна пара нашла свое счастье здесь, на большой стройке.



П риблизился пусковой период. Рядом с нами уже работали будущие аппаратчики завода, хотя в большинстве они же были первыми строителями. Так, из нашей бригады в техническое училище химиков ушли пятеро монтажников и вернулись в цехи с дипломами эксплуатационников. Раз по вкусу химия — пусть работают. А те, кто вырос в монтажное дело, переходили на новые объекты строительства. Для нас сколько ни строй, а работы все непочатый край.

Весело мигают сигнальные лампы на высотных установках завода. Они светятся далеко-далеко, переговариваются со светящимися окнами, за которыми живут те, кто строил завод. Не прошло время стороной и мимо нас.

Мы все читали в газетах, как мой друг Алим в зимнюю стужу с новыми друзьями-комсомольцами перекрел Енисей. Не только мы — весь мир восхищался.

Про нашу работу, правда, лишь коротко сообщали: в Казани пущена первая очередь завода органического синтеза. Быть может, это скуповато. Но главное — завод работает.

г. Казань. Строительная площадка химзавода.
Октябрь 1958 — август 1963.



Леонид ЛИХОДЕЕВ

К Л Е Ш Н Я

Это фельетон не о ценителях искусства, а об оценщиках. Бывают люди, которые не научились ценить, но уже торопятся категорически оценивать, так сказать, наотмашь. Бывают люди, которым чуждо туманное понятие «эстетическое наслаждение» и очень близко понятие «к чему бы это можно приспособить». Они смотрят на «Княжну Тарakanову» и считают, сколько кубометров воды выливается в ее каземат за одну минуту. Они смотрят на «Боярыню Морозову» и учатся, как запрягать лошадей. Они смотрят пейзажи Левитана и прикидывают, сколько желтой краски пошло на «Золотую осень». У них особый взгляд.

Оценщик берет журнал, ставит его перед собой на попа и начинает вглядываться в текст и в иллюстрации. Он никогда не читает с начала до конца, никогда не получает от чтения удовольствия и ничего не переживает с героини. Он ставит перед собою текст, прикладывает козырьком ладонь ко лбу и предвкушает добычу.

Добыча эта такая:

«Петя взял Машу за руку».

— Взял все-таки, сукин сын... — сладострастно бормочет оценщик-любител и добавляет: — Распустились...

«Клава уткнулась в грудь Валерия».

— Ага! Уткнулась! Утыкайся, утыкайся... Доутыкаешься... Вот недавно лекцию читали. О распушенности. Особенно среди девочек.

Но когда герои начинают целоваться, любитель отводит руку, которую держал все время козырьком. Он берет в десницу карандаш и пододвигает к себе вспомогательной шуйцей листок бумаги. Он в этот момент похож на рака с двумя безработными клешнями. И ему очень желательно чего-нибудь откусить. Сам он никогда в жизни не целовался, детей ему принес аист, а самого его нашли в капусте во время борьбы с вредителями овощных культур: боролись-боролись, смотрят — лежит!

Он никогда никого не любил, его никогда не лихорадило под городскими часами, он никогда не плакал от ревности. Он никогда не дарил цветов просто так, без повода и случая. Единственный раз он разорился на это дело, когда хорошии сослуживца и собирали на жестяной венок.

Итак, он берет карандаш и бумагу и делает выписки из высмотренного. Я говорю из высмотренного потому, что и читает он и смотрит на картины не как все нормальные люди, а как особо уполномоченное лицо с целью доложить о замеченом.

Что же он высматривает?

«Она умела показывать все, что было в ней красивого».

Это его возмущает:

— Видел, какое безобразие! Вместо того, чтобы скромно прикрыться рожей, она еще показывает свое несчастье нашим простым людям! Оттачивает! Хвалится! Да... Распустились... А фигурка, наверно, не плохая. Поглядыте бы... Тем более автор пишет, что у нее там ноги всякие, колени...

И оценщик пишет с гневом:

— Чему может научить автор?

И автор хватается за голову.

Но оценщик не дает ему хвататься. Он снова прикладывает ко лбу ладонь козырьком и смотрит на автора, как на поле боя, покрытое поверженным неприятелем.

— Ага! Попалась! Колени, говоришь? Да еще теплые? Губы, говоришь? Красоту показывает? Подъем ноги у ней выдающий? Так! Признавайся!



Рисунки В. Сидура.



— Да,— бормочет автор,— она красисая...
И тогда любитель клавает своей клешней:
— Клевета на нашу молодежь! У нашей молодежи нет коленей! Нет губ! Нет ног! Ей все это чуждо!
— Хорошо,— говорит автор,— но идет-то она на ногах и, как поется в песне, грудью ветер разрезая...

Но оценщик не унимается:
— Это не та грудь! И не те ноги! Это стальная грудь и железные ноги! А не ваши теплые колени!

Вот такой разговор заводит оценщик-любитель. А чтобы не быть голословным, я приведу выдержку из его письма в редакцию по поводу одной повести, напечатанной в журнале:

«Перед нами, учителями, выступил работник милиции с просьбой, чтобы мы как можно больше проводили воспитательную работу, особенно среди девочек. Но что стоит работа, может быть, на одной тысячи учителей, наши беседы, если одно такое «произведение» сводит на нет всю эту работу?»

Мне искренне жаль автора письма. Действительно, что стоит такая работа, если всю ее сводит на нет одно произведение! Ничего она не стоит.

Короче говоря, оценщик явно выбирается в моралисты. Он просто не может себе представить, чтобы красота не несла в себе разрушительных аморальных функций. Ему кажется, разврат начинается именно здесь — возле книг и полотен. Ему кажется, что мерзкая распушенность берет свое начало не в жизни, а на бумаге и на холсте. Он убежден, что искусство существует не для осмысления жизни, а для обезьяньего подражания. Он полагает, что искусство служит не для расширения взглядов, а для довольствования своими скудными представлениями о том, о сем. Примеривая к высокой идее свои жалкие представления, он оберегает себя от необходимости думать, поскольку думать ему просто лень...

В этом самом месте ценитель-моралист накинется уже на меня:

— Как! В журнале для юношества критиковать учителя! Ронять его авторитет! Вместо того, чтобы воспитывать, особенно девочек?

А как воспитывать особенно девочек? Например, так, что ли:

— Мальчики! Не смейте читать этот фельетон! Он для девочек!

Мальчики сразу краснеют и идут играть в лото.

Или наоборот:

— Девочки! Этот фельетон — бяка. Он только для мальчиков.

Девочки тоже краснеют и идут вышивать гладью.

Оценщик-моралист думает, что наши милые послушные дети моментально разбегутся, едва только увидят надпись «Детям до шестнадцати лет нельзя...». Калачом не заманишь!

А тем не менее и у мальчиков и у девочек есть глаза и ресницы, и брови, и губы, а у некоторых — даже красивые волосы. Имеются у них даже руки, ноги и колени. И у девочек они красивее, чем у мальчиков. Такова уж игра природы. Но именно это обстоятельство не дает покоя моралистам-любителям, которые произошли от капустного листа, особой красотой не отличающегося. Поэтому они считают себя единственными знатоками вопроса: как быть с таким несчастьем, как живой и теплый человек?

Что же происходит?

Происходит ханжество. Происходит ложь, прикрытая ангельскими хитонами. И дети в возрасте до шестнадцати лет понимают это не хуже детей в возрасте после шестнадцати. И напрасно автор приведенного письма жалуетесь на то, что одним произведением сводится на нет вся его работа. Ничего она не сводится. Ее и нету вовсе. Потому что это неправда. Потому что ложь лежит в самом ее существе. Судите сами: «особенно среди девочек». А «особенно среди мальчиков»? Понимаете, существует, вероятно, «общая работа» — это, когда про стальную грудь и про железные ноги. Конечно, лучше бы, чтобы человек состоял исключительно из этих деталей. Тогда было бы все в порядке, работа бы не сводилась на нет одним произведением. Но в проклятом произведении написано, что колени теплые. Потрогаешь себя за колени — и действительно, теплые! И как это автор допер! Не иначе — подсмотрел в жизни! Дай-ка и я загляну в щелку. Может, еще и не то увижу. Интересно!

Любить вообще, конечно, хорошо. Дружба, товарищество, любовь, самодеятельность, кружковая работа. Массовое мероприятие! Но любовь в чистоте стыдно. Шепот, робкое дыхание, трели соловья. Никакого массового охвата. Начнешь охватывать — только соловья вслугнешь.

А между тем искусство занималось главным образом частностями. Джульетта, например, любила своего Ромео совершенно частным образом, не прослушав ни одной лекции о любви и дружбе. Более того, за любовь она заплатила смертью. Может быть, эта девушка покажется нам этически отсталой. Есть даже такая развеселая песня-лозунг: «Любить — так сильней, чем



Ромео Джульетту!» Лично я на этом не настаиваю. Конечно, дай бог нашему телу волка съест. Но даже любить в подобную силу тоже неплохо...

И тут просто необходимо отметить благородный порыв оценщика-любителя. Он, видите ли, борется с развращенностью. Допустим. Но как он это делает? А по своему усмотрению. Из-под ладошки.

«Подобное производит культивирует грязные мысли», — пишет он.

Культивирует, стало быть. А что такое грязные мысли? Грязные мысли — это запятанные чистые. Берется чистая мысль и приставляется к ней замочная скважина. И все. И мысль уже грязная. Потому что Венера Медницей — символ красоты и чистоты — можно заподозрить в развращенности по весьма доступной причине: она голая. Но автор ее, можно с уверенностью сказать, был довольно далек от этой идиотской гипотезы. Он не виноват, что не дал возможности перегруженным своей культурностью моралистам-любителям домыслить: чего это там у человека под одеждой? Он вероломно лишил их единственно доступного им взгляда на жизнь: сквозь замочную скважину. А между тем существует прекрасная древняя легенда о скульпторе, который, создав мраморную женщину, молил богов, чтобы они ее оживили, — настолько она была прекрасна. И боги пошли навстречу пожеланиям художника, поскольку не знали еще, что такое замочная скважина, и смотрели на мир чистыми глазами, как смотрят на чудо правдивые, простодушные дети.

Хуже всего, когда моралисту попадаете в поле зрения, как говорится, обнаженная натура. Тут он уже начинает стрелять без предупреждения.

«Не умаяла таланта художника», — пишет моралист, — что редакция преследовала, помещая голую женщину для обозрения 15—17-летних ребят?»

Видите, как! «Голую женщину для обозрения!» Вроде как поганую надпись на заборе. Дескать, ребята! Гляди! Голая баба! У-лю-лю... Не это ли и есть развращенность?

Понимаете разницу между обнаженной натурой и голой женщиной, помещенной для обозрения? Микеланджело, например, никакого «Давида» не лепил. Он вылепил голого со всеми подробностями мужчину (какое неприличное слово!) и установил его для обозрения. Смотрите, мол, кто не видел, какой бывает голый дядька! А то, что его «Давид» мужествен, юн, чист, задумчив, красив, — это значения не имеет.

Развращенность существует. С развращенностью надо бороться. И гораздо крепче, чем думает моралист-любитель. И гораздо шире, чем он преподает. И не с помощью ханжества и предрассудков, а с помощью правды. Но ведь искусство и воюет с развращенностью! Искусство и развращенность — вещи взаимоисключающие! Потому что искусство — это правда, а развращенность — это мерзкое поругание самого себя, жалкое, хвастливое возвеличение своего ничтожества.

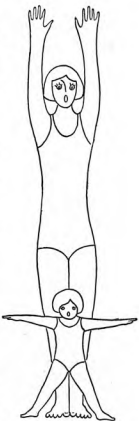
Так вот есть лица, которым эта разница не ясна. Они обращают внимание только на то, что они уже знают. Они знают, как устроен человек (видели в бане). И больше их ничего не интересует. Поэтому, видя обнаженную натуру, они кидаются прежде всего смотреть то, что им уже известно. И довольно насмотревшись и убедившись, что художник изобразил все, как надо, начинают кричать, что можно уже одевать. Между прочим, так поступают жутко мудрый моралист-охранитель и успевшие тунуться носиком в грязь юные сопляки...

Так получилось, например, с живой, теплой, человеческой картиной А. Платова «Весна». На ней изображена обнаженная женщина, одевающая девочку возле бани. Обнаженная, а не голая. Может быть, в обиходе разница между этими словами не улавливается. Но на обнаженных смотрят, восхищаясь. А на голых подглядывают, пуская слюну.

Итак, «что редакция преследовала, помещая голую женщину? Или, как пишет другой оценщик, «не лучше бы нарисовать эту молодую мать в купальном костюме на воздухе, делающей спортивные упражнения? Тем более третий оценщик тревожится о судьбах искусства тем, что «на улице холодно. Но женщина раздетая — это как-то нереально».

И почему обязательно «молодая мать»? А может быть, это девочка старшая сестра? Или тетя? Или просто соседка? А может быть, она не умеет делать «спортивные упражнения»? А может быть, наоборот, она занимается зимним купанием, нырянием, и ей не страшен мороз. Сказано же: ни мороз нам не страшен, ни жара.

Но как бы то ни было, никто из этих трех критиков картины не увидел ничего, кроме того, что можно увидеть в замочную скважину. А между тем А. Платов изобразил здоровое, красивое тело энергичной, заботливой женщины. Он изобразил легкий, невесомый снежок, какой бывает только весной, когда, как говорится, из небесных сусеков последнее метут. Он изобразил человеческое настроение, свойственное весенним предчувствиям. Сочные краски, без которых живописи не бывает, создают это настроение. Но моралисту плавать на живописи. Ему все равно: мрамор — не мрамор, холст — не холст, какая разница!





Согласитесь, что делать откровение из своих практических знаний просто глупо. Все знают всё. И даже читатели юношеского журнала.

Перед художественным произведением, что бы ни было на нем изображено, люди думают, размышляют, обобщают, всматриваясь в замысел. Но поставьте перед ними замочную скважину, и вы тотчас услышите пошадное ржание дураков. И вы тотчас услышите советы, где покупать купальники и бюстгалтеры. И природа — веселая, открытая, чистая и свежая — окажется вымышленной ночью дегтем ограниченных людей, возводящих свою ограниченность, свое невежество, свой кухонный утилитаризм в степени непререкаемой истины. И истина эта грязна, потому что происходит не от честного взгляда, а от развращенного подглядывания.

Надо все-таки понимать, где художественное произведение, а где анатомический атлас с пририсованными усами.

Яркому, бурному расцвету искусства в истории человечества предшествовал мрачный период средневековья, когда за чистые мысли сжигали, когда свирепые фанатики хотели превратить человечество в однородную легкую икру без глаз, без бровей, без ног и без мыслей. Я не хочу утомлять читателя, но высказывания тогдашних мракобесов ничем не отличаются от проповедей нынешних доброхотов-моралистов. Они сводятся к одной задаче: убивать в человеке чувство прекрасного, навешать на него вериги и задушить его позором.

Но прекрасное существует. Существует мудрый Рембрандт и неуемный Рубенс, существует грозный в своем смехе Рабле и веселый Боккаччо. И весь ужас в том, что существуют они уже задолго до того, как нашим мальчикам и девочкам стукнет по шестнадцати лет. Но если этим мальчикам и девочкам постоянно талдычить, что под одеждой все люди голые и при этом они еще делятся на мужчин и женщин (какой позор!), старик Рабле помрет, не родившись в их сознании, потому что побегут они не к нему, не к человеку Рабле, а к замочным скважинам. Потому что легче всего научить человека видеть мир через замочную скважину.

Весь этот взгляд оценщика похож на тот случай, когда хлещут горькую, проповедаю сухой закон. Надо, так сказать, первым крикнуть что-нибудь сугубо моральное. И крик этот, как эталонное раскание, прикроет грех собственного недомыслия. Насмотришься вдоволь, а потом вылезешь на амвон и покриошь позором.

То-то и оно, дорогой читатель. Возлюбленная формула ханжей — грешить и каяться. Покаяйтесь, и вам простят. Вам простят грех, но не простят, если вы в нем не покаетесь. А почему? А потому, что приятно смотреть на раскаивающегося.

— Ну-ка, негодяй, расскажи все, как было! Да с подробностями! Интересно!

— А теперь раскайся! Скажи, что больше не будешь!

И вырастают мальчики и девочки, которым раскаяться — раз плюнуть. Раскаешься — отцепятся до следующего раза. Потому что ханжа считает себя заведующим вашим внешним обликом. Чтoб налицо все было по описи: грудь стальная, ноги железные, взгляд огневой. Ну, поступишь себя а якобы стальную грудь якобы железным кулачком. Жалко, что ли! А некоторые даже и не каются. Мерзкое самопоругание кажется им высшим достижением самостоятельности. И искусство здесь совершенно ни при чем. Здесь ни при чем обнаженная натура, как и откровенная чистота литературных героев. Здесь «при чем» только слюнявое соучастие в том, что существует лишь в грязной фантазии.

А ведь грудь не стальная! Это каждый сизмалства знает. Не стальная она и не стальная. И колотится в ней сердце. Гулко и тревожно. И есть два пути: один — грешить и каяться, а другой — чувствовать себя частицей удивительного мира, в котором поют птицы и живут книги, полощется небо и цветут цветы. Мира, в котором совершенно задаром, ничего не требуя взамен, сверкают звезды, сгущаются тучи, хохочет солнце, идут дожди, облетают листья и поднимаются подснежники. В этом мире есть все — радость и печаль, грусть и веселье. В нем есть и стихи, и вино, и розы, и музыка.

И есть в нем теплые колени женщины и прекрасное ее лицо, без которого просто не было бы ни этого удивительного мира, ни поражающей мощи жизни.

И не надо прикладывать козырьком ко лбу ладошку. И не надо смотреть в замочную скважину. Все ясно. Все чисто и открыто.

Я вижу, как уже кладеет своей клешней оценщик-моралист:

— Ага! Попался! Вместо того, чтобы клеймить, что проповедует!

А я ничего не проповедаю. Я просто хочу поздравить читателей с Новым годом, с новыми звездами и с чистыми мыслями.



ХУДОЖНИК-РЕВОЛЮЦИОНЕР

(К столетию со дня рождения
А. С. Голубкиной)

В одном из залов Музея К. Маркса и Ф. Энгельса установлен бюст Карла Маркса. Этот бюст далек от холодных, схематичных, с геометризованными формами монументов первых лет Октябрьской революции. И еще более далек от портрета благообразного величественного старца в застегнутом на все пуговицы сюртуке, каким нередко изображали великого Маркса в годы культа личности.

Перед посетителями музея образ борца, революционера, страстного оратора и полемиста, человека огромного темперамента. Сократовский лоб гениального мыслителя, острые глаза — таким изобразил Маркса скульптор. Громадный внутренний накал, необычайное напряжение художник передал в самом ритме скульптуры — живом, энергичном, обостренном, заставляющем и самого зрителя быть в напряжении, волноваться, переживать.

Этот бюст — первый скульптурный портрет Карла Маркса в России. Создала его в середине 1905 года Анна Семеновна Голубкина.

Интересна история бюста. Он был выполнен по просьбе Московского комитета РСДРП. Оригинал скульптуры Голубкина передала в распоряжение комитета. Были изготовлены гипсовые копии, которые нелегально продавались: от десяти до двадцати рублей каждая. Полученные деньги шли в фонд партии. Иногда бюст К. Маркса комитет дарил людям, оказавшим какую-либо помощь партии. Так, например, pianistu М. Мейчику бюст был подарен в декабре 1905 года за концерт в пользу Нижегородской организации РСДРП.

Многие годы искусствоведы и историки считали, что бюст был создан Голубкиной в 1907 году. Дело в том, что в конце 1914 года, когда в Москве была открыта персональная выставка художницы, в каталоге, составленном самой Голубкиной, бюст был датирован 1907 годом. Эту дату скульптор поставила сознательно, чтобы обмануть полицию: требовалось ее официальное разрешение для открытия выставки. Окололотный пристав, который предварительно просматривал выставку, ничего не слышал о К. Марксе,

зато хорошо знал издателя популярного тогда журнала «Нива» А. Ф. Маркса. И чтобы не вызывать у полиции ненужных ассоциаций с революцией, Голубкина вместо 1905 года написала 1907-й.

Лишь несколько лет назад люди, лично знавшие А. С. Голубкину и сами принимавшие участие в первой русской революции, помогли установить точную дату создания бюста Маркса.

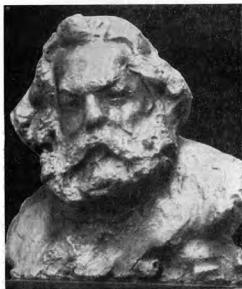
Комитет РСДРП не случайно обратился именно к Голубкиной с просьбой создать скульптурный портрет великого революционера. Точно известно, что уже с 1882 года восемнадцатилетняя Анна Голубкина находилась под негласным надзором полиции за хранение и распространение нелегальной литературы.

В 1891 году Анна Семеновна поступила в Училище живописи, зодчества и ваяния. И сразу же привлекла всеобщее внимание молодежи своими революционными настроениями. В курилке училища, в этом, по воспоминаниям художников, революционном клубе, Голубкина — высокая, худая, строгая — выступала со страстными призывами к борьбе с самодержавием. Именно там ее увидел художник В. Е. Маковский. Молодая женщина поразила его своей внешностью, своим внутренним горением. Маковский в то время работал над картиной «Вечеринка» и, увидев Голубкину, ввел в свою композицию фигуру молодой революционерки — в черном платье она стоит у стены с папироской в руке.

Служение искусству и революции в жизни Голубкиной были нерасторжимо слиты воедино.

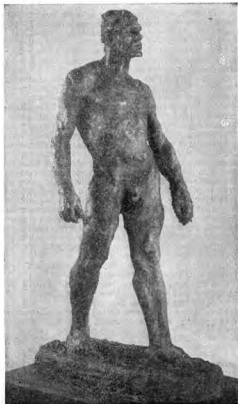
Она родилась 28 января 1864 года в Зарайске, Рязанской губернии, в бедной крестьянской семье бывших крепостных князей Голицыных.

Мать Анны Семеновны была из тех замечательных русских женщин, которых в народе называют



А. Голубкина.

К. Маркс.



А. Голубкина,

Идущий.

«ходячей совестью». Когда читаешь письма этой полутрамтовой женщины к своей дочери в Париж (в годы учения Голубкиной у Родена), поражаешься глубиной мысли и образностью языка. Как известно, Роден в 1898 году по заказу Общества литераторов Франции сделал проект памятника Бальзаку. Официальные круги не поняли всей гениальности этого проекта и отвергли его. Мать Голубкиной по-своему откликается на это событие. Она пишет: «Уж какой Роден великий и то не потрафил на своих вельмож. А ты работай, иди своей дорогой, думай своей головой».

В Париже в 1897 году Анна Семеновна делает первую попытку создать образ полного решимости и воли пролетария — скульптуру «Железный». К этой же теме она обращается снова в 1903 году.

Год революционного подъема, массовых стачек, пробуждения народного сознания. Голубкина создает скульптуру «Идущий». Обнаженный мускулистый рабочий упрямо и непреклонно шагает к своей цели.

Есть такое ходячее выражение: «Лицо — зеркало души». Оно справедливо, но недостаточно. «Руки и ноги», — говорила Голубкина своим ученикам, — так же выразительны, как и лицо...» Все без исключения

части тела, каждый мускул выражают характер человека, его душевное состояние. Если бы скульптор одел своего «Идущего» в рабочий костюм со всеми его внешними деталями, снабдил его полагающимися атрибутами, скульптура потеряла бы свое символическое значение, превратилась бы в жанровую фигуру и стала бы обменно-иллюстративной. А «Идущий» Голубкиной вырастает до символа. И, глядя на него, невольно вспоминаешь слова народного художника В. И. Мухомова, что скульптура — это идея, выраженная телом.

В 1906 году Третьковская галерея покупает у Анны Семеновны ее скульптуру «Мария» за тысячу рублей. Эти деньги художница передает партии.

В 1907 году за распространение позваний МК РСДРП Голубкину арестовывают. Ей грозит заключение в крепости, что для нее, больного человека, равносильно смертному приговору. Тогда по инициативе художественного критика Сергея Лаголя (псевдоним С. С. Голоушева — революционера, участника знаменитого процесса 193-х) московские прогрессивные врачи дали московской судебной палате справку, будто Голубкина психически неизлечима. Модный, эстетствующий помощник прокурора, «поклонник искусства» и меценат, хотя и требовал заключения обвиняемой в крепость, но признал врачебную экспертизу. Поведение Голубкиной на следствии и в суде показалось и суду и прокурору странным: она не отрицала обвинения, но отказалась что-либо сообщать и называть какие-либо фамилии. В резкой форме она заявляла, что не будет отвечать на вопросы суда. Хотя суд и приговорил ее к заключению в крепость, но по «неизлечимости» художница была выслана из Москвы и находилась под надзором полиции.

В 1913 — 1916 годах Голубкина организует занятия скульптурой с рабочими — слушателями Пречистенских рабочих курсов... Сохранилось письмо Голубкиной к своему ученику — рабочему Кондратьеву — на фронт. Оно адресовано в действующую армию, гренадерский корпус, 2-й гренадерский полк, 11-я рота, датировано 26 февраля 1915 года. Письмо сильно вымарано военной цензурой.

«Дорогой ученик Кондратьев. Очень рада Вашему письму. Новости у меня такие: сделала я выставку в пользу раненых, посетителей тысяч 11, т. е. пожалуй, тысяч 5 наберется денег. Это хорошо. Посылаю Вам открытку с выставки и далее отложила для Вас фотографии, когда вернетесь — получите. Немного скучное Ваше письмо, а Вы бы не очень скучали. Вы видите теперь последнюю войну, уж больше, наверное, не будет того. Вы, пожалуйста, побольше все рассматривайте там, напишите, а приедете — расскажите нам — ведь это такое неслыханное... (далее все зачеркнуто цензурой), что там у Вас творится — пожалуйста, гласите побольше и слушайте, разглядывайте людей, которые Вас окружают...»

Голубкина встретила Великую Октябрьскую социалистическую революцию восторженно. Она принимает участие в Совете рабочих депутатов, в организации Союза художников. А уже тяжело больная преподает скульптуру в Вхутемасе.

Анна Семеновна скончалась 7 сентября 1927 года. Ее творчество до сих пор не получило настоящей, марксистской оценки. В период культа личности творчество Голубкиной несправедливо замалчивалось. Между тем работы Голубкиной, так же как произведения А. М. Горького в литературе, являются определенным этапом, рубежом, от которого начинается наше социалистическое изобразительное искусство.

Б. АЛЕКСЕЕВ

«ТРУДНЫЕ» ПРИШЛИ НА ЗАВОД

«Попов Валентин, 15 лет, неоднократно убегал из дома, хулиганил; ...Лось Анатолий, 13 лет, много раз бросал школу; ...Арибузов Геннадий, 14 лет, крад у матери деньги; ...Логашкин Слава, 14 лет, участвовал в драке, украл грампластинки...»

— Может быть, хватит? — оторвавшись от списка, спросила заведующая детской комнатой милиции.

Нина твердо ответила:

— Нет уж, давайте всех ваших трудновоспитуемых...

А Николай не в первый раз повторял:

— Какие они преступники — пацаны еще!..

Но когда вышли на улицу, оба невесело переглянулись: как оно обернется, дело, которое затеяли? Очень уж все это непривычно.

Николай Кобзев, прежде чем стать секретарем Феодосийского горкома комсомола, преподавал в школе литературу, немецкий и украинский. Нина Еременко, инструктор школьного отдела горкома, раньше тоже работала учительницей. Но, вспоминая то время, оба сейчас со стыдом чувствовали, что опыт ничего не подсказывает им в новом деле.

А что делать теперь, когда в руках у них список подростков, имеющих приходы в милицию? Чем можно заинтересовать этих ребят, как вернуть их к честной жизни, к учебе?

Несколько дней назад, когда эти вопросы обсуждались на бюро горкома, кто-то вспомнил, что в соседнем южном городе сделали так: собрали всех «трудных» и повезли их на пароходе по морю, поехали в кино, в музей, чтоб они не скучали. Ну, а потом? А потом, кажется, взяли слово, что ребята больше хулиганить не будут. Помогла ли такая мера, никто не знал.

— На завод бы их, к станку, — сказал один член бюро.

Через несколько дней Нина Еременко расклеила открытки по адресам, полученным в детской комнате милиции. А еще через день в горком стали являться и сами «герои»: неряшли, взвинченные, с колючим взглядом Попов

(сквозь зубы сказал: «Не очень-то мы любим, когда нас вызывают»); не по годам рослый Лось — в ковбойке, расстегнутой аж до пояса; приглаженный Логашкин — всего восемь человек.

Николай Кобзев начал сразу с главного:

— Ребята, хотите на завод?

Наступило молчание. Кобзев ждал с напряжением: неужели все усилия напрасны? А ведь еще вчера пришлось ему уговаривать директора Механического завода, чтобы взял он к себе в хорошо слаженный рабочий коллектив восемь сорванцов с хулиганскими



Вали Попов и Александр Сальцын.

наклонностями! Хорошо еще, комсомольский секретарь завода Володя Глазев поддержал. Уж какие только доводы не пускали в ход: и играли на директорском самолюбии («Что же мы, всем коллективом не сможем восемь ребятшек на ноги поставить!»), и обращались к его чести («У нас уже семь человек на общественных началах учатся, нас другим заводам в пример ставят»), и, наконец, просто убеждали, что по-человечески жалко ребят — пропадут ведь. Директор наконец сказал:

«Ладно, приводите завтра — посмотрю».

И вот теперь — тягостное молчание, а потом наконец чей-то голос, словно в насмешку:

— Посмотреть надо...

— Хорошо, пошли...

...И началась у ребят новая жизнь. Утром вместе с гудком направлялись они на завод; это было первое условие — строго придерживаться дисциплины. Второе условие заводских комсомольцев — учеба. Все ученики должны посещать вечернюю школу. Расчет был двойной: во-первых, подростки вернутся к школьным занятиям, а во-вторых, у них не будет свободного времени для озорства: до двенадцати на заводе (по четыре часа в день), потом — домашние задания, потом — школа. И, наконец, третье — всем поднянуться внешне, чтобы не уронить достоинства членов передового коллектива.

Труднее всего пришлось, как ни странно, с последним условием. То и дело приходилось заставлять новичков подбирать окурки: бросали где попола. Не сразу привыкли к тому, что курить в цехе нельзя. А Толик Лось ходил в своей заливхватской соломенной шляпе, пока кто-то из пожилых рабочих не заметил удивленно:

— Это что же за артист на заводе объявился!

Но к станкам жадно потянулись все сразу. Очень уж заманчиво было представить, что когда-нибудь сможешь работать так же точно, уверенно, вдумчиво, как Александр Сальцын, был так же красиво, легко, словно играючи, как Виктор Глазков.

Неуравновешенный, запальчивый Вали Попов сразу как-то легко почувствовал себя со спокойным и добродушным Александром Сальцыным. Александр мало его расспрашивал, зато охотно отвечал на вопросы.

Попов оказался понятливым учеником. В первые же дни он сделал большие успехи. А что касается его жизни вне завода, Попов был твердо убежден, что это никого не интересует. Каково же было его удивление, когда, пропустив однажды занятия в школе, он на другой день услышал:

— Ты что же прогуливаешь, дружок?

Валентин издернул независимо плечом, но, увидев непривычно расстроенное лицо Саши, помрачнел:

— Да вчера контрольная по алгебре была, а она мне тутو дается, алгебра.

— Только-то? — Сальцын, кажется, даже обрадовался. — Ну вот что, с сегодняшнего дня начинаем сразу после работы заниматься алгеброй. А то какие же мы с тобой будем специалисты без математики!

«Мы» — это, конечно, было сказано из деликатности, потому что сам Сальцын, занимаясь вечерами, кончил десятилетку, а сейчас кончает техникум.

В этот день Валентин ощутил незнакомое ранее состояние человека, у которого вдруг объявился старший брат — добрый, но требовательный. Александр так и сказал: «Считаю меня своим братом. Помогу в любом деле. Но если где сорвешься, уж не взыщи — спрошу строго».

Бесшабашный Логашкин, недавний озорник, хулиган, с которым не могли справиться ни учителя, ни мать, ходит сейчас по пятам и влюбленно смотрит на своего нового друга Глазкова — чудесного токаря и лучшего футболиста города. А какой пацан не сочтет за счастье хоть в чем-то походить на Виктора? И Слава, насмешливый, независимый Слава, пытается подражать своему учителю во всем. Он старательно воспроизводит ловкие движения Глазкова у станка, так же обстоятельно вытирает черные от масла пальцы ветошью, даже ходит стал по-глазковски — откинув плечи и чуть пружиня. А уж на матчах с участием Виктора он ходит регулярно — ни одного, кажется, не пропустил.

Работа у станка и спорт — не лучшие ли это учителя для «трудных»? Глазков, во всяком случае, считает, что это именно так. Он даже сердится, когда ему напоминают о его благородной миссии воспитателя. «Да бросьте вы их пичкать «воспитанием», — говорит он, — лучше организуйте в городе несколько спортивных школ, футбольные детские команды, дворовые спортивные площадки да устраивайте почаще соревнования среди ребят».

И главное, конечно, — на этом сходятся все мнения — не изгонять «трудных» из коллективов, спортивных ли, школьных, рабочих. Вот почувствовали себя ребята на Механическом заводе рав-

ноправными членами — и как охотно, как дружно отозвались они на призыв принять участие в общественной жизни! Недавно заводской комитет комсомола объявил воскресник в помощь подшефному колхозу — на сбор добровольно явились все «трудные».

Как во всяком новом деле, здесь тоже, наверно, будут и неудачи и срывы. Но думается, что комсомольцы Феодосии, взявшие на себя задачу воспитать «трудных» подростков работой, стоят на верном пути.

Ада БАСКИНА

«ПЕСЕНКА»

В Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова привыкли к различным объявлениям. Они оповещали о туристических походах, комсомольских собраниях, фут-

ский джаз. И звучит песенка о «Песенке», написанная студентами товароведческого факультета Вячеславом Юдиным и Борисом Тейвом. Этой песенкой открывается каждый вечер.



Всегда уютно и весело в кафе «Песенка».

больных матчах. Мимо одних проходили равнодушно, едва скользнув взглядом. Около других задерживались.

Это же объявление, хотя оно состояло всего из нескольких строк, сразу привлекало к себе всеобщее внимание. Оно извещало, что в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова открывается вечернее студенческое кафе «Песенка».

Днем здесь обыкновенная студенческая столовая. Но вечерами это помещение совершенно неузнаваемо. Разноцветные лампы бросают мягкий свет на столики; юпитеры освещают оригинальную роспись стен. В углу на маленькой эстраде расположился студенче-

Официантки днем ходят на лекции, а вечером грациозно разносят подносы между столиками. В кафе нет ни одного «профессионала». И джаз и исполнители популярных песен — студенты, участники институтской самодельности.

«Песенка» существует третий год. Это одно из первых студенческих кафе в стране. Уже окончила институт «главный» его организатор Валерий Коросташевский. Скоро получат дипломы С. Ермакова, В. Юдин, Б. Тейл, В. Чупаев и другие «старички». А в кафе по-прежнему всегда трудно попасть. Это и понятно. В нем всегда интересно, приятно, хорошо!

А. ФРЕНКЕЛЬ

РИСУНКИ В. Г. КОРОЛЕНКО

На левом рисунке —
Колени де Мунте.
1897.



На правом рисунке —
Слаик. 1897.



Владимир Галактионович Короленко был талантливым рисовальщиком. В своих дорожных альбомах он запечатлевал близких знакомых, родных, колоритные фигуры встречных людей, мастерски передавал виды селений, ландшафты. Рисовать он научился в юности. Вспоминая годы учения в Ровенской гимназии, автор «Истории моего современника» рассказывает: «Порой, отвязав нашу лодку, я подплывал к острову, ставил ее среди кувшинок и ряски и принимался с заливом рисовать старый замок с пустыми окнами, с высокими



Добруджа. Местный житель.

брудже под именем доктора Петра Александрова. Но не только родственные привязанности влекли Короленко в Румынию. Он интересовался жизнью потомков русских старообрядцев (липован), бежавших в дунайские плавни от преследований царских властей.

В своих поездках по Румынии (в 1893, 1897, 1903, 1904, 1911 годах) Короленко большую часть времени проводил в Добрудже и Южных Карпатах.

Мы помещаем несколько ранее не публиковавшихся рисунков В. Г. Короленко, которые хранятся сейчас в отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина. Все они выполнены в Трансильванских Альпах и на берегах Дуная.

А. РУБИНШТЕЙН



Добруджа. Местный житель.

тополями и обомшелыми каменными рыцарями».

Особенно много рисовал Короленко во время своих странствий. С котомкой за плечами и с записной книжкой в кармане исходил он и изъездил почти всю Россию. Не раз бывал и в других странах. Чаще всего Владимир Галактионович посещал Румынию, здесь, в г. Тулче, жил его родственник В. С. Ивановский, народник-эмигрант, известный в До-



Слаик. 1897.

На стендах «ЮНОСТИ»

На этот раз стенды «Юности» заняли работы двух молодых художников — Николая Воробьева и Андрея Голицына. По путевке ЦК ВЛКСМ они совершили далекое и увлекательное путешествие на Чукотку по маршруту Анадырь — бухта Провидения — бухта Лаврентия. Отсюда они отправились в поселок Нуяма, где жили среди рыбаков, охотников и каторжников.

Смелые и добрые люди населяют Советскую Чукотку. О них ярко и вдохновенно рассказала на недавно закончившейся третьей сессии Верховного Совета СССР депутат от Чукотского национального округа А. Д. Нуттагрына. Она говорила о замечательных людях далекой Чукотки, этого восточного форпоста Страны Советов, которые шагнули из темноты и невежества к высотам знания и культуры.

Труду и жизни этих людей и посвящены работы художников Н. Воробьева и А. Голицына.

На олюкском китобойном катере художники прошли вдоль берегов Чукотки до мыса Дежнева. Результатом их поездки явились многочисленные картины, рисунки, монотипии.

На стендах «Юности» представлено более 70 работ Н. Воробьева и А. Голицына. Ничего публичного рассказ художника Н. Воробьева об этой поездке. На снимке справа — художники Н. Воробьев и А. Голицын в поселке Нуяма.



ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ

В поселке выключают свет. Мы зажигаем свечи и продолжаем работать. По радио знакомый голос далекого диктора объявляет: «Московское время 14 часов...»

В Москве день, а здесь полночь. Тысячи километров отделяют небольшой поселок Нуяма от Москвы.

Он расположен на высоком скалистом берегу Берингова моря.

Беленькие домики с голубыми ставнями, а за ними серые сопки. У воды туша убитого кита. Над домами бесконечное количество столбов для электропроводов, радиостанции. В селе есть клуб, где каждую неделю показывают кинокартины, библиотека, начальная школа, небольшая электростанция, поликлиника и магазин. Население состоит из чукчей и эскимосов, которые переехали сюда

несколько лет назад из очень старого поселка Наукал.

Колхозники Нуяма занимаются оленеводством, звероводством и охотой. В колхозе есть два трактора, несколько моторных вельботов и китобойный катер «Гидросвер». Летом, когда стада оленей уходят далеко в тундру, добраться до стойбища можно только по морю или по воздуху.

Охотятся чукчи на вельботах в прибрежных водах, а катер уходит за китами далеко в море, к мысу Дежнева. Для охоты вельботы и катер оснащены противотанковыми ружьями. Охотники рассказывали нам, что на войне одним удачным выстрелом из такого ружья зажигали фашистский танк, а чтобы убить кита, нужно таких удачных выстрелов не менее восьми.

Однажды вельботы привели кита. Его черная, блестящая туша держалась на воде при помощи больших, надутых воздухом мешков из моржовых шкур со смешным названием «пых-пых». Трактор кита вытянули из воды на берег, и началась разделка. Огромные белоснежные квадраты китового жира грузовой стрелой погружают на вагонетку и по рельсам доставляют в жирокombинат для дальнейшей обработки.



Н. Воробьев.

Перекур.

На моржей охотятся большей частью зимой. Убитых зверей сдают прибрежным колхозам. При нас в Нуямо доставили очередную партию моржей. Тут же, на берегу, началась их разделка.

Мужчины, женщины, дети... У всех есть дело. Огромные туши лежат на песке, задрав клерку желтые клыки. Шкуру снимают, как шубу, обнажив ослепительно белый слой жира. В дело идет все: шкура, клыки, жир, мясо, кишки, из которых женщины шьют прозрачные, непромокаемые плащи. Кругом спуют собаки, привлеченные запахом мяса и крови. Их здесь очень много. У каждого хозяина своя упряжка. Зимой соба-



А. Голицын.

Катер пришел.



А. Голицын.

У клуба.

ки — самый надежный вид транспорта. Летом они отдыхают. Днем собаки бродят стаей по поселку, ночью их привлекают на берег моря. Наверное, поэтому, чувствуя на шее железную цепь, так дружно и тоскливо выводят они свою ночную песню.

Нуямо — второй, после Узлена, центр косторезного искусства. Мастерской руководит Унук, ученик заслуженного художника Хохутана. Унук — эскимос. Молодой, очень скромный и интересный мастер. Мы часами просиживали в мастерской, с любопытством следя за ловкими и уверенными движениями его резца. Моржовый клык на глазах приобретал сложную форму.

В углу мастерской шкаф, где на полках стоят готовые изделия: упряжка оленей, кинжал, разрисованный клык.

Еще славится Нуямо тапочками — лучшие тапочки по всей Чукотке шьет Тымлынауи — прекрасная мастерица. Расшитые бисером, стороченные мехом нерпы, ее тапочки выглядят очень нарядно.

Одежда чукчей своеобразна. Мужчины ходят в голубых и оранжевых широких брезентовых куртках, в высоких резиновых сапогах или торбасах из нерпичьей шкуры. Женщины — в пестрых ситцевых комлейках, украшенных внизу широкими, цветными полосами. Яркие одежды празднично вписываются в суровый пейзаж.

Делая портретные наброски, мы познакомались со многими людьми: с косторезом Эжеляном, с его сыном, 14-летним талантливым учеником Валерием, с председателем сельского Совета Гемауте, с эскимосом Нутетейином, лучшим исполнителем народных танцев, и многими другими. Мы ходили на китобойной катере «Гидросевер» к мысу Дежнева, узнали, что значит девятибалльный шторм, видели простой черный крест на могиле Семена Дежнева и современный обелиск-маяк. Нам показывал капитан «Гидросевера» Борис Лемешко сние берега Аляски, мы восхищались неповторимыми по красоте суровыми берегами близ Узлена, похожими на застывших каменных ящеров.

В своих рисунках мы пытаемся рассказать о людях Севера, об этом величественном крае, полуострове сокровищ, уже найденных и еще скрытых, жаждущих своего часа.

Н. ВОРОБЬЕВ



Н. Воробьев.

Разделка моржа.

ЧЕЛОВЕК



И М Я Ч

Подоходит к концу решающий сет матча между Ларисой Преображенской и Марией Куаль. Вместе с несколькими тренерами я стою на террасе рижского теннисного павильона «Динамо» и наблюдаю за тем, как белокурая, атлетически сложенная Куаль жесткими, уверенными ударами кует победу. Я знаю спортивную натуру Преображенской, знаю, сколько души вкладывает она в каждый поединок, и мне жаль ее. Но в тот момент, когда счет геймов становится 5:2 и поражение Преображенской кажет-

ся неотвратимым, стоящий рядом Семен Белиц-Гейман вдруг произносит:

— Предлагаю пари, что Куаль проиграет...

Мистика какая-то! Ну может ли случиться, что река вдруг повернет вспять?

Представьте себе, случилось... Начиная с восьмого гейма, который по логике событий должен был стать последним, молодая эстонка, словно испугавшись надвигающейся победы, вдруг задрожала — не только в переносном, но и в самом прямом смысле — и совершенно добровольно уступила инициативу противнице. Теперь Преображенской нужно было только перекинуть мяч через сетку, оставшееся Куаль словно брала на себя. Бедная, с выражением трагической обреченности на лице, Куаль была воплощением растерянности. Словом, Преображенская победила.

Что же произошло? Почему Куаль, как пишут иногда в спортивных отчетах, стала вдруг неузнаваемой? Неузнаваемой? Стоп! Ведь в предыдущем чемпионате Куаль точно так же, ведя в третьем сете 5:2, проиграла Бакшеевой. Значит, наоборот, сейчас она стала, если так можно выразиться, узнаваемой. Значит, существует какой-то определенный психологический барьер, преодолев который Куаль оказалась не в силах.

Есть в шахматах такой закон: получив преимущество — атакуй, иначе инициатива перейдет к противнику. Закон этот полностью применим к теннису, а может быть, и к спортивной борьбе вообще. Но одно дело — знать этот закон, а другое — уметь его применять.

Понаблюдайте иногда за тем, как ведут себя теннисисты на корте, и вы увидите любопытные вещи. Вы увидите, как Вера Филиппова громко критикует себя за ошибки; как Мария Куаль, проиграв мяч, сердито грозит ему пальцем; как Тоомас Лейус возгласами подстегивает, «заводит» себя; как мужественный, с каменным лицом Рудольф Сивохин хватается за голову; как Андрей Потанин издает вдруг рычащие звуки; как... Впрочем, можно продолжать до бесконечности.

Что же, теннисисты — разболтанные люди, не желающие держать себя в руках? Конечно, нет. Причина в самом теннисе, который взваливает на плечи спортсмена огромную психологическую нагрузку.

Теннисист на корте одинок. Человек и мяч, больше ничего. С тренером советовать не разрешается. Даже с противником нет непосредственного контакта. Здесь нельзя, как, скажем, в шахматах, погулять, собраться с мыслями, пока соперник обдумывает ход. Нельзя, как в футболе, отказаться от удара по воротам и возложить эту миссию на другого. Нельзя,

Психологическое состояние спортсмена часто влияет на исход состязаний. Вглянитесь, как волнуется чемпионка страны по теннису среди женщин москвичка Анна Дмитриева (снимок сверху). Матч закончен, а она все еще во власти эмоций...

А снимок на 108-й странице рассказывает о том, как чемпионка страны по теннису среди девушек киевлянка Галина Бакшеева горько переживает свое поражение. Сейчас все зависит от ее тренера Владимира Бальва. Сумеет ли он ободрить девушку, подготовить ее морально к следующему дню соревнования?

Фото Е. Волкова.

как в баскетболе, отдать мяч партнеру и получить несколько секунд передышки. Теннисист все время в острейшем цейтноте, мяч не отпускает его ни на секунду, он все время перед ним, взойдящий, неотвратимый, безжалостный — справа, слева, высоко над кортом, низко над сеткой, стремительно летящий то в один угол, то в другой, крученный, подрезанный, почти всегда выбирающий незашитое место, иногда словно издевающийся над перасторопностью игрока, беспомощно подмечающий и злобно подчеркивающий его оплошности...

И в случае неудачи не на кого обижаться, только на себя. Это ты сам ошибся, ты неточно подрезал, не убила высокий мяч, у тебя чуть дрогнула рука. И даже если противник сумел нанести неотвратимый удар, все равно виноват ты: не надо было давать ему такую удобную возможность.

Утверждают, что на корте радость скрыть легко, равнодушие — трудно, досаду — невозможно. Ну, скажем так: почти невозможно. Кто знает, какие драматические монологи произносит мысленно теннисист во время игры, как он мучает, как терзает себя за ошибки! Так можно ли требовать, чтобы на протяжении полутора-двух, а иногда трех и даже четырех часов матча теннисист был невозмутим, даже если в нем капкаливается и гаузо клокочет, ища выхода, недовольство собой, досаду, раздражение?

Можно и даже нужно! Да, есть известные противоречия в том, что зритель позволяет себе, иногда довольно бурно, вслух радоваться и огорчаться и в то же время отказывает спортсмену в праве на выражение естественных человеческих эмоций. Но ведь не то он и зритель, ведь, придя на соревнование, он не ставит перед собой иной цели, кроме одной — насладиться увлекательным спортивным зрелищем.

Другое дело — непосредственный участник борьбы. Выхода на корт, спортсмен тем самым принимает обет достойно держать себя, как бы трудно ему ни приходилось. Вот почему теннисист, являясь ему это или нет, вынужден тратить огромную психическую энергию не только на борьбу с противником, но и на борьбу с собой, со своими нервами.

Но есть и другая, отнюдь не менее важная причина, вынуждающая теннисиста держать в узде свои нервы, заставляя эмоции безразлично покоряться трезвому рассудку. Хорошо известно, что играют ракеткой, а выигрывают головой. Теннис высокого класса — это всегда поединки интеллектов, дуэль мыслей. Теннисист должен действовать на корте пусть и страстно, но непременно расчетливо (какой бы неприятный отклик ни имело это слово). Ему надо не «отбиваться» от мяча, а располагаться им, и располагая эти должны быть умны, точны и продуманы. Именно продуманы, даже если на размышление даются доли секунд.

Спортсмену забыть об этом, стоит позволить чувству взять верх над рассудком, как игра его неминуемо становится хаотичной, судорожной, удары теряют осмысленность.

В одном из матчей с Андреем Потаниным Рудольф Сивохин, загубив легкий мяч, яростно заманивается ракеткой, но... рука медленно опускается: нельзя показывать Потанину, что ты дал воле нервам, наоборот, пусть думает, что ты полностью владеешь собой. Через полчаса Сивохин в аналогичной ситуации уже не выдерживает и, проиграв очко, из-за всей силы лунит по мячу, не повиновому мячу. Это уже психологическая капитуляция, и действительно, Сивохину в остальной части матча не хватает собранности, упорства.

В финале теннисного турнира III Спартакиады народов СССР встретились два величайших молодых мастера — Тоомас Лейус и Александр Метревели.

Тоомас Лейус в ходе борьбы непроницаем, даже загадочен. Чувствуется, что перед игрой он надел на себя непробиваемую психологическую колючку. Ни одна ошибка, даже самая обидная, не вызывает на его лице и тени досады. При удачах он так же бесстрастен и невозмутим.

А Метревели! Наблюдая только за ним, можно было безбоязненно вести счет, застенографируя весь ход матча. Допустив оплошность, 19-летний теннисист раздраженно жестикулировал, хватался за голову, даже вступал в пререкания с судьей. Вместо того, чтобы в коротких паузах между розыгрышами очка анализировать ход борьбы, намечать дальнейший план действий, Метревели, дав волю чувствам, мучительно переживал неудачи. Стоит ли удивляться, что в последнем сете Лейус был хозяином положения?

Отнюдь не случайно, что теннисистов экстра-класса отличает, если можно так выразиться, искусство самообладания. Мне не приходилось наблюдать финальные матчи Уимблдонского турнира, но очевидны рассказывали, что участники этих матчей демонстрируют не только блестящую игру, но и виртуозное самообладание. Именно виртуозное, потому что умение владеть собой достигается, впрочем, таким же упорным трудом, как и умение выполнять сложные удары.

Я не знаю лучшего примера, показывающего, как важно сохранять во время состязания ясную голову, чем матч в московском международном турнире между мексиканцем Эстебаном Рейесом и чехословацким спортсменом Петером Штробом.

Это был матч огромного напряжения. Достаточно сказать, что один из сетов закончился с режком для тенниса счетом 17:15! Оба соперника играли великолепно, всячески озадачивая одна другого замысловатыми тактическими ходами. Но каждый из них, по-прежнему, не злился, не мрачнел, а улыбался, показывая всем своим видом, что ему тоже нравится, как здорово перехитрил его противник. Случалось, Рейес в особенно огорчительные моменты, проиграв легкий мяч, подбрасывал ракетку в воздух и долго подхвачивал ее, но делал он это всегда с полуулыбчивой миной, а вовсе не с отчаяния или злости.

Было истинным васальданием следить за ходом прихотливой тактической мысли соперников. Вот Рейес подрезал мяч, и тот опустился у сетки возле боковой линии. Штроба умудрился достать этот трудный мяч. Рейес был в это мгновение тоже у сетки, но у противоположной боковой линии. И Штроба, убежденный, что Рейес помчится вдоль сетки, чтобы закрыть здесь брешь, отбивает мяч туда, где мексиканец стоял. Но, разгадав каким-то шестым чувством этот замысел, остался на месте и перехитрил мяч! Теперь уже Рейес проделывает точно такой же маневр, но Штроба тоже сумел прочесть мысли соперника и остался там, где был. Он в точности повторяет удар — теперь-то Рейес победит, не может быть иначе! Что вы думаете: Рейес снова остался! Тогда Штроба, уже не дожидаясь замаха соперника, побежал вдоль сетки: сейчас-то уж Рейес наверняка переведет мяч в другую сторону. Но мексиканец тихим, безупречно точным ударом направил мяч как раз туда, где Штроба только что был, и... словно изнывая, улыбнулся.

Любопытно, что зрители на одной из трибун, восхищенные тонким тактическим мастерством и несокрушимым упорством соперников, пустили шапку по кругу и тут же, в ближайшем киоске, купили проигравшему Штробу большого палеющего медведа в качестве утешительного приза. Это была награда не только за умную, красивую игру, но и за искусство самообладания.



После поражения. Тренер Владимир Бальва и его ученица Галина Баштеева.

Умеют ли наши теннисисты так осмысленно, тактически изобретательно действовать на корте? Умеют ли импровизировать, менять на ходу тактику, применяясь к игровой ситуации? Короче: умеют ли «играть» головой? К сожалению, тактическое искусство для многих наших спортсменов продолжает оставаться сложной, трудно разрешимой проблемой.

Вина за это ложится и на тренеров. Некоторые из них, не приучая своих учеников к разрешению трудных тактических задач, не воспитывая у них умения тактически мыслить, вообще злоупотребляют мелочной опекой над своими питомцами. Не в этом ли одна из причин того, что наши спортсмены, получив аттестат теннисной зрелости, отстают в мастерстве от тех своих зарубежных сверстников, которые рано приучаются к самостоятельности?

Матч Михаила Мозера с чилийцем Агирре, происходивший минувшим летом, был, наверное, одним из самых волнующих поединков за последние годы. И не только потому, что исход встречи решал, по-видимому, судьбу командного матча. Игра складывалась так, что Мозер, проиграв две партии, на протяжении всей встречи находился под угрозой поражения.

А ведь по всем объективным данным этого не должно было случиться, потому что Мозер явно сильнее Агирре. Но, подавленный свалившейся на него ответственностью, он играет тактически однообразно, даже примитивно. Обродованный перешестью соперника, Агирре то и дело выбегает к сетке, и Мозер, неудачно пытаясь обвести его, теряет одно очко за другим. Между тем даже самые неискушенные зрители поняли, что Агирре не в ладах с высокими мячами. И вот уже трибуны скандируют Мозеру: «Све-чу! Све-чу!». Смешно и грустно!..

В конце концов, проигрывая в пятой партии 1:4, Мозер каким-то чудом вырвал победу и вполне заслужил шумные овации, которыми наградили его зрители. Но если говорить честно, игра победителя производила временами грустное впечатление, прежде всего потому, что Мозер, не сумевший выдержать психологический накал матча, играл бездумно, не подготавливая свою мысль, не подчинял мяч своей воле, а сам покорно выполнял все его капризы и прихоти.

Не готовясь к психологическим трудностям, не тренируя специально свою волю, выдержку, многие наши теннисисты, подобно Мозеру в его матче с Агирре, терпят фиаско в борьбе с менее сильными противниками. Нугзар Мадинаришвили, неудачно игравший в матче чемпионата страны с Борисом Боровским, крепился-крепился, а потом так хватал ракеткой о корт, что она с треском разломилась на куски. После этого взрыва Мадинаришвили не смог по-настоящему продолжать борьбу.

Вячеслав Егоров не ломает ракеток и внешне держится безупречно. Но приглядитесь внимательнее, и вы поймете, что этот атлетического сложения спортсмен — пленник своего первого возбуждения. В трудных ситуациях он весь скован, движения его какие-то вымученные, Егоров словно бежит по хрупкому льду, который то и дело проваливается под ногой. В результате — непростительные ошибки в самых удобных положениях.

Несдержанность, неумение подчинять свои эмоции контролю разума не только производят неприятное впечатление на зрителей, но и просто мешают выигрывать. Поэтому так важно овладевать искусством самообладания. Тот, кто эту задачу игнорирует, выпадает жестоко наказан.

Во время чемпионата страны в Риге я вечером встретил у гостиницы Святослава Мирзу, которому предстояло завтра играть с молодым Ином Юшкой.

— Надо пойти побегать, — сказал озабоченно Мирза. — Матч предстоит нелегкий.

Тренировка эта была лишней: почти весь матч с Юшкой Мирза безвылазно провел на задней линии и двигался очень мало. Как он объяснял после встречи, его вывели из равновесия зрители, которые шумно болели за Юшку. Ну, а разве не ясно было заранее, что рижане будут всячески поддерживать своего молодого, симпатичного и очень приятно играющего земляка? И разве не должен был опытный мастер подготовить себя и к таким эмоциям зрителей? Не сделав этого, Мирза допустила психологический просчет, и ему некого винить в своем поражении, кроме самого себя.

«Думайте! — требует белый мяч от теннисистов. — Готовьте к спортивному бою не только свои мышцы, не только техническое мастерство, но и свой интеллект. Вникайте в тайны психологии спортивной борьбы. И тогда я, как послушный джин, выполню любое ваше желание. Я буду устремляться туда, где ваш соперник не ждет меня, буду опускаться у сетки, когда он готовится встретить меня на задней линии, буду устремляться вверх, когда он бежит к сетке».

— Я мыслю — значит я побеждаю, — пусть этот вариант известного афоризма станет девизом спортсменов, и тогда, можно не сомневаясь в этом, новые успехи нашего тенниса не заставят себя долго ждать...

Я отнюдь не претендую на то, чтобы раскрыть эти моменты всей сложности и глубины проблемы. Мне просто хотелось еще раз обратить внимание на отдельные психологические моменты теннисной борьбы, тем более, что, как я убежден, они актуальны и для других видов спорта.



А. ХАЙТ,
А. КУРЛЯНДСКИЙ

НОВОГОДНЯЯ ШУТКА

Поздно вечером со ступенек одного из московских вокзалов сбежал юноша с маленьким чемоданчиком и огромным мохнатым букетом сирени. Он вылетел на середину площади и остановился, расглаголюя оглядываясь по сторонам. Потом поплотнее укутал сирень и так улыбнулся, что, казалось, уголки его рта сошлись на затылке.

Именно такие лица особенно нравятся ным московским таксистам. За провинциальную доброту, за милую непосредственность и за то, что они не очень-то присматриваются к показаниям счетчика.

«Волга» с черными шашечками на боках сделала двадцатиметровый сначок и щелкнула открывшейся дверцей.

— Садись, друг, подвезу. Чего растерялся?

Парень, сложившись вдвое, пролез в машину и бережно, как ребенка, опустил букет на заднее сиденье.

— Да, букетик у тебя первый сорт. — подмигнул шофер. — Матерям такие не дарят, а? Правильно говорю?

— Верно.

— Вот и я говорю, верно. У меня на это дело нюх. За километр влюбленного чую... Ну, чего молчишь?

Юноша улыбнулся.

— Я не молчу.

— Вот и молодец. Стало быть, к невесте приехал?

— Нет, не к невесте. Просто к девушке одной.

— Рассказывай. Просто девушкам цветы зингой не дарят.



Рисунок Ю. Цишевского.

Парень засмеялся.

— Такой можно!

— Ну? Где же ты такую нашел?

— На юге. Отдыхали вместе. Там и познакомились... Такая девушка!.. — сказал парень, и уголки его рта снова поползли к затылку.

«Хороший паренек», — подумал шофер, — де-

вушка, видать, хорошая. И будет совсем хорошо, если она живет не очень близко от вокзала».

— Я ей не писал, не предупреждал. Решил прямо, сюрпризом. Взял и прикатил! Ночь не спал. Все букет караулил: очень она сирень любит.

— Чудак ты, ей-богу. Примчался зимой с цветами. А она, может... Ладно, ладно, молчу. Поехали к твоей красавице.

Парень осторожно достал маленький клочок бумаги.

— Мусливская, двадцать восемь.

— Мусливская? — Шофер пожевал папиросу. — Как же мне тебя везти?

— Мне все равно, только бы побыстрее.

Шофер навалил на лоб фуражку и переключил скорость. Снег брызнул из-под колес. Машина рванулась, и отблески ярких огней замескали на счастливом лице парня. Шофер молчал. Молчал и парень. Только лихорадило стрелку спидометра и медленно ползли цифры на счетчике. Навстречу проносились весело урчащие автобусы, сыпали бенгальскими огнями дуги троллейбусов, и отставали тротуары, заполненные празднично одетыми людьми. Москва встречала Новый год.

Парня качнуло.

— Что, уже приехали?

Шофер закурил погасшую папиросу и потянулся за спичками.

— Понимаешь, друг. Мне домой надо заскочить. На минуточку.

— Ну что же, я вас пождожду.

— Понимаешь... Не разрешаю нам этого... Чтоб пассажир один оставался. Вские люди бывают. Иной раз вернешься к машине, а в моторе уже вместо цилиндров — шпалы. Га-а! Так что давай ко мне заскочим. Мы по-быстрому. Жену с наступающим поздравим и дальше покатим.

Парень нехотя вылез из такси.

— Пошли.

Музыка, смех, веселые голоса ударили из распахнутой двери.

— Зи-ночка! Принимай гостей! Муж пришел, да не один! — Шофер подтолкнул парня к двери.

— Нет, нет, мы только на минуточку.

— А-а, минутка-другая. Много ли надо, чтобы по рюмашке опрокинуть... Кстати, тебя как зовут?

— Витя.

— Ну вот. Давай, Витек, проходи. Проходи, не стесняйся. Тут все люди простые, работяги. Из интеллигенции вот только один диспетчер.

— Алкоголь — это яд! — крикнул какой-то Сизый нос.

— Уничтожать его надо! — прохрустел огурцом знойчонка в канареечном галстуке.

Пока хозяйка усаживала Виктора за стол, шофер наклонился и что-то шепнул гостям.

— Штрафную ему!

Водка ядовитой змеей потекла в горло.

— Дайте же закусь человеку. — засуетилась хозяйка. — Кушайте, молодой человек, кушайте. Не обращайте внимания на этих горлопанов.

Со всех сторон Виктора обступили закуски: горы салата, извергающие майонезную лаву, желтоглазый красавец студень, селедка, заплаканная искусными слезами от тесного соседства с луком.

Да, это был не вагон-ресторан...

— Что же вы не кушаете? Угощайтесь... Холодильничек попробуйте. Вот... Сама готовила...

— Спасибо, спасибо. Все очень вкусно. Но мы должны ехать.

Компания недовольно зашумела:

— Еще не познакомились как следует, а он уже ехать.

Могучие руки канареечного галстука нежно опустили Виктору на плечи.

— Не обижай, друг. Я хочу с тобой за «Торпедо» выпить.

И он погладил бутылку «Столичной» по запотевшим бедрам.

— Мне нельзя, — просительно улыбнулся парень, — я за «Динамо».

— Не бойся, за «Динамо» тоже выпьем. К ночи мы с тобой и до «Пахтакора» доберемся.

Выпили, Виктор поднялся.

— Ну, спасибо за гостеприимство. Нам пора.

— Нет, нет, пока пирожков не попробуешь, и не думаю.

Комната начала заметно покачиваться. Виктор хлопал по плечу. Он тоже хлопал. Потом целовался с Сизым носом. Потом вдруг начал показывать карточные фокусы, и все дружно удивлялись, когда у Виктора получалось, и когда не получалось — тоже. Танцевали вприпрыжку, да так, что у соседей внизу полопались в холодильники яйца. А что? Новый год бывает только раз в году!

Стало жарко. Вышли с Сизым носом в коридор. Закурили...

«Интересно, почему у него такой сизый нос. Наверное, пьет...» И курит смешно. Пых, пых... у-у... Как поезд. И красный огонек. А может, это папироса? Нет, поезд. И так качается. Вверх-вниз, вверх-вниз... Настоящий поезд. Даже искры из трубы. Одна, другая, третья, десятая...

— Вить, Вить! Заснул малый, Вите-он! Ты погляди, какую я сирень нашел. Красавица! А пахнет как! — И Сизый нос блаженно зарылся в сирень.

Передняя перестала покачиваться. Все предметы вернулись на свои места и стали такими четкими и яркими, будто кто-то поправил ручку фокусировки.

Виктор бросился в комнату. Шофер, оглушительно смеясь, подкидывал жену под потолок. Компания хором считала:

— Пятнадцать... Шестнадцать... Восемнадцать...

И тут заметили Виктора. Стало тихо. Шофер смущенно улыбнулся.

— Вить, ты что?

Парень стоял бледный, сжимая в руках букет сирени. Стало совсем тихо. Только чуть по-звякивали игрушки на елке.

— Как же так? Вы же знали... Ведь я... — Он судорожно глотнул воздух и выбежал из комнаты. Хлопнула дверь. Холодные ступеньки гулко отсчитывали шаги.

Шофер догнал парня на лестнице.

— Вить! Постой... погоди. Понимаешь, какая петрушка. Ты уж извини нас... Но нет в Москве Мусливской улицы. Нет.

Шофер обнял парня за плечи и вернул в комнату. Люди встречали Новый год. Они шутили, пели, смеялись. Они делали все, чтобы загладить неловкую шутку некоей девушки, которая жила с ними в одном городе.



Куда 1. г. Джамбул, ул. Абоя,
школа имени А.С. Пушкина! 1.
2. Карельская АССР,
г. Медвежьегорск, ул. Куйбышева,
школа № 77

Кому Комсомольцам
десятих классов

Имя Фамилия

Така Талкина

Дорогие мальчики
и девочки!

В своих письмах вы просите, чтобы редакция «Юности» организовала в школах вечера отдыха, на которых бы вы веселились, танцевали, вели себя непринужденно, чувствовали как дома. То есть хотите, чтобы редакция стала вашим шефом по культмассовой части.



Конечно, шефы — это хорошо. Они должны помогать устраивать вечера, собирать утиль, проводить соревнования. Вот почему ученики так рады, когда у школы появляются шефы. Из класса в класс, от парты к парте несется: «Шефов назначили!» На языке некоторых комсомольских организаций это значит: «Гуляй, ребята! Теперь шефы все за нас делают...» И шефы делают.

Школа должна сдать мазулатуру. Шефы тащат из дома старые газеты и журналы. Уносят с работы служебную переписку за восемь лет (пропажу которой, впрочем,

никто не замечает еще лет восемь). А если не хватает 200—300 килограммов, идут в букинистический магазин, покупают 36 томов справочника туриста — и положение спасено. План сдачи бумаги выполнен, а ученики подшефного класса на вырученные деньги едут в турпоход по Крымскому побережью.

Совсем недавно в одной школе прикрепили шефов. Комсомольцы решили для проверки поручить им организовать новогодний вечер. Целый месяц работали шефы. Целый месяц школьники гуляли в ожидании приятного сюрприза. Наступило 31 декабря. В 22-00 измученные шефы, собрав последние силы, открыли массивные двери зала, и шумная ватага краснощеких мальчишек



и девочек хлынула к елке.

Елка имела каной-то странный вид. Ее об-



вивали гирлянды из знаков уличного движения в натуральную величину. С ветвей свисали запалы и автомобиль «Москвич», а внизу стоял Дед Мороз в форме сержанта ОРУДА, и каждые две минуты раздавался милицейский свисток, записанный на магнитофонную ленту. По стенам были развешены нарисованные на незнакомых дядей и тетей и плакаты: «Товарищи взрослые, вы в ответе за то, что делают ваши дети». «Накопил — машину купил» и т. д.

Краткой вступительной речью вечер открыл главный шеф — директор тисемоторного парка. После речи объявили танцы.

На этом вечере больше всех веселились шефы. Они водили хороводы вокруг смешной елки. Они хохотали над карикатурами на своих товарищей, они чувствовали себя как дома среди род-

ных знаком и знакомых планшатов. А школьники постоянно — стояли в уголке и ушли. Их отсутствия никто не заметил, потому что уже было без десяти двенадцать и шефы занялись откупориванием бутылок. Пробки летели в потолок, где из угла в угол тянулся транспарант: «Пионеры и школьники, соблюдайте правила уличного движения!» Это было единственное, что относилось к подшефным ученикам на новогоднем вечере. Вот нам нечего бы получить, если бы вечер готовили только шефы, а школьники не несли бы никакого шефства над ними. Кто поработал, тот потреблял плоды труда, а кто не работал, тому эти плоды были горькими...

Возвращаясь к вашим письмам, дорогие мальчики и девочки (хотя все, что я говорила, относится именно к ним). Мне кажется, вы сами знаете лучше всех, что вам интересно, что смешно, поэтому лучше вас самих никто не придумает программу вечера и не проведет его.

Что касается нашей редакции, то мы очень любим встречаться с нашими читателями: обсуждаем с ними нашу работу, делимся планами... Вы не просите помочь вам организовать просто вечер с концертом и танцами. Посудите сами, если редакция журнала «Юность» будет ездить по школам и устраивать вечера отдыха, она скоро превратится в этатское гостеприимное концертное объединение. А кто каждый месяц будет выпускать журнал? Придется



приглашать в помощь каких-нибудь шефов. Но, как говорится: «На шефа надейся, а сам не плошай». Так давайте с вами делать все самостоятельно: вы — вечер для себя, мы — журнал для вас. От этого, дорогие мальчики и девочки, вам будет двойная польза.

С приветом
Галина ГАЛКИНА.

Письма переслала по адресам
Виктор СЛАВНИН.

Рисунки Г. Савича.



Без слов...

В ВЕК ТРАНЗИСТОРОВ



— Опять ты танцуешь под его музыку!..



— Что это у меня в ушах звенит?

Рисунки М. Марьямова,
И. Сидорова.

В НОМЕРЕ:

Олег ДМИТРИЕВ. Новогоднее. Стихи	1
С. ПАВЛОВ. Год нашей жизни. (Статья написана по просьбе «Юности»)	3
Эдуардс МЕЖЕЛАЙТИС. Актер. Ниагарский водопад или прогулка с Уолтом Уитменом. Стихи	7
Виктор АФАНАСЬЕВ. «Для мураша трава — тайга...». Митька Громов. Вдовы. Стихи	9
Ярослав ГОЛОВАНОВ. Кузницы грома. Повесть	10
Белла АХМАДУЛИНА. Моя родословная. Поэма	39
Николай ЧУКОВСКИЙ. Девочка Жизнь. Рассказ	47
Екатерина СУВОРИНА. Ксана Муратова — фронтовая ерестика. Повесть	58

Окно в мир прекрасного

Леонид ВОЛЫНСКИЙ. Зеленое дерево жизни 77

Среди книг 88—89

Максим ГЛУХОВ. Простая история. (Из записок монтажника-верхолаза) 90

Наш фельетон

Леонид ЛИХОДЕЕВ. Клешня 95

Заметки и корреспонденции

* Б. АЛЕКСЕЕВ. Художник-революционер. * Ада БАСКИНА. «Трудные» пришли на завод. * А. ФРЕНКЕЛЬ. «Песенка». * А. РУБИНШТЕЙН. Рисунки В. Г. Короленко 99—103

На стендах «Юности»

Н. ВОРОБЬЕВ. Там, где начинается день 104

Спорт

Вик. ВАСИЛЬЕВ. Человек и мяч 106

Пылесос. (Страницы сатиры и юмора под редакцией А. АРКАНОВА).

* А. ХАЙТ. А. КУРЛЯНДСКИЙ. Новогодняя шутка.
* В. СЛАВКИН. Галка Галкина отвечает 109—112

На 1-й и 4-й страницах обложки — автолитографии М. РОЙТЕРА
«На катке».

На 2-й странице обложки: Н. ВОРОБЬЕВ «Последние известия»
(Из Чукотского альбома).

На 3-й странице обложки: А. ГОЛИЦЫН «У мыса Дежнева»
(монотипия).

Художественный редактор
Ю. Цишевский.

Технический редактор
Л. Зябликова.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83.
Рукописи не возвращаются.

А 00604. Подп. и печ. 13/1—1964 г. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № 166.
Заказ № 2868. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Орден Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, ул. «Правды», 24.



На стендах
«Юности»

На стендах
«ЮНОСТИ»





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120